

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1971

С о д е р ж а н и е

В. Б л а н а р (Братислава). О внутренне обусловленных семантических изменениях	3
<i>ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ</i>	
А. С. Г е р д (Ленинград). Проблемы становления и унификации научной терминологии	14
Ю. Д. А п р е с я н (Москва). О некоторых дискуссионных вопросах теории семантики	23
С. М. Т о л с т а я (Москва). О некоторых трудностях морфологического описания	37
Л. А. Г и н д и н (Москва). К проблеме генетической принадлежности «пеластского» догреческого слова	44
Т. Б. А л и с о в а (Москва). Дополнительные отношения модуса и диктума	54
А. Т. К р и в о н о с о в (Калинин). Структурно-функциональные модели в синтаксисе	65
<i>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</i>	
А. П. Д у л ь з о н (Томск). Отражение древних глагольных форм состояния в урало-алтайских языках	76
А. М. Щ е р б а к (Ленинград). О некоторых особенностях образования падежных форм в тюркских языках	84
Э. Р. Т е н и ш е в (Москва). Заметка об уйгурских языках	89
Э. П. Х е м п (Чикаго). Об индоевропейских оборотах типа польск. <i>samozwart</i> , чеш. <i>sám čtvrt</i>	91
В. У. Д р е с с л е р (Вена). К проблеме индоевропейской эллиптической анафоры	94
<i>ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ</i>	
В. М. Н а с п л о в. Язык средневековых тюркских памятников уйгурского письма	104
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
<i>Р е ц е н з и и</i>	
Л. О с с о в с к и й (Вроцлав). Западное Полесье — прародина славян	111
В. П и з а н и (Милан). <i>A. V. Desnica</i> . Албанский язык и его диалекты	118
В. А. З в е г и н ц е в (Москва). <i>E. H. Leppenberg</i> . Biological foundations of language	124
И. И. Р е в з и н (Москва). <i>S. Marcus</i> . Poetica mathematica	132
В. Г. А д м о н и (Ленинград). <i>Л. Л. Иофик</i> . Сложное предложение в новоанглийском языке	138
М. А. Б о р о д и н а (Ленинград). <i>Н. М. Штейнберг</i> . Редупликация в современном французском языке	140
<i>НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ</i>	
Хроникальные заметки	142
Р Е Д К О Л Л Е Г И Я:	
О. С. Азманова, В. М. Жирмульский (и. о. главного редактора), Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, В. А. Серебrenников, Н. И. Толстой (отв. секретарь), О. Н. Трубочев	
Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55	

В. БЛАНАР

О ВНУТРЕННЕ ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ

1. В процессе эволюции словарного состава внеязыковые и языковые импульсы влияют на лексическую единицу не прямо, а через сеть отношений, в которые она вступает благодаря своим формальным и семантическим свойствам. Этими так называемыми микроструктурными отношениями определяется место лексической единицы в словарном составе. Набор микроструктурных отношений составляет ее лексическую ценность. Любые смысловые сдвиги, изменения словообразовательной структуры или стилистической значимости лексической единицы затрагивают ее микроструктурные отношения, изменяют ее место в словарном составе. Место слова в словарном составе, а следовательно и его лексическая ценность не являются константными величинами; в процессе исторического развития они могут в большей или меньшей степени изменяться. Уже из этого видно, что широкая проблематика внутренне обусловленных семантических изменений относится к таким вопросам, решение которых направлено на раскрытие существенных признаков лексической системы языка. Кратко охарактеризуем исходные теоретические положения.

Перспективным представляется функционально-структурный подход к изучению словарного состава. Изучение словарного состава как системно организованного, но необычайно развернутого и многообразного множества элементов еще находится на стадии успешных поисков наиболее адекватных исследовательских методов. Во всей широте и сложности это множество элементов вряд ли может быть представлено прежними методами.

При изучении словарного состава как целостной системы возможен двойной подход. Можно исходить из словарного состава как совокупности элементов и рассматривать их многообразную структурную организацию в рамках различных слоев и классов слов; можно также исходить из отдельных лексических единиц и устанавливать их тождественные системные отношения в небольших, относительно замкнутых единствах¹. В первом случае раскрываются наиболее общие свойства и отношения, характерные для словарного состава; второй подход позволяет глубже познать структуру лексики данного языка; специфические черты лексики данного языка постигаются путем анализа лексических отношений отдельных номинативных единиц. Обобщающая характеристика лексических отношений предполагает детальный анализ элементарных единиц и минимальных совокупностей.

Отдельный лексический элемент включается в различные совокупности слов посредством своей словообразовательной структуры, семантики, стилистической значимости и т. д. Эти совокупности слов (микросистемы, поля) представляют собой относительно замкнутые классы элементов

¹ А. С. М е л ь н и ч у к. Понятия системы и структуры языка в свете диалектического материализма, ВЯ, 1970, 1.

с определенной внутренней организацией. Элементы, которые имеют сходные основные классификационные свойства, образуют центральный слой; периферийную сферу составляют лексические единицы, принадлежащие к данному классу лишь благодаря некоторым дифференциальным свойствам, а по другим относящиеся к иному полю². Отдельные микросистемы (поля) словарного состава также не только взаимосвязаны, но и перекрываются.

В связи с этим особое значение приобретают следующие вопросы: лексические отношения, релевантные для структуры данного поля; конфигурации элементарных полей; пути включения периферийных слов в лексическую систему; лексические слои с наиболее устойчивой и наиболее свободной структурной организацией; условия семантических изменений в элементах поля при изменении значения одного элемента; соотношение отдельных полей друг с другом.

Чтобы глубже познать лексическую ценность слова, необходимо комплексное изучение его положения и функционирования в словарном составе. При изучении релевантных лексических отношений необходимо прежде всего выяснить их место на парадигматической оси. Словообразовательные отношения указывают на внутреннюю мотивацию лексических единиц. Семантические отношения — это отношения синонимии, антонимии, частичной синонимии, конверсии³. Семантическая аттракция захватывает также слова, которые находятся в отношении смысловой субординации⁴. Организация лексико-семантического поля в значительной мере зависит от конфигурации семантических дифференциальных признаков⁵.

Парадигматические сочетания, отражающие отношения в языковой системе, образуют диалектическое единство с синтагматическими сочетаниями, которые анализируются в рамках контекста. Некоторые сочетания являются выражением данной ситуации, другие прямо указывают на релевантные семантические элементы слова. В родственных языках можно выявить варианты значений, исходя из частично дифференцированных валентных способностей номинативных единиц. Поэтому расширение описания семантической структуры слова за счет сфер свободных и несвободных сочетаний, а также за счет ограничения сочетаемости слов, о обусловленного семантикой, представляет собой существенное и необходимое дополнение его характеристики. Однако вряд ли можно согласиться с мнением о том, что при установлении структуры поля, которая формируется синтаксическими и лексическими ограничениями, «не единствен-

² См., например: F. D a n e š, The relation of centre and periphery as a language universal, «Travaux linguistiques de Prague», 2, 1966; H. A. G l e a s o n, The relation of lexicon and grammar, сб. «Problems in lexicography», Bloomington, 1962; L. H j e l m s l e v, Dans quelle mesure les significations des mots peuvent-elles être considérées comme formant une structure?, сб. «Proceedings of the VIII International congress of linguists», Oslo, 1958; V. B l a n á r, Über strukturelle Übereinstimmungen in Wortschatz der Balkansprachen, «Recueil linguistique de Bratislava», 2, 1968; J. F i l i p e c, Zur innersprachlichen Konfrontation von semantischen Teilstrukturen im lexikalischen System, «Travaux linguistiques de Prague», 3, 1968.

³ В монографии «Zo slovenskej historickej lexikológie» (Bratislava, 1961) я показал существенную роль синонимии, а также полисемии и антонимии в организации поля (стр. 185 и сл.).

⁴ Ср.: J. F i l i p e c, Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie, Praha, 1961, стр. 210 и сл.

⁵ Понятие дифференциального признака при реконструкции микрополей или микросистем удачно применил Н. И. Т о л с т о й (см., например: «Из опытов типологического исследования славянского словарного состава», I — ВЯ, 1963, 1; II — ВЯ, 1966, 5; «Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии», в сб. «Славянское языкознание», М., 1968). Этим методом можно установить неодинаковую конфигурацию полей в разных диалектах национального языка или в различных родственных языках.

ную, но решающую роль» играет синтагматика⁶. Это привело бы к недооценке семантического анализа элементов лексико-семантического поля.

Смысловую природу слова нельзя отрывать от гносеологической функции языка, как нельзя и отождествлять с последней. Слово — средство формирования и закрепления понятий. Идейное содержание выражается в языковой форме тем способом, который характерен для данного языка, поэтому лексико-семантическая структура в данной языковой системе имеет специфический облик. Из множества семантических информационных единиц слова осознаются только те, которые в соответствующем языке являются дифференциально релевантными. Отношения, которые представлены в рамках данного поля, обуславливают семантическое содержание слова, но не исчерпывают его.

При реконструкции полного лексического значения слова необходимо учитывать также его коммуникативную ценность при общении между людьми и его стилистическую функцию. Например, некоторые неассимилированные слова (ср. в словацком культурном языке XVI—XVII вв.: *item, kšaft, litkup, fatens* и др.) имели фонетическую структуру и инвариантное значение, сходные со словами языка, из которого они были заимствованы, однако они четко отличались упомянутыми показателями социолингвистической сферы.

Итак, при анализе данного понятия, его языкового оформления и коммуникативной значимости лексической единицы на горизонтальной, вертикальной и временной оси вскрываются внутриязыковые, внешнеязыковые и внеязыковые отношения, через посредство которых лексическая единица включается в различные совокупности слов⁷. В соответствии с этими микроструктурными отношениями нами и определяется понятие лексико-семантического поля, которое в лингвистической литературе толкуется неодинаково. Лексико-семантическое поле образуют лексические единицы, которые вступают во взаимные внутриязыковые, внешнеязыковые и внеязыковые отношения. Основным организующим фактором является конфигурация семантических дифференциальных признаков. «Узловыми точками» являются слова, которые включаются в поле благодаря инвариантному значению. На периферии располагаются слова иной коммуникативной значимости (например, диалектизмы, архаизмы) и слова, которые включаются в поле через посредство вариантного значения. По своему инвариантному значению такие слова относятся к иному лексико-семантическому полю.

Можно ли, однако, посредством изучения микроструктурных отношений элементарных совокупностей слов прийти к характеристике существенных закономерностей всего словарного состава, например, национального языка? Развиваемая в последнее время теория лексико-семантической экстраполяции⁸ свидетельствует о том, что на основе эмпирически данных элементов и отношений между ними в одной микросистеме можно делать определенные выводы о составных элементах других микросистем и об их структурной организации. Более того, значимость некото-

⁶ Н.-J. Seiler, Zur Erforschung des lexikalischen Feldes, Sprachnorm, Sprachpflege, Sprachkritik, «Sprache der Gegenwart», 2, Düsseldorf, 1966/67.

⁷ Подобные факторы принимает во внимание при реконструкции значений в древнечешской лексике И. Немец (J. Němec, Vývojové postupy české slovní zásoby, Praha, 1968). Ср.: J. Filipец, указ. соч., стр. 178; Ю. С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка в 30—90-е годы XIX в., М., 1965, стр. 19 и сл.

⁸ Об этом понятии см.: Э. А. Макаев, Реконструкция индоевропейского этимона, ВЯ, 1967, 4; М. М. Мавский, Экстраполяция лексико-семантических систем, ВЯ, 1970, 3. Там указана и другая литература. Далее мы будем применять это понятие, имея в виду семантические отношения.

рых устойчивых языковых закономерностей — как показал недавно Е. Курилович⁹ — можно распространить и на другие семиотические области. Это позволяет сделать важный шаг на пути формализации лексико-семантических исследований, что означало бы возможность обобщенного представления лексической структуры языка в аспекте синхронии и диахронии.

2. Рассмотрим семантические изменения, которые не сопровождаются специальными морфематическими показателями и затрагивают лишь смысловые отношения лексико-семантических категорий. Если элементы лексической системы образуют составные части соответствующих относительно замкнутых совокупностей слов, то и семантические сдвиги у этих элементов, которые традиционно (и не очень точно) называются расширением или сужением смысловой структуры или же утратой части значения, следует истолковывать в рамках внутренней организации данной совокупности. Конечно, семантические сдвиги происходят в процессе человеческого общения в данном социальном коллективе; здесь же нас будет интересовать самый механизм изменения значения¹⁰.

Здесь исследуется прежде всего материал периода словацкого культурного языка с середины XVI до середины XVIII в.; метафорический перенос значения и контекстуальные смысловые оттенки во внимание не принимаются: учитываются лишь инвариантные и варианты элементы значения лексических единиц.

Поучительным примером может служить структура и эволюция лексико-семантического поля «сауона — *deversorium* — *cubiculum hospitale*» (наименования места, где предоставлялись еда, напитки и квартира). Структурную организацию этого семантического поля в рассматриваемый период¹¹ определяли два семантических дифференциальных признака (семы), которые проявлялись на положительной (+) или отрицательной (—) ступени: 1) «еда и питье (содержание) предоставляются — не предоставляются», 2) «квартира предоставляется — не предоставляется». Место, где путнику предоставлялось питание без квартиры, соответствует латинскому «сауона». Место, где предоставлялось питание и квартира, соответствует «*deversorium*». Место, где гостю предоставлялась квартира без содержания, соответствует «*cubiculum hospitale*». Иначе говоря, в указанных семемах упомянутые дифференциальные признаки распределялись следующим образом:

	содержание	квартира
сауона	+	—
<i>deversorium</i>	+	+
<i>cubiculum hospitale</i>	—	+

В течение рассматриваемого периода в словацком культурном языке семантические дифференциальные признаки образовывали следующую конфигурацию поля:

⁹ J. K u r y ł o w i c z, Próba ekstrapolacji pewnego prawa językowego, «Studia semiologiczne», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1970.

¹⁰ Ср. также: М. В. Р о з и н, Г. М. Щ е д р о в и ц к и й, О методике анализа исторических изменений системы значения слова, в кн.: «Актуальные проблемы лексикологии (Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции 17—20 июня 1970 г.)», Минск, 1970; Г. М. Щ е д р о в и ц к и й, Семантическая структура слова и пути ее анализа, там же.

¹¹ Материал, исследованный в работе «Zo slovenskej historickej lexikológie» (стр. 186—195, 241—251), здесь дополняется материалом из картотеки Исторического словаря словацкого языка дописменного периода (в Институте языкознания им. Людовита Штура Словацкой АН в Братиславе). Дialeктный материал почерпнут из архива словацкого диалектного словаря (диалектологическое отделение того же института).

без квартиры	содержание	саурана	cubiculum hospitale
с квартирой		deversorium	
		квартира	
		с содержанием	без содержания

Конфигурация складывается из трех частных полей. Наиболее четко определяется поле «deversorium», так как оно возникает на пересечении двух семантических признаков.

В дальнейшем анализе за основу берутся семемные элементы и их лексемное выражение. В одном частном поле могут размещаться многие номинативные элементы, между которыми существуют синонимические отношения или чаще отношения частичной синонимии. Некоторые лексемы выражают смысловые элементы двух и трех полей, поэтому они фиксируются в нескольких местах. Основной, стилистически немаркированный член синонимического ряда занимает центральное место в поле.

Попытаемся с этой точки зрения представить реальное положение в словацком языке XVI—XVII вв.

«саурана». Основным членом в этом поле была лексема *krčma*¹². Зафиксированы комплексные наименования *panská, zámková krčma* («корчма, которая принадлежала феодалу») и *ustavičná krčma*. В народной речи существовали выражения, в которых прилагательное указывает тип заведения: *krčma pivná, pálená, suchá, várošská*. Наряду с наименованием *hospoda* засвидетельствованы лексиколизированные сочетания *krčmárska, šenkárska hospoda* (слово *hospoda* характеризовалось полисемией). То же можно сказать о комплексном наименовании *šenkovní, pálenčený dom*. В современных диалектах известны заимствованные слова *šenk, šenkoviňa, šnapsputika, traktier (traktyr), trakterňa (traktyrňa)*; их значение («саурана») стабилизировалось в соответствии с положением в лексико-семантическом поле.

«deversorium». Основным наименованием было *hostinec*, затем *hospoda, dom hostinský*. В древнем языке сюда же относилось многозначное слово *špitál* «для путников и бедных», в этом значении в народной речи употреблялись также лексемы *chudobinec (chudobník, chudobnica), úchylište*. В современных диалектах известны слова *čárda, áláš (haláš)*.

«cubiculum hospitale». Место, где путнику, а затем и гостю, предоставлялась квартира, называлось *hospoda*, а в древний период оно обозначалось и словом *špitál*. Такие однозначные диалектные наименования, как *nocľažište, úchylište, obecny dom, valalská (žobračia) chyža, žobračiareň*, которые постепенно становятся архаичными, по своей семантике более прозрачны.

¹² Согласно толкованию, предложенному Ш. Ондрушем («Kultúra slova», 1970, 9 — в печати), первоначальное значение слова *krčma (krčьма из krčьма к křmit')* было «щица, еда», а более новое значение — «место, где можно поесть». В старых словацких письменных документах засвидетельствовано только вторичное значение «место, где подают напитки». Старое значение можно было бы усмотреть во фразеологическом сочетании *dávať krčmu* «подавать напитки, продавать в разлив, шинкарь» (например, Krušina 1643: *a dával v ten čas krčmu víno*), хотя оно могло быть создано по образцу сочетания *dávať hospodu*.

¹³ K. R e b r o, Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II, Bratislava, 1959, стр. 465.

В процессе дальнейшего развития *krčma* и *hostinec* семантически сблизились. Не всякий *hostinec* предоставлял возможность ночлега, и, наоборот, иногда *krčma* имела комнаты для гостей. Поэтому образовались новые наименования *furmanský, ubytovací*, а позднее *zájazdový hostinec* и *furmanská krčma* для выражения понятия «*deversorium*»¹⁴. От названий *krčma* и *hostinec* четко отличались названия мест, где только продавалось в разлив вино и спиртные напитки: *šenk (šink), šenkíš (šentíš, sentiš), aus-šenk, šinkvajs, šenkovňa, pult, bar(a), pudlo (púdl'a), kavetka (kavietka), rekestíš (rekeštík, rekeštiš), výčar*. У слова *hospoda* произошло сужение семантической структуры, оно стало означать главным образом комнату для гостей («*cubiculum hospitale*). Постепенно по значению и терминологически стали различаться места, в которых предоставлялась возможность коллективного или индивидуального размещения (*nocl'azište, útulok — hospoda, host'ovská svetlica, izba*). Частичный синоним *špitál* вычленился из семантической сферы «*deversorium*». Ассоциативная сила этой сферы проявилась в том, что, например, слова *šenk* и *trakterňa* локально распирили свое значение за счет семы «предоставление квартиры».

В эпоху национального языка наблюдается (особенно в городах) дифференцированное развитие объектов, наименования которых относятся к данному полю. При этом основное соотношение семантических дифференциальных признаков остается неизменным. В их рамках новые понятия различаются особыми лексемами. Это означает, что становятся релевантными новые семы. В семантической сфере «саурана» стали различаться понятия заведений, в которых подается еда (*reštaurácia, jedáleň, menza*), и понятия заведений, в которых подаются только напитки или закуска (*krčma, hostinec, vináreň, pivnica, bufet, kaviareň, espresso, cukráreň*). *Krčma, hostinec, vináren, pivnica* и др. имеют отдельное место, где подаются напитки (обычно алкогольные) — это *výčar, pult, bar*. В сфере семемы «*deversorium*» понятия заведений различаются в зависимости от цели, которой они служат: *ubytovací* (и т. д.), *hostinec, hotel, penzión, internát, domov mládeže, domov dôchodcov*. В третьей сфере заведения различаются по способу размещения: коллективного (*nocl'aháreň, slobodáreň*) или индивидуального [*host'ovská izba, svetlica, podnájom, (l'udová) hospoda*]. Становится возможным говорить об экстраполяции описанной структуры лексико-семантического поля в словацких диалектах и в литературном словацком языке.

Интересно провести сравнение с родственными языками. Для чешского и русского языков, например, характерны различные семантические сдвиги у некоторых лексических единиц. Однако необходимо подчеркнуть, что основная конфигурация семантических дифференциальных признаков не изменилась. В чешском языке для обозначения понятия «*deversorium*» сперва стабилизировалось наименование *hospoda* (во второй половине XVIII в. литературный чешский язык заимствовал из словацкого языка слово *hostinec*), ибо тогда в чешском языке для обозначения «*cubiculum hospitale*» имелось слово *hostinice/hostěnice*, которое исчезло из словарного состава нового времени. Таким образом, объем значения слова *hospoda* сначала сузился в направлении к *hostinice/hostěnice*, а потом это слово сблизилось со словом *krčma* «саурана» и даже стало основным членом в синонимическом ряду наименований данной семантической сферы¹⁵. Освободившееся в сфере «*deversorium*» место, как и в словацком

¹⁴ Об этих выражениях см. также: V. U h l á r, *Hostince, krčmy, furmanské krčmy a ubytovacie hostince*, «*Kultúra slova*», 1970, 5.

¹⁵ Подробнее см.: V. B l a n á r, *Zo slovenskej historickej lexikológie*, стр. 190, 246 и сл.

языке, заняли слова *hotel, penzion, internát, domov, starobinec*, которые получили новые семантически релевантные признаки.

Между тем в русском языке слово *гостиница* до настоящего времени удержало первоначальное значение «*deversorium*». Этим словом обозначаются и современные учреждения, в которых гость получает временное жилье (и имеет возможность питаться). Заимствованный термин «отель» обычно употребляется для обозначения зарубежных гостиниц¹⁶. Слова *пансион, общежитие* имеют значения, сходные со значениями их словацких эквивалентов. Что касается семантической сферы «сауона», то слово *корчма* устарело; значение слов *трактир, кабак, пивная* соответствует современному словацкому *hostinec*.

В целом можно сказать, что семантическое содержание лексических единиц данной микросистемы эволюционировало при определенных взаимных отношениях и на основе устойчивых семантических признаков, образующих конфигурацию

сауона	
deversorium	cubiculum hospitale

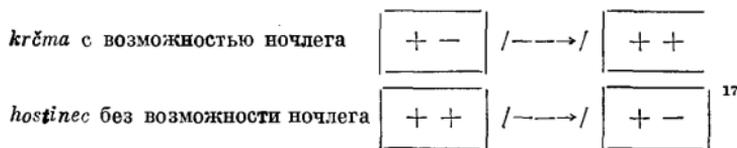
Значение заимствованных слов стабилизировалось в соответствии с семантическими признаками частного поля, в которое они вошли. Семантическая аттракция распространялась от центра к периферии. Семантические сдвиги в словац. *hostinec: hospoda: krčma*, чеш. *hospoda: hostěnice: hostinský pokoj: krčma*, русск. *гостиница: корчма: трактир, кабак* были обусловлены внутренними отношениями в рамках лексико-семантического поля.

3. Механизм семантического изменения хорошо прослеживается на примере семантических изменений, отмеченных в лексико-семантическом поле «сауона — *deversorium* — *cubiculum hospitale*». Их можно формализовать следующим образом:

1. Семантические изменения происходят в слове, относящемся к лексико-семантическому полю благодаря своему инвариантному значению (*krčma* и *hostinec*). При этом может иметь место:

1) импульс плана обозначаемой реальности (сближение понятий *krčma* и *hostinec*);

2) лексико-семантическое выравнивание с учетом структуры поля;
а) факультативное изменение семантического дифференциального признака, по которому различались семантемы «сауона» и «*deversorium*»:



¹⁶ С. И. О ж е г о в, Словарь русского языка, 7 изд., М., 1968, стр. 459.

¹⁷ Символом /—→/ обозначается факультативность процесса.

Положение после этого изменения:



б) пополнение семантической сферы «*deversorium*» лексемами, которые однозначно выражают семему $\boxed{+ +}$. Так возникли комплексные наименования: *furmanský, ubytovací, noční, zájazdový hostinec* и *furmanská krčma*.

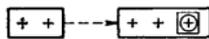
II. Новая лексема выражает новый семантический признак (например: *hotel, internát, domov důchodcov*). При этом может иметь место:

1) импульс плана обозначаемой реальности (в рамках заведений, в которых предоставляется квартира, возникают специализированные учреждения);

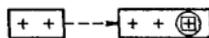
2) включение новой лексико-семантической единицы с учетом структуры поля;

а) прибавление нового семантического дифференциального признака, который до этого не был релевантным:

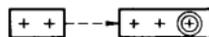
hotel «для случайных гостей»



internát «для молодежи, студентов»



dom důchodcov «для старых людей»



б) новый семантический дифференциальный признак по отношению к предшествующим выступает как «активный» в том смысле, что по нему в плане обозначаемой реальности различаются соответствующие учреждения, а в плане языковом эти объекты обозначаются новой лексической единицей (*hotel, internát, domov, domov důchodcov*). Присоединение новой семы не влечет за собой исключение новой лексической единицы из поля.

III. Из одного семантического дифференциального признака образуются два самостоятельных признака. По этим признакам возникает различие двух самостоятельных рядов объектов, которые затем снова внутренне членятся. Это членение находит языковое выражение в специальных наименованиях (*reštaurácia, jedáleň — krčma, pivnica, vináreň, bufet, cukráreň* и т. п.). При этом может иметь место:

1) импульс плана обозначаемой реальности (в рамках заведений, предоставляющих содержание без квартиры, «саурапа», сначала выделяется вид заведения, в котором предоставлялось только питание, отличающийся от заведений, в которых, в основном, подавались напитки и закуски; в соответствии с новыми признаками происходит дифференциация;

2) включение новой лексико-семантической единицы с учетом структуры поля:

а) расщепление семантического дифференциального признака «содержание» на два релевантных признака:



¹⁸ Признак $+_1$ (предоставление питания) и признак $+_2$ (предоставление напитков или закуски) близки друг другу, они находятся в пределах сферы «саурапа».

б) внутренняя дифференциация — например, в классе $\boxed{+_2 -}$ по роду подаваемых напитков или закусок:

«вина» <i>vináreň</i>	$\boxed{+_2 - \oplus}$
«пирожное» <i>cukráreň</i>	$\boxed{+_2 - \opl�}$
«кофе по-итальянски» <i>espresso</i>	$\boxed{+_2 - \oplus}$

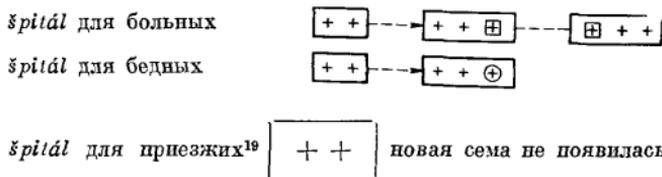
Для подразделения объектов в рамках класса решающим является новый семантический признак; по отношению к остальным он является «активным».

IV. Семантические изменения происходят в многозначном слове, включающемся в лексико-семантическое поле несколькими своими значениями (*špitál*). При этом может иметь место:

1) импульс плана обозначаемой реальности (отдельные значения соотносятся со специфическими понятиями, которые с течением времени четко дифференцируются);

2) семантическая перестройка с учетом структуры поля:

а) в двух случаях новая сема изменила структуру семантических дифференциальных признаков:



В случае *špitál* «больница» новая «активная» сема в иерархии семантических дифференциальных признаков заняла главную позицию, слово выделилось из данного поля. В случае *špitál* «дом, приют для бедных» новая сема стала отличительным признаком, но в рамках семантической сферы «*deversorium*». В случае *špitál* «корчма, трактир» семантического сдвига не произошло;

б) в словарном составе словацкого языка до настоящего времени удерживается слово *špitál* «больница» благодаря активной роли новой семы; правда, это слово является устаревшим и разговорным. В литературном языке употребляется слово *nemocnica*. Слово *špitál* в значении «дом, приют для бедных» («*chudobinec*») удерживается лишь в речи старого поколения. Совершенно исчезла из словарного состава лексическая единица *špitál* «корчма, трактир» («*hostinec*»), которая не приобрела новой «активной» семы.

Плодотворность данного подхода покажут дальнейшие исследования. Предложенный метод анализа семантических изменений представляет интерес не только с точки зрения возможностей формализации процессов развития словарного состава, но и в плане трактовки этих процессов. В предварительном порядке можно отметить, что в языковом плане об эволюционном сдвиге сигнализируют изменения в иерархии и структуре семантических дифференциальных признаков. Новые семантические при-

¹⁹ Эти три значения различал еще А. Бернолаж (см.: «*Slowár Slowenský, Česko-Lat'insko-Nemecko-Uherský*», Budaе, 1827, стр. 3074).

знаки выступают как активные элементы в развитии словарного состава. Процесс изменения происходит на фоне имеющейся структуры дифференциальных признаков слова и во взаимоотношении с соответствующим лексико-семантическим полем в целом. Семантические изменения находят свое отражение в плане выражения.

4. Таким образом, семантическое изменение следует рассматривать с учетом целостной структуры элементарной совокупности слов. Семантические отношения в рамках поля играют главную роль в аспекте его структурной организации. Применение принципа экстраполяции позволит отойти от исследовательской эмпирии и приблизиться к познанию общих закономерностей развития словарного состава одного или нескольких языков²⁰.

Конечная цель предложенного анализа, при котором мы исходили из отдельных элементов совокупностей слов — вскрыть лексическую ценность слова путем комплексного определения его микроструктурных отношений. Поэтому нельзя обойти и другие релевантные отношения лексической единицы, тем более, что они тесно связаны с семантическими сдвигами.

Снова проанализируем несколько примеров. Нет сомнений в том, что слова *handel* «торговля, коммерция» («obchod, kupectvo») и *handel* «рудник, шахта» («banský závod, baňa»), хорошо документированные в культурном словацком языке XVI—XVII вв., являются заимствованиями из немецкого *der Handel*²¹. Была ли в данном случае в древнем языке полисемия или это были уже омонимические слова?

Комплексное наименование *banský handel*, употребляемое (наряду с *handel*) в значении «banský závod», свидетельствует о том, что первоначально осознавалась смысловая связь со словом *handel* «obchod, kupectvo». В отдельных случаях в терминологическом значении представлен даже производный глагол *handlovať* «vykonávať banskú prácu, obchod». В отличие от этих слов из области профессиональной терминологии слово *handel* в значении «obchod, kupecto» относилось в древнем словацком языке к группе освоенных заимствований с широкой сферой употребления. Постепенному приобретению им семантической самостоятельности способствовало его включение в словообразовательный ряд *handliar — handlovať*. С другой стороны, *handel* «banský závod, baňa» включалось в словообразовательный ряд: *handel (banský handel — handlovať*²²) — *handelský*. Различались также и синонимические, и частично-синонимические связи

²⁰ Нетрудно было бы привести и другие примеры экстраполяции определенным способом структурированного поля, относящиеся к различным периодам развития или различным диалектным областям одного и того же языка или родственных языков. Упомянем лишь один пример из романских языков. Наименования рек в латинском языке *amnis* (большая река), *flumen* (река), *rivus* (ручей) взаимно различались количественным признаком. Они образовывали конфигурацию:

amnis
flumen
rivus

На фоне этой конфигурации осуществлялись семантические сдвиги в румынском языке. После исчезновения члена с признаком максимальной величины произошли следующие изменения: *fluvius* «река» → *fluviu* «большая река», что привело к сдвигу *rivus* «ручей» — *riu* «река». Поэтому заимствованное слово *pîriu* (из алб. *përrus*) вошло в семантическую сферу «ручей» (на это указывает О. Духачек: см.: О. D u c h á ě k, O mikrostruktúrach v lexiku, SaS, 1970, 2, стр. 106).

²¹ Исторические аргументы см. в работе «Zo slovenskej historickej lexikológie».

²² Эти слова находились на периферии горнозаводской профессиональной терминологии. Со временем они вышли из состава активной лексики.

этих слов: 1) *handel — kupectvo — kupčenie — obchod — sklep — výmena*; 2) *handel — baňa — šachta — jama — dol*, (у Бернолака). Слова *handel, handliar, handlovat'* перешли в народную речь, шахтерские, горнозаводские термины исчезли из словарного состава словацкого языка. Полисемантические отношения сначала превратились в омонимические, потом омонимия была разрушена в результате утраты одного из членов омонимической пары.

Семантические составные элементы иногда можно зафиксировать лишь посредством анализа валентных способностей слова. Например, др.-чеш. *člověči* является определением при названиях органов тела и чувств человека (*člověči paměť*), значение, «свойственный человеку, характерный для человека» выявляется в сочетаниях с названиями характерных черт и признаков (*člověči hlas*)²³.

Учет социолингвистических отношений дает возможность различать значимость слов, которые имеют сходную семантическую структуру, но отличаются в плане стилистическом. Ср. литературное *vůčar* и синонимические выражения иного уровня *šenkoviňa, kavetka, baša, bara, rekešník, pullo* и т. д. (диалектные слова)²⁴.

Эти примеры также подтверждают мысль о том, что только через раскрытие языковых, внешнеязыковых и внеязыковых отношений слова можно познать его лексическую ценность. Этот аспект важен для сравнительной лексикологии. Изучая организацию совокупностей слов, исходя из наиболее общих принципов, например принципа противопоставлений, мы определяем группы слов, которые являются сходными во многих языках, например: глаголы движения, глаголы *dicendi et sentiendi*, терминологию родства²⁵. Чем разностороннее оценка, тем более дифференцировано раскрывается содержательная сторона²⁶. Так, при наблюдении лексической интерференции в родственных языках выявляются слова, которые в обоих языках имеют сходную семантическую структуру и различаются лишь некоторыми синтагматическими или парадигматическими характеристиками: ср. чеш. *litkup* и производные *litka, litkupník* и словацк. *litkup: oldomáš/aldomáš*. Исследование микроструктурных отношений²⁷ лексических единиц способствует познанию национальной специфики словарного состава.

Перевел со словацкого Л. Н. Смирнов

²³ «Staročeský slovník», Úvodní stati, soupis pramenů a zkratk, Praha, 1968, стр. 25.

²⁴ Это не синонимия гомогенной языковой системы. Ср.: J. Filip ec, K otázce invariantu a variant v lexikální sémantice, «Slavica Slovaca», 1970, 3, стр. 276.

²⁵ См.: О. Н. Трубачев. К вопросу о реконструкции различных систем лексики, «Лексикографический сборник», VI, М., 1963, стр. 4.

²⁶ В этом отношении показательны критические замечания Н. Ю. Шведовой («Несколько замечаний по поводу статьи Ю. Д. Апресяна «Синонимия и синонимы», ВЯ, 1970, 3). В связи с трактовкой Ю. Д. Апресяном вопроса о синонимии Н. Ю. Шведова упрекает автора в недостаточно точной и полной интерпретации части приводимого материала и в переоценке роли синтагматических связей. В этой связи хотелось бы заметить, что элементы значения устанавливаются путем анализа связей слова в контексте. В работах исторического плана, где нельзя опереться на языковое чутье, необходимо исходить из синтагматических связей. При рассмотрении вопроса о синонимии нельзя упускать из вида отношения подобия и частичную синонимию. Полагаем, однако, что существо проблемы заключается в том, что синтагматические связи представляют собой только одну часть релевантных лексических отношений слова.

²⁷ Здесь мы не касаемся вопроса о том, что степень проявления лексического отношения неодинакова, в ходе исторического развития она может меняться. См. об этом: V. B l a n á g, Die Einbürgerung entlehnter Wörter in graphischer Darstellung, TLP, 3, 1970; ср. также: М. М. Маковски й. Валентные отношения в лексике, «Ин. яз. в шк.», 1968, 6, стр. 24 и сл.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. С. ГЕРД

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И УНИФИКАЦИИ
НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Литература по научной терминологии насчитывает большое число статей, заметок, различных выступлений по вопросам упорядочения, унификации и создания новых терминов в той или иной области знаний, в том или ином языке. Обычно в большинстве таких работ эти вопросы ставятся только в одном плане — в плане источников, наличествующих в данном современном языке для образования новых терминов. Указывается, что в качестве терминов могут быть использованы существующие слова родного языка, заимствования, при образовании таких-то терминов лучше использовать такие-то аффиксы, издаются списки морфем, элементов, при помощи которых удобнее всего создавать новые термины¹. В таких исследованиях и рекомендациях, как правило, отсутствует постановка вопроса о закономерности и оправданности использования тех или иных типов слов, морфем в данной научной терминологии, о соответствии их основным тенденциям исторического развития терминологии данного языка.

Этот вопрос особо остро стоит при решении проблем упорядочения и унификации терминологий, имеющих длительную традицию своего развития (физика, география, геология, биология, химия), обладающих развитой синонимией, большим числом сложных понятий². Он важен и для научно-терминологических систем молодых отраслей знаний. В последнее время актуальность этого вопроса возрастает в связи с расширением теоретической и практической работы по созданию информационно-поисковых языков для отдельных наук, успех которой, в конечном счете, зависит от детально подготовленных максимально полных и точных как в плане выражения, так и в плане содержания различных терминологических словарей для каждой отрасли знаний.

Некоторая изолированность и автономность различных исследований и мероприятий в области научной терминологии объясняется отсутствием самых общих принципов описания научно-терминологических систем в целом (ср. наличие таких принципов в фонологии, морфологии, словообразовании)³. Несмотря на все конкретное многообразие различных научно-терминологических систем, на пестроту потенциально почти бесконечного множества отдельных терминов разных отраслей знаний, пред-

¹ См. «Структурное и прикладное языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1962 г.» М., 1965. См. также: Н. В. Юшманов, «Элементы международной терминологии», М., 1968.

² См.: Л. Л. Кутина, «Формирование языка русской науки», М.—Л., 1964; се же, «Формирование терминологии физики в России», М.—Л., 1966.

³ Об отсутствии таких принципов в синхронической лексикологии в целом см.: Д. Н. Шмелев, «Проблемы семантического анализа лексики», М., 1969.

ставляется вполне возможной постановка вопроса о выработке некоторых общих принципов, которые могли бы быть использованы как при описании различных терминологических систем, так и при выработке практических рекомендаций по их упорядочению и унификации⁴.

Думается, что решение этих проблем следует начинать с выяснения основных тенденций исторического развития терминологии данного типа. Изучение зарождения и эволюции той или иной терминологии вплоть до современности вскроет основные тенденции и закономерности развития, характерные для данной научно-терминологической системы как в плане выражения, так и в плане содержания. Знание этих тенденций и закономерностей в свою очередь гарантирует исследователя от ошибок и промахов при решении практических вопросов создания новых терминов, упорядочения современной терминологии. Зарождение, развитие и становление терминологической системы может быть проанализировано лишь на основе комплексного изучения памятников древней письменности, народных говоров, специальной литературы разных времен.

Покажем это на примере современной русской ихтиологической терминологии. Истоки названий рыб относятся к доисторической эпохе индоевропейского и праславянского языкового и этнического единства.

Историю развития русской ихтиологической терминологии условно можно разделить на следующие четыре периода: 1) от индоевропейского и праславянского периода до XIV—XV вв. — названия рыб существуют в основном только в устной форме; 2) с XIII—XV вв. до начала XVIII в. — названия рыб проникают в памятники письменности, происходит постепенное становление единых норм в их употреблении; 3) с начала XVIII в. до 50-х годов XIX в. — начинается становление русской книжной ихтиологической терминологии на основе местных народных названий рыб в специальных трудах русских путешественников-естествоиспытателей и ученых XVIII — начала XIX в. (И. Георги, С. Г. Гмелин, И. Лепехин, П. С. Паллас, В. Ф. Зуев, Н. Я. Озерецковский); 4) с 50—60-х годов XIX в. и до наших дней — происходит постепенная унификация книжных названий рыб в специальной литературе (К. Ф. Кесслер, Н. А. Варпаховский, А. М. Никольский, Л. С. Берг, В. К. Солдатов, Г. У. Линдберг, А. Я. Таранец, Г. В. Никольский, А. Н. Световидов, А. П. Андрияшев и др.).

В древнерусской письменности названия рыб, представляющие собой один из активных пластов обиходно-разговорной лексики, встречаются в первую очередь в деловых документах, различных приходно-расходных, таможенных, писцовых книгах, деловых записях отдельных монастырей, а также в таких, например, памятниках, как «Роспись царским кушаньям» или «Книга расходная патриаршего приказа»⁵. В памятниках иных жанров названия рыб редки и случайны, обычно они встречаются в образных сравнениях, в метафорах (ср., например, использование слова *осетр* в «Слове» Даниила Заточника). Значительные материалы по русским названиям рыб содержатся также в записях русской речи, сделанных иностранцами в XVI—XVII вв., и в некоторых лексикографических трудах средневековья («Речь тонкословия греческого»). Из источников XVIII — начала XIX в. интересны прежде всего различные путешествия. Жанр путешествий, получивший большое распространение в русской художественной и научной литературе XVIII в., предоставлял их авторам

⁴ Отметим полную неразработанность теоретических вопросов создания терминологических словарей разного типа. См. об этом подробнее: А. С. Герд, Г. У. Линдберг, Словарь названий пресноводных рыб СССР, 1970, Предисловие (в печати).

⁵ См.: А. С. Герд, Проблемы формирования научной терминологии (на материале русских научных названий рыб). Докт. диссерт., Л., 1968.

широкие возможности для регистрации мельчайших подробностей всего увиденного. В XVIII в. специальные русские работы по систематике рыб насчитываются еще единицами (известный труд К. Линнея «Система природы», оказавшийся поворотным в истории формирования естественных наук, был опубликован на латинском языке впервые только в 1735 г.).

Первые специальные русские работы по естествознанию, в которых содержится систематическое описание животных и рыб, появляются только в 80—90-е годы XVIII в. (Н. Я. Озерецковский, В. Ф. Зуев, Ф. Блуменбах). Однако их появление не было бы возможно, если бы в различных путешествиях в описаниях русских естествоиспытателей первой половины XVIII в. не был бы накоплен весьма значительный материал по русским названиям рыб. Так, немало названий рыб находим в «Путешествиях» С. Г. Гмелина, И. И. Лепехина, П. С. Палласа, В. Ф. Зуева, Н. Я. Озерецковского, П. Соймонова, В. Невзорова.

Специальные работы по систематике рыб, зверей и птиц (упомянем еще труды П. С. Палласа, А. Ловецкого, И. Двигубского, А. А. Теряева, А. Черная) с конца XVIII в. играют все большую роль в формировании русской ихтиологической терминологии. С появлением в 50—70-е годы XIX в. специальных работ К. Ф. Кесслера и Н. А. Варпаховского русские названия рыб уже прочно проникают на страницы ихтиологической литературы и учебников по зоологии (А. Никольский, В. В. Григорьев, К. Сент-Илер). В конце XIX — начале XX в. выходит в свет уже большое количество различных исследований по фауне России и ее отдельных районов⁶.

Формирование системы современной научной терминологии может быть достаточно полно раскрыто только путем выяснения закономерностей ее функционирования в течение ряда отдельно взятых предшествующих хронологических периодов.

Рассмотрим в качестве примера формирование современной системы русских названий лососевых рыб (Salmonidae). В современной ихтиологической терминологии к названиям лососевых рыб относятся следующие основные наименования: *лосось*, *семга*, *тинда*, *таймень*, *палья*, *форель*, *боджак*, *бахтак*, *гегаркуни*, *микижа*, *кета*, *белорыбца*, *нельма*, *сиг*, *ряпушка*, *тугун*, *омуль*, *пелядь*, *сырок*, *чир*, *ныжъян*, *муксун* и близкие к ним *хариус* (хариусовые), *корюшка*, *снеток* (корюшковые).

Слово *лосось* отмечается с XI в.; названия *белая рыбаца*, *кумжа*, *лудога*, *палья*, *репука*, *ряпус*, *ряпушка*, *сиг*, *снет*, *снеток*, *таймень*, *тинда*, *торпа* — с XVI в.; слова *корюка*, *муксун*, *омуль*, *пелядь*, *ряпуга*, *ряпуша*, *ряпушка*, *хариус*, *чир* — с XVII в. Обладая обобщенным значением «рыба», отмеченные слова выступали в древнерусском языке в следующих контекстуальных употреблениях: 1) промысловая рыба; 2) налог, подати, взимаемые с ловли рыб; 3) предмет торговли, обмена; 4) кушанье, приготовленное из этой рыбы.

Слово *лосось* является индоевропейским по происхождению; слова *лох*, *семга*, *кумжа*, *таймень*, *торпа*, *палья*, *сиг*, *лудога*, *репука*, *ряпука*, *ряпус*, *рипус*, *ряпуша*, *хариус*, *корюша*, *корез* проникли в древнерусские говоры из соседних прибалтийско-финских диалектов; слово *тинда* проникло в говоры северных окраин древнего Новгорода из саамского языка. Словосочетание *белая рыбаца* возникает в XV—XVII вв. на основе более старого словосочетания *белая рыбаца*. Слово *нельма* исторически проникло, по-видимому, в русские говоры в нижнем течении Енисея из якутских долганских диалектов; слово *кета* — из эвенского или чукотского языка.

⁶ Аналогично формировались и другие старые терминологические системы, исторически тесно связанные с естественным, народно-разговорным языком (орнитология, териология, ботаника и, как показала Л. Л. Кутина, — физическая география).

Слова *ряпуша*, *ряпуга*, *ряпушка* образованы путем прибавления суффиксов *-ушка*, *-уга*, *-ка* к заимствованной производящей основе. Слово *омуль* заимствовано в говоры Восточной Сибири из якутского языка. Слова *пелядь* и *чир* проникли в русские говоры по р. Печоре из соседних коми-зырянских диалектов. Слово *муksун* попало в русские говоры по р. Оби из соседних ханты-мансийских диалектов. Слова *снет*, *снеток* заимствованы первоначально в русские псковские говоры из соседних балтийских языков (латышского).

В источниках середины XVIII — первой половины XIX в. не только широко представлены такие слова, как *лосось*, *семга*, *кумжа*, *таймень*, *белая рыбаца*, *нельма*, *сиг*, *лудога*, *ряпуха*, *ряпушка*, *омуль*, *пелядь*, *чир*, *муksун*, *зариус*, *корех*, *корюха*, *корюшка*, *снеток*, *палья*, *торпа*, известные ранее по памятникам древнерусской письменности, но также и новые названия, как *пыжьян*, *сырок*, *форель*, *форелы*, *крошица*, *пеструшка*, *трутта*, *красуля*, *кижуч*, *голец*, *корегоны*, *краснобрюх*, *ленок*, *липень*, *мальма*, *горбуша*, *микиз*, *нерка*, *тугун*, *чавыча*, *шокур*.

Слова *пыжьян*, *сырок*, *тугун*, *шокур* исторически проникли в русские говоры по р. Оби из соседних ханты-мансийских диалектов; слово *форель* заимствовано из немецкого языка; слово *крошица* — морфологического новообразование русских говоров, по-видимому, по модели *V + ица*⁷; слово *пеструшка* образовано от слова *пеструха* (вид рыбы) по модели *N + ка*. Слово *трутта* заимствовано из латинской научной терминологии. Слово *красуля* образовано по модели *A + уля*; *голец* — по модели *A + ец*; *ленок* — по модели *N + ок*; слова *мальма* и *нерка* проникли в русские говоры Восточной Сибири и Дальнего Востока либо из эвенкийского, либо из эвенского языка; *микиз*, *кижуч*, *чавыча* — из ительменского; слово *краснобрюх* — искусственное книжное образование на базе словосочетания «рыба с красным брюхом»; слово *горбуша* — специфически русское новообразование по модели *N + уша*; слово *корегоны* представляет собой попытку приспособления к русскому языку латинского терминологического *Coregonus*; слово *липень* — образование, генетически общее для группы тех славянских диалектов, которые легли позднее в основу белорусского, польского, чешского и сербскохорватского языков.

В XVIII — первой половине XIX в. молодая терминологическая группа «Лососи — *Salmo*» складывается еще почти исключительно на основе местных народных названий.

Во второй половине XIX в. — начале XX в. единая ранее группа «Лососи — *Salmo*» распадается на ряд групп. В связи с этим из состава группы «Лососи — *Salmo*» выходят многие латинские определения и соответствующие русские названия. Напротив, в связи с выделением новых видов и подвидов рода *Salmo* группа пополняется такими новыми семантическими определениями, как *S. ischchan*, *S. ischchan var gegarkuni*, *S. ischchan var danilewskii*, *S. lacustris var romanovi*, *S. caspius*, *S. erythrinus*⁸, и такими новыми названиями, как *благородный лосось*, *обыкновенный лосось*, *дунайский лосось*, *сибирская таймень*, *красуля*, *лосось-таймень*, *европейская таймень*, *кумжа*, *ляхсфорель*, *лосось-пеструшка*, *трошница*, *лосось-нериус*, *лосось-палья*, *нериус*, *боджак*, *шишан*, *усач*, *беглу*, *бахтак*, *кирюша*, *гегаркун*, *табисцхурская форель*, *каспийский лосось*, *туркестанский лосось*, *байкальский лосось*, *даватчан*.

Слово *нериус* исторически заимствовано в русские говоры из прибалтийско-финских диалектов; слова *боджак*, *шишан*, *беглу*, *бахтак*, *гегаркун*

⁷ Здесь и далее *N* — производящая основа существительного, *V* — глагола, *A* — прилагательного.

⁸ Здесь и далее родовое определение обозначается инициальной буквой.

проникли в русские говоры на оз. Севан из соседних армянских диалектов; *даватчан* попало в русские говоры Прибайкалья из соседних эвенкийских диалектов; слово *ляхсфорель* — книжное заимствование из немецкого языка. Составные наименования *лосось-таймень*, *лосось-пеструшка*, *лосось-нериус*, *лосось-палья* образованы по модели $N + N$. Значительным изменениям в XIX в. подвергаются почти все синонимические ряды. Основной тенденцией в развитии отдельных синонимических рядов становится тенденция к увеличению числа синонимов, к устранению «местных» наименований, к замене старых названий новыми, более точными.

На рубеже XIX—XX вв. происходит выделение самостоятельной лексико-семантической группы «Тихоокеанские лососи — *Oncorhynchus*». На смену определениям XVIII в. приходят новые: *O. kisutsch*, *O. gorbusha*, *O. keta*, *O. tschawytscha*, *O. nerka*. Наблюдается тенденция к увеличению числа членов синонимических рядов. В 10—30-е годы XX в. появляются такие новые определения и наименования, как *O. keta isp. autumnalis*, *O. nerka isp. asabatch.*, *O. nerka m. formosanus*; тихоокеанские лососи, летняя *keta* (модель AN), серебрянка, зубатка, овец, азабач, сима, жилия сима.

Слова *серебрянка* и *зубатка*, вошедшие в состав группы в 10—30-е годы XX в., — местные (амурские) диалектные образования, проникшие в научную терминологию, как и во многих других случаях, прямо из народных говоров через записи естествоиспытателей (И. Георги, Л. С. Берг). Слово *сима* попало в научную литературу либо из русских диалектов Сахалина, либо непосредственно из ороцкого языка; слово *овеч* — либо из русских говоров Восточной Сибири, либо непосредственно из эвенкийского языка. Слово *азабач* проникло в научную литературу из русских говоров Камчатки.

В конце XIX — начале XX в. из группы «Лососи — *Salmo*» выделяется группа «Гольцы — *Salvelinus*». В 10—30-е годы происходит пополнение группы «Гольцы — *Salvelinus*» такими новыми названиями, как *голец*, *даватчан*, *красная рыба*, *палья*, *палия*, *нериус*, *кряжесвая палья*, *ямная палья*, *есейская палья*, *голец Черского*, *боганидская палья*, *якутский голец*, *типичная проходная мальма*, *речная мальма*, *жилая мальма*, *южная проходная мальма*, *мальма Кузнецова*, *нейва*. Книжные словосочетания *черноморская палья*, *есейская палья*, *боганидская палья*, *якутский голец*, *речная мальма*, *жилая мальма* образованы по модели AN ; словосочетание *типичная проходная мальма* — по модели $AA'N$; наименования *голец Черского*, *мальма Кузнецова* — по модели $N + N_{\text{род}}$. В 40—60-е годы XX в. в состав группы проникли определения *S. drjagini*, *S. andriaschevi* и ряд новообразований — таких, как *голец Дрягина*, *чукотский голец*, *обыкновенный голец*, *серая палья*, *тихоокеанский голец*, *южная мальма*, *американская палья* (модели $N + N_{\text{род}}$, AN). Возрастает тенденция к пополнению синонимических рядов.

Во второй половине XIX в. происходит оформление самостоятельной группы «Таймени — *Hucho*». В 10—30-е годы появляются новые определения — *H. hucho*, *H. perryi*, *H. ishikawai*; названия — *дунайский лосось*, *чевица*, *гой*, *сахалинский таймень*, *корейский таймень*, *дальневосточная чевица*. Слово *гой* проникло в научную терминологию либо из русских говоров Сахалина, либо непосредственно из нивхского языка. Книжные словосочетания *сахалинский таймень*, *корейский таймень*, *дальневосточная чевица* образованы по модели AN . В 40—60-е годы значительных изменений в составе группы «Таймени — *Hucho*» не происходит.

В конце XIX — начале XX в. из группы «Лососи — *Salmo*» выделяется также группа «Ленки — *Brachymystax*». С начала XX в. и до наших

дней эта группа включает в свой состав только одно семантическое определение *Brachymystax lenok* и соответствующие русские названия *ленок*, *ускуч*. В конце XIX в. выделяется группа «Белорыбицы — *Stenodus*», включающая два основных названия — *белорыбица* и *нельма*.

Во второй половине XIX — начале XX в. происходит выделение и оформление самостоятельной терминологической группы «Сиги — *Coregonus*». Молодая группа сразу же пополняется большим числом новообразований (*сиг-белорыбица*, *сиг-ряпушка*, *сиг-лудога*, *сиголовный сиг*, *волховский сиг*, *сиг-валаамка*, *зобатый сиг*, *зобастый сиг*, *валаамка*, *протодной сиг*, *морской сиг*, *невский сиг*, *сунской сиг*, *сиг-килец*, *сиг-песочник*, *сиг-сельдь*, *морская сельдь*, *сельдьятка*, *тугунок*, *сосвинская сельдь*, *полкур*, *чолмужский сиг*, *печорский омуль*, *печорская сельдь*, *телецкая сельдь*, *сибирский омуль*, *хадави*). Большинство новообразований возникает либо по модели *AN*, либо по модели *N + N*; часть названий этой группы проникает из диалектной речи (*валаамка*, *сельдьятка*, *тугунок*, *сосвинская сельдь*, *полкур*, *хадави*).

В 10—30-е и в 40—60-е годы XX в. в связи с широким описанием новых видов и подвидов сиговых происходит резкое расширение как реестра латинских определений, так и числа лексических новообразований. Большое число книжных по возникновению терминологических словосочетаний (свыше 200) образовано по модели *AN* и *AA'N* на базе опорных слов *сиг* и *ряпушка*. В отдельных случаях система русских научных названий сиговых рыб и в этот период продолжает пополняться за счет местных диалектных наименований. Слово *сельява* исторически представляет собой локально-праславянское (северославянское) образование по модели *N + ava*. Слово *кондевка* — местное русское морфологическое новообразование от заимствованной из якутского производящей основы. Слово *вимба* в язык научной литературы попало, по-видимому, прямо из шведского языка; слова *мустасиика* и *килоне* — непосредственно из карельского языка; слово *хеню* — из эвенкийского. В 40—60-е годы возрастает число многочленных книжных терминологических словосочетаний.

Во второй половине XIX в. выделяется также группа «Хариусы — *Thymallus*». В этот период в ее состав проникает ряд новых латинских определений и новых наименований (*обыкновенный хариус*, *байкальский хариус*, *алтайский хариус*, *восточный хариус*). В 10—30-е годы XX в. появляются новые определения: *T. brevirostris*, *T. arcticus*, *T. arcticus baicalensis m. angarensis*, *T. arcticus baicalensis isubsp. brevipinnis*, *T. arcticus grubei n. mertensi*, *T. nigrescens*. В эти же годы группа пополняется новыми наименованиями: *европейский хариус*, *монгольский хариус*, *сибирский хариус*, *западносибирский хариус*, *черный байкальский хариус*, *белый байкальский хариус*, *ангарский хариус*, *восточносибирский хариус*, *колымский хариус*, *амурский хариус*, *камчатский хариус*, *косоогольский хариус*. Все словосочетания образованы по модели *AN* или *AA'N*.

Самостоятельная группа «Корюшки — *Osmerus*» также выделяется во второй половине XIX в. Появляются новые наименования: *обыкновенная корюшка*, *восточная корюшка*, *корюшка-снеток*. В 10—30-е годы XX в. в группу «Корюшки — *Osmerus*» входят такие названия, как *морская корюшка*, *ладожская корюшка*, *онежская корюшка*, *зубастая корюшка*, *северная корюшка*, *беломорская корюшка*, *тихоокеанская корюшка*. В 40—60-е годы почти никаких изменений в группах «Хариусы — *Thymallus*», «Корюшки — *Osmerus*» не происходит.

Естественно, что при подобном анализе должны использоваться как основные понятия и методы общей лексикологии, так и сведения о принципах и приемах современного словообразования. Изучение эволюции

той или иной терминологии целесообразно, по-видимому, строить прежде всего не в плане истории отдельных слов, а в плане истории смены отдельных терминологических микросистем. При описании изменений, происходящих в терминологической системе с начала XX в., исследование приближается к работам собственно синхронического плана.

В результате подобный анализ позволяет выявить основные тенденции и закономерности развития данной терминологической системы. Так, например, оказывается, что в сфере ихтиологической терминологии, начиная с XVIII в., одной из основных тенденций в развитии системы русских научных названий рыб у различных авторов становится тенденция к уточнению уже имевшейся системы наименований, приводящая в лингвистическом плане ко все возрастающей взаимной конкуренции синонимов-дублетов в пределах одного синонимического ряда, к резкому росту числа членов отдельных синонимических рядов. Конкуренция внутри синонимического ряда приводит, как правило, к вытеснению слов устарелых, недостаточно четко и полно определяющих понятие, и к упрощению наименований, наиболее полно передающих с точки зрения данного состояния науки основные черты и особенности обозначаемого вида. Новые термины, если это не заимствования, как правило, обладают более сложной морфемной и синтаксической структурой, чем старые, что связано со стремлением передать максимум возможных особенностей понятия (ср. рост двучленных и трехчленных словосочетаний и сложных слов в системе русских названий сельдевых и лососевых рыб, начиная с 10—30-х годов XX в.).

В то же время с самого начала своего развития (XVIII в.) система русских научных названий рыб не обнаруживает тенденции к полисемии и омонимии, что обусловлено требованиями точности и однозначности терминологической лексики, не допускающей многозначности и омонимии.

Одной из самых существенных тенденций в развитии русских научных названий рыб является постоянно и активно действующая тенденция к фразеологизации свободных словосочетаний, состоящих из прилагательных, характеризующих какой-либо вид по его внешним признакам, месту обитания, и существительных — собственно названий рыбы (ср. *онезская палья*). Многие из таких устойчивых словосочетаний первоначально в тексте отдельных авторов употреблялись как свободные словосочетания. Позднее, будучи неоднократно интерпретированы в ряде работ как основные научные названия, они постепенно закрепились в данной их форме, переходя из одной специальной работы в другую (*сибирский осетр*, *амурский осетр*, *каспийская сельдь*, *керченская сельдь*).

Одной из основных тенденций в развитии современной системы русских научных названий рыб является проникновение в специальную литературу народных диалектных названий для местных и сезонных форм. Здесь следует иметь в виду, что количество местных (реже сезонных) форм у одного и того же вида весьма велико, и система латинских обозначений не дает возможности их исчерпывающего различения, что и приводит к вовлечению в сферу специальной терминологии местных названий.

Детальное изучение семантики, структуры слова и словообразования современных терминологических систем (характер и типы терминологических значений, реестр основ, корней, аффиксов, типология структуры слова), подкрепленное данными об их историческом развитии, способствует решению проблем упорядочения и унификации терминологии данной области науки.

В практике научно-терминологической работы при определении того или иного русского названия как основного, терминологического, кото-

рое впоследствии и должно войти уже в специальную литературу и в теорию и практику научного перевода с одного языка на другой, следует учитывать, имеет ли название давнюю традицию употребления, или не имеет, или создается вновь. Следует иметь в виду также такие основные моменты: 1) всю совокупность ихтиологических данных об этом виде; 2) предшествующую традицию употребления русских названий для данного вида; 3) данные текстов наиболее авторитетных источников; 4) народные диалектные названия этого вида и различных его сезонных и местных форм; 5) некоторые факты, связанные с историей слова, 6) необходимость одного основного русского наименования для каждого вида (во избежание синонимии); 7) данное русское название не должно употребляться в качестве основного для обозначения других видов (во избежание омонимии).

В качестве основных путей пополнения системы русских научных названий рыб, которые могут быть использованы в практике упорядочения и унификации современной терминологии, назовем: а) использование в качестве основного научного названия слова, ранее уже известного либо в общенародном языке, либо в одном из его диалектов; это широко распространенный путь пополнения системы терминов новыми наименованиями. Диалектные названия проникают в научную терминологию обычно через полевые записи исследователей (*пузанок, лох, тинда, торпа, лудога, рипус, муксун, пыжьян, сырок*); б) перевод, калькирование слова. В этом случае слово создается искусственно (переводится) с учетом ассоциаций и морфологических особенностей слова в языке-источнике. Этот путь пополнения научной терминологии еще недостаточно используется в прикладной терминологии (ср. *обыкновенный осетр, Acipenser vulgaris* — XVIII в.); в) заимствование слова, которое происходит в том случае, когда не представляется возможным использовать для наименования слово родного языка; тогда либо применяется латинское обозначение, либо заимствуется народное иноязычное название, которое выступает в тексте в соответствующем русском написании (ср. *пильхард, финта, шед, алоза, ляхсборель*); г) искусственное создание новых терминов на базе слов родного языка или заимствований путем прибавления к производящей основе слова тех или иных аффиксов (морфологическое словообразование) или же путем изменения значения слов, уже известных в языке, путем переноса наименования (лексико-семантическое словообразование). Наиболее продуктивны суффиксальный способ (ср. *аграханка, атеринка*) и сложение основ или самостоятельных слов, которое часто выступает наряду с суффиксацией (ср. *белоголовка, черноголовка, черноносик*)⁹. При лексико-семантическом способе новый термин создается путем сознательного изменения значения слова (ср. *конь, монах, скomorox*). Новым названием может стать сочетание одного, двух и более прилагательных и существительного. При наименовании рыбы прилагательные указывают на какие-либо характерные особенности этой рыбы (внешний вид, цвет, форма тела и его частей, образ жизни, место обитания, время появления или нереста в тех или иных водоемах), а существительное обозначает самую рыбу (ср.: *керченская сельдь, ладожский сиг, морская долгинская сельдь*). По модели *АН* или *АА'N* образовано абсолютное большинство книжных терминологических словосочетаний, обозначающих рыб. Большая часть таких наименований возникла искусственно под пером отдельных авторов.

⁹ О типичных частных словообразовательных моделях, о реестре аффиксов для русских названий рыб см.: А. С. Герд, О специфике словообразовательного анализа в рамках одной лексической группы, «Очерки по словообразованию и словоупотреблению», Л., 1965.

С точки зрения практической работы по упорядочению и унификации научной терминологии оказывается существенным, наряду с анализом словообразовательной системы, характерной для той или иной области терминологии, также выяснение конкретных путей пополнения этой области новыми наименованиями. Подобные исследования позволяют разработать общие принципы описания материала¹⁰. Нельзя не видеть и такую перспективу научно-терминологической работы, как создание информационно-поисковых языков для отдельных наук, предполагающее максимальную полноту и тщательность описаний каждого термина в исследованиях и словарях.

Итак, выявление основных тенденций и закономерностей в историческом развитии отдельных терминологий, анализ специальных текстов разных хронологических периодов, тщательное описание современной терминологии в различных исследованиях и сводных словарях и затем — выяснение основных факторов, путей, источников и конкретных ресурсов дальнейшего упорядочения и унификации терминологических систем, создание нормативных словарей и справочников — таковы основные задачи работы в области терминологии.

¹⁰ Подробнее см.: А. С. Герд, Об упорядочении и унификации русских названий рыб, «Вопросы ихтиологии», 1968, 2(49) (там же см. правила образования новых терминов в сфере названий рыб).

Ю. Д. АПРЕСЯН

О НЕКОТОРЫХ ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ
ТЕОРИИ СЕМАНТИКИ

(Ответ Н. Ю. Шведовой)

Недавно была опубликована статья Н. Ю. Шведовой «Несколько замечаний по поводу статьи Ю. Д. Апресяна „Синонимия и синонимы“» (ВЯ, 1970, 3), содержащая критический разбор названной в ее заглавии работы¹. Я считаю своим долгом перед читателем выразить согласие с замечаниями Н. Ю. Шведовой, касающимися слов *первый — верховный, как — словно — будто — точно, желанный — желательный, причинять боль — резать, не грех и (выпить)*, и принести ей свою искреннюю благодарность за них. Названные синонимические ряды — важная, хотя и небольшая часть рассмотренного в моей статье материала (всего в ней приведено около 150 рядов синонимов и квазисинонимов, из которых половина прокомментирована).

Другие суждения Н. Ю. Шведовой вызывают возражения и, поскольку они касаются принципиальных вопросов развиваемой моими коллегами и мной теории семантики, вынуждают меня воспользоваться правом ответа на критику.

Свои замечания Н. Ю. Шведова группирует в восемь тем: «1) объем значения слова и, соответственно, характер словарного определения; 2) возможности метаязыка в их отношении к семантической структуре слова; 3) основания для построения синонимических рядов, границы между синонимией и «квазисинонимией»; 4) соотношение значения слова и его сочетаемости; 5) основания для запретов в сфере сочетаемости; 6) объем понятия «сочетаемость слов»; 7) свободное сочетание слов и фразеологизм как объекты для изучения сочетаемости; 8) основания для выведения значений слов» (стр. 36). В интересах читателя сгруппируем свои ответы таким же образом.

1. По мнению Н. Ю. Шведовой, в статье «не удастся уловить единого и последовательно осуществляемого решения» по вопросу о том, «что принимается за компонент значения слова» (стр. 37): одни толкования чересчур общи, другие — чересчур детальны. Поскольку Н. Ю. Шведова нигде не возражает против предлагаемых в статье теоретических принципов истолкования значений (толкования должны быть нетавтологичны, полны и избыточны), ее критику можно интерпретировать как упрек в неумении приложить правильные принципы к конкретному материалу. Поэтому перейдем к рассмотрению наших определений и контролопределений Н. Ю. Шведовой.

Увеличиваться и возрастать определяются в статье как «становиться (т. е. „начинать быть“) больше»; различия между двумя глаголами считаются чисто сочетаемостными. По Н. Ю. Шведовой, *увеличиваться* зна-

¹ Другую оценку работы «Синонимия и синонимы» см.: J. Filip e s, Z nových praci o synonumech, «Jazykovédné aktuality», 1969, 3—4.

чит «становиться больше в объеме, размере» (разрядка наша. — Ю. А.); «в *возрастать* этот второй компонент отсутствует²» (стр. 37). Этим семантическим различием Н. Ю. Шведова объясняет тот факт, что сочетания *Опухоль увеличилась, Государство увеличилось* правильны, а соответствующие словосочетания с глаголом *возрастать* — нет.

Прежде чем рассматривать это рассуждение по существу, заметим, что «размер» в определении *увеличиваться* нельзя понимать как родовой термин для обозначения таких физических параметров предмета, как объем, площадь, длина, ширина, высота и т. п., так как тогда компонент «объем» оказался бы абсолютно избыточным. Скорее всего, «размер» имеет значение величины вообще, обычно реализуемое в сочетании с именами предметов, которым никакого конкретного физического параметра приписать нельзя (ср. *государство, завод* и т. п.). С этим уточнением данное Н. Ю. Шведовой определение примет следующий вид: *увеличиваться* «становиться больше в объеме или размере вообще». Однако несомненно, что *увеличиваться* может не только объем (*Опухоль увеличилась*) или размер вообще (*Государство увеличилось*), но и 1) площадь (*Полоса распашанной земли за ночь еще больше увеличилась, Увеличиваются посевные площади под ценными культурами*), 2) линия (*Увеличилась протяженность подъездных путей* [ширина колеи, высота дома]), 3) количество или число (*Увеличился заработок, Увеличилось число оборотов*). Если считать форму определения, предложенную Н. Ю. Шведовой, целесообразной, то само определение в свете приведенных фактов необходимо будет дополнить следующим образом: *увеличиваться* «становиться больше по объему, площади, протяженности, количеству, числу или размеру вообще». Однако это определение автоматически становится избыточным, потому что все перечисленные признаки, бесспорно, охватываются общим смыслом «больше», и без того фигурирующим в определении («больше» может быть и объем, и площадь, и линия, и количество, и число, и размер вообще). Таким образом, мы вновь получаем толкование *увеличиваться* «становиться больше».

Теперь попытаемся десинонимизировать *увеличиваться* и *возрастать* с другой стороны. Хотя Н. Ю. Шведова не дала полного толкования глагола *возрастать*, можно предположить, что она рассматривает его как частный случай *увеличиваться*. В пользу этого предположения свидетельствует и интуиция, и тот факт, что сфера употребления *увеличиваться* гораздо шире, чем *возрастать*, и, наконец, словарные определения, в которых *возрастать* толкуется через *увеличиваться*, а не наоборот. Итак, допустим, что различие между *увеличиваться* и *возрастать* все же семантическое и возникает за счет каких-то особенностей глагола *возрастать*. Легко заметить, например, что *возрастать*, по-видимому, под двойным давлением этимологии (ср. значения *воз-* и *-расти*), охотно сочетается с существительными, к которым применимы предикаты «высокий» и «низкий», ср. *Заработки [доходы, ставки] возросли вдвое. Может быть, возрастать = «становиться выше»? Нет, и от этого решения надо отказаться, потому что «выше» [«ниже»] реализует здесь свое переносное значение, никакого отношения к высоте не имеющее и семантически в точности синонимичное значению «больше» [«меньше»]. Что же касается эффекта маркированности, присущего *возрастать*, то он возникает именно за счет больших сочетаемостных ограничений этого глагола. Итак, *возрастать* тоже значит «становиться больше», и, следовательно, различия между двумя глаголами — чисто сочетаемостные³.*

² В Малом академическом словаре *возрасти* толкуется следующим образом: «увеличиться (в размерах, объеме, силе и т. п.)» (разрядка наша. — Ю. А.).

³ Мыслима еще одна возможность трактовать *увеличиваться* и *возрастать* как неточные синонимы. Они очень по-разному сочетаются (1) с абстрактными существитель-

Возражая против определения *повальный* = «охватывающий всех», Н. Ю. Шведова указывает в качестве «существеннейших компонентов значения» этого прилагательного «стихийно распространяющийся на всех как на пассивные объекты воздействия»⁴. Это определение, при всей его кажущейся очевидности, уязвимо в двух отношениях. Во-первых, *повальными* могут быть действия, проводимые по заранее и хорошо продуманному плану и, следовательно, лишённые стихийности, ср. *повальные аресты [обыски]* («...прослышал о близком повальном обыске у студентов». Ю. Давыдов). Во-вторых, *повальными* могут называться действия, у которых нет ни пассивных, ни активных «объектов воздействия», а есть только активно, хотя, может быть, и не вполне независимо, действующие субъекты, например, *повальное увлечение [бегство]*. Итак, от определения, предложенного Н. Ю. Шведовой, остается часть «распространяющийся на всех», которая, конечно, равносильна толкованию «охватывающий всех».

По-видимому, замыслу Н. Ю. Шведовой в большей мере соответствовало бы следующее определение: *повальный* = «охватывающий все субъекты или объекты действия, свобода воли которых в данной ситуации ограничена или отсутствует». Такое подробное определение имело бы смысл, если бы из него автоматически вытекали все сочетаемости ограничения прилагательного *повальный*, т. е. если бы его сочетаемость не надо было задавать отдельным правилом. Последнее, однако, невозможно, потому что далеко не всем действиям, субъекты или объекты которых несамостоятельны, может быть приписан признак повальности; ср. некорректность таких словосочетаний, как **повальная смерть*, **повальные пожары*, **повальная ненависть к красивым словам*. Совершенно не независимо от того, как определяется *повальный*, его сочетаемость, лексически достаточно ограниченная, должна быть задана отдельным правилом. В результате получается ненужное дублирование информации, и описание теряет экономность: второй элемент определения — отсутствие свободы воли — вытекает из значений слов *арест*, *обыск*, *бегство*, *увлечение* и т. п., которые все равно должны быть указаны в правиле сочетаемости. Напротив, если мы оставим в определении только те элементы, которые нельзя включить в характеристику сочетаемости, описание приобретет экономность, не утрачивая полноты (см. также 4).

2. «Корректное определение значений слов находится в непосредственной зависимости от возможностей метаязыка» (стр. 38); если, например, мы введем в определение *повальный* компонент «стихийно», то *повальный* и *всеобщий* — квазисинонимы, а если не введем, то они «останутся в лоне синонимии» (там же). «...естественно возникает вопрос: является ли значение слова объективной языковой данностью, существующей независимо от возможностей лексиколога и лексикографа, ...или же значение

выми, обозначающими определенный параметр физического тела (ср. *объем*, *площадь*, *размер* и т. п.) и (2) с именами конкретных предметов, имеющих соответствующий параметр (ср. *трюм*, *стена*, *предприятие* и т. п.). Можно сказать *Вместимость трюмов возросла [увеличилась]*, *Площадь под озимыми возросла [увеличилась]*, *Размеры предприятия возросли [увеличились]*, но только *Трюм [стена, предприятие] увеличивается* при некорректности **Трюм [стена, предприятие] возрастает*. Допустим в связи с этим, что у глаголов *увеличиваться* и *возрастать* имеется по крайней мере по два разных значения, реализующихся в условиях (1) и (2) соответственно. В первом из них они являются точными синонимами, а во втором — квазисинонимами: для глагола *возрастать* можно постулировать значение «становиться больше по любому параметру, за исключением объема, площади или размера вообще». Это решение достаточно далеко от того, которое предлагает Н. Ю. Шведова, но даже оно теоретически отнюдь не исключает возможности трактовать особенности второго значения *возрастать* как чисто сочетаемые; ср. ниже п. 4.

⁴ Ср. толкование Большого и Малого академических словарей и словарей Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова: *повальный* = «охватывающий всех или многих».

слова — понятие условное, объем которого может расширяться или сужаться в зависимости от того инструмента, с которым мы к нему подходим?» (стр. 38—39). Здесь же говорится, что метаязык, предлагаемый в статье, беден.

Однако едва ли одновременное признание зависимости определений от возможностей метаязыка и объективности значения ведет к противоречию. Кажется очевидным, что описание фактов тем полнее и точнее, чем богаче и тоньше научный аппарат (инструментарий и язык науки); при этом более точное и полное представление о фактах — вовсе не свидетельство того, что сами они изменяются. Объективная данность, которая была названа категорией вида, не стала иной, когда во второй половине XIX в. Ф. Дид открыл значение предельности — неопределенности и сформулировал (в других терминах) соответствующее понятие; углубились и расширились, благодаря этому понятию, лишь наши знания о ней. Уже этот пример показывает, что от возможностей метаязыка, средствами которого описывается язык, зависят не только толкования значений отдельных слов, но и гораздо более общие и существенные лингвистические представления. Этот вопрос заслуживает более подробного разбора.

Возьмем обычное определение свободных словосочетаний и фразеологических единиц (годилось бы и любое другое определение, использующее семантическую информацию) и посмотрим, какими документами и средствами мы должны располагать, если хотим проверить, имеет ли оно именно тот смысл, который мы в него вкладываем. По общепринятому мнению, свободные словосочетания отличаются от фразеологических единиц тем, что в них значение целого равно сумме значений компонентов; во фразеологических единицах это равенство не имеет места.

Чтобы установить, имеет ли это определение нужный нам смысл, мы должны прежде всего располагать словарем, в котором все слова истолкованы в соответствии с рядом формальных требований (включая, как показали И. Бар-Хиллел и У. Вайнрайх, требование экономичности и простоты). Достаточно, например, поместить в словарь 1) глагол *вешать* в значении «приходить в состояние, обозначаемое зависимым существительным» с сочетаемым ограничением «только со словом *нос* в качестве зависимого» и 2) существительное *нос* в значении «уныние» с сочетаемым ограничением «только со словом *вешать* в качестве главного», чтобы словосочетание *вешать нос* «приходить в уныние» оказалось свободным. Пример хотя и нелепый, но не праздный: если так называемые фразеологически связанные значения в словаре фиксируются, то по крайней мере фразеологические сочетания перестают быть фразеологическими единицами, поскольку в них значение целого становится равным сумме значений компонентов.

Однако словарь сам по себе еще не обеспечивает согласного с языковой и лингвистической интуицией решения всех существенных семантических вопросов теории словосочетания. Нужны еще правила, отражающие объективно существующие в языке законы сложения значений. Допустим, например, что значения любых элементов, за исключением фразеологических, в связанном тексте всегда складываются по аддитивному закону (значение целого равно сумме значений компонентов), и рассмотрим предложение *Погода совсем [совершенно] испортилась. Портиться*, в отличие от своего квазисинонима *ухудшаться* «становиться хуже», значит «становиться хуже или плохим»⁵. По правилу аддитивного сложения

⁵ Некоторые исследователи усматривают в таких случаях многозначность: *портиться* 1) «становиться хуже», 2) «становиться плохим». Изложим нашу точку зрения. В предложении типа *Одни слыш испортились совсем, а другие — чуть-чуть испортились* представлен, вне всяких сомнений, не в двух разных значениях, а в од-

значений для фразы *Погода совсем испортилась* мы получим толкование «Погода стала совсем хуже или совсем плохой». Поскольку это — явная ошибка (в действительности *Погода совсем испортилась* = «Погода стала совсем плохой»), мы вынуждены заключить, что «значение целого» в данном случае не равно «сумме значений компонентов», и, следовательно, рассматриваемое предложение содержит фразеологическую единицу. Чтобы избежать этого нелепого результата, мы должны а) ввести неаддитивное правило сложения значений, а именно, правило нейтрализации, которое могло бы иметь следующий вид: «если $X = \dots A$ или B », где A — сравнительная, а B — положительная степень прилагательного, и если X -у подчинено слово Y со значением полной степени признака (*совсем, совершенно, абсолютно* и т. п.), то для получения толкования всего словосочетания XU необходимо устранить из толкования X компонент „сравнительная степень“ вместе со знаком дизъюнкции» (правило годится для глаголов *портить — портиться, исправлять — исправляться, распускать (учеников) — распускаться* и др.); б) пересмотреть определение свободных словосочетаний и фразеологических единиц, введя в него указание на то, что значение свободного словосочетания образуется по одному из правил сложения значений (неважно, аддитивному или неаддитивному), а значение фразеологической единицы — нет. Вопрос о том, каков будет при таком решении статус фразеологических сочетаний, должен быть изучен отдельно.

Рассмотренный пример свидетельствует о двух вещах. Во-первых, определения языковых объектов и утверждения о них имеют смысл только в том случае, если они формулируются относительно словаря, переводящего выражения естественного языка на семантический, и относительно некоторой системы правил взаимодействия, или сложения значений в связанном тексте. Во-вторых, строить семантический язык далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. В него нельзя вводить слова, особенно сложные, не зная их отношения к уже имеющимся словам, т. е. не зная, из каких более простых слов складывается их словарное определение и по каким правилам они взаимодействуют с другими словами в связанном тексте. Именно этими соображениями объясняется то обстоятельство, что в настоящее время семантический язык располагает не слишком большим словарем и немногими синтаксическими правилами сложения значений. Он строится медленно, но последовательно, и на первых порах лучше довольствоваться ограниченным семантическим языком, все свойства которого нам зато хорошо известны, чем непрерывно пополнять его элементами с неопределенными свойствами; ценность таких элементов (ср. «стихийно») часто сомнительна.

ном (одновременная реализация двух значений одного и того же слова должна была бы дать эффект каламбура, которого здесь нет). В словосочетании *испортиться совсем* одной из семантических составляющих *испортиться* является «плохой», а в словосочетании *испортиться чуть-чуть* — «хуже». Таким образом, в одном и том же значении глагола есть обе эти составляющие. Остается решить, в рамках какой синтаксической структуры они могут сосуществовать. Мы уже видели, что есть случаи, когда в рамках одного простого предложения реализуются они обе (см. пример выше); в случаях типа *Погода совсем испортилась* реализуется только составляющая «плохой», а в случаях типа *Погода чуть-чуть испортилась* — только составляющая «хуже». Этот набор значений (либо A и B , либо A , либо B) присущ включительному союзу *или*, который поэтому должен быть введен в толкование глагола *портиться* и других подобных слов. Для многозначности же характерна не включительная, а исключительная дизъюнкция значений: либо A , либо B , но не A и B вместе. Именно по этой причине многозначные слова в нормальных условиях употребления реализуют в каждом предложении одно из своих значений; альтернативные осмысления в случае омонимии предложений имеют совершенно другую природу.

3. Развивая тему зависимости толкований от возможностей метаязыка, Н. Ю. Шведова в третьем пункте своей статьи оспаривает, в частности, предложенный в статье анализ слов *только*, *единственно*, *исключительно*. Но там речь идет лишь об ограниченном значении этих слов: *А ест только [единственно, исключительно] В = «А ест В; не существует С, отличного от В, которое бы А ел»*. В указанном значении их, с нашей точки зрения, следует считать семантически точными синонимами с различной синтаксической сочетаемостью: *единственно* и *исключительно*, в отличие от *только*, совсем не сочетаются с глаголами (ср. *Физики-теоретики только думают* при невозможности **Физики-теоретики единственно [исключительно] думают*) и плохо сочетаются с наречиями (ср. *Я пойду только туда* при затруднительности **Я пойду единственно [исключительно] туда*). Несогласие Н. Ю. Шведовой с предложенным анализом основано на интерпретации примера *Он только подумал об этом (но ничего не сказал)*, который она склонна понимать в смысле «выделения ограничиваемого или противопоставляемого»: *только* = «всего лишь», «всего-навсего». По мнению Н. Ю. Шведовой, указанное ею различие разрушает синонимию *только* — *единственно* — *исключительно*. Можно признать, что данный пример допускает и ограничительное и противопоставительное толкование, однако это не дает оснований для исключения *только* из рассматриваемого синонимического ряда. В статье учитывалось чисто ограничительное, а не противопоставительное значение; приведенные выше примеры с несомненностью свидетельствуют о том, что у слова *только* это значение есть, и что, в отличие от слов *единственно*, *исключительно*, оно реализуется в сочетании с глаголами и наречиями (кроме свойственных всем трем синонимам сочетаний с существительными). Следовательно, наш анализ никак не опровергнут.

4. Проблема «значение или сочетаемость?» является центральной проблемой теоретической семантики и по существу, и в методологическом отношении. По существу — потому что от ее решения зависит решение всех остальных вопросов семантики; методологически — потому что именно в этой области возникает принципиальная возможность неоднозначности лингвистических описаний, в последнее время столь бурно дискутируемая лингвистами самых разных направлений.

Является фактом, что многие, хотя и не все, семантические различия могут быть с одинаковой степенью полноты и непротиворечивости представлены двумя способами: 1) либо как различия в значениях соответствующих языковых форм, 2) либо как различия в их сочетаемости⁷. Так, слова *свора*, *стая*, *табун* и т. п. могут быть описаны как неточные синонимы: *свора* \cong «совокупность собак...»; *стая* \cong «совокупность волков или птиц...»; *табун* \cong «совокупность лошадей...». Тогда для употреблений типа *свора собак*, *стая волков*, *табун лошадей* необходимо будет предусмотреть правило сложения значений, которое может иметь, например, следующий вид: «совокупность ХХ» = «совокупность Х» (без такого правила обойтись нельзя, потому что сочетания типа *табун лошадей* явным образом не значат «совокупность лошадей лошадей...»). С другой

⁶ Это толкование, представляющее собой простую синонимическую замену, кажется неудачным. Корректнее было бы определение: *только* Х = «Х; Х — мало или меньше ожидаемого», ср. *Он только говорит об этом, но ничего не делает; Он написал только одну книгу; Ему исполнилось только пять лет; Ему сорок лет, но он только капитан* и т. п. Легко видеть, что это значение имеет мало общего с тем, которое анализируется в статье.

⁷ Два других случая — различия могут быть описаны только в терминах значений или только в терминах сочетаемости — в данном контексте нас не интересуют. См. ниже анализ слова *ухудшаться*.

стороны, можно сказать, что слова *свора*, *стая*, *табун* и т. п. — семантически точные синонимы со значением совокупности определенным образом организованных животных, различающиеся лишь своей лексической сочетаемостью. Тогда в случае абсолютного употребления типа *Табун мчался прямо на нас* у этих слов необходимо будет усмотреть другие значения.

Оба описания дают полную и непротиворечивую картину фактов, и, следовательно, мы не можем отдать предпочтение ни одному из них, если руководствуемся только критериями полноты и непротиворечивости. Поэтому для выбора оптимального решения необходимо привлечь какие-то дополнительные соображения, например, соображения экономичности и простоты, которые, кстати, всегда, хотя бы в неявном виде, использовались в лингвистике. Первое описание кажется более экономным, потому что в нем не нужно расщеплять значения, а второе — более простым, потому что для него не нужно особого правила сложения значений. В таких трудных случаях, как показывает опыт нашей работы, предпочтение следует отдавать простоте — как правилу, сочетаемостному решению.

Вернемся в этой связи к первому описанию и посмотрим, какой смысл может иметь символ X , фигурирующий в правиле сложения значений. Если бы X был символом любого слова, то решение было бы превосходно: система осложнилась всего одним новым правилом, а сэкономлены десятки единиц словаря. К сожалению, символу X нельзя придать никакого общего смысла. Возможность преобразования структуры вида $X + X$ в X зависит от того, каков этот X . В только что рассмотренном случае сокращение возможно и даже необходимо: «совокупность собак собак» = «совокупность *свора*» \cong «совокупность пчел пчел» = «совокупность пчел» \cong *рой* и т. д. Однако, например, значения высокой степени, каузации и очень многие другие сокращать нельзя: «очень быстро двигаться» — не то же самое, что «быстро двигаться» (ср. *нестись, как стрела, нестись, быстро бежать*), «каузировать каузировать P » — не то же самое, что «каузировать P » (ср. *вызволить кого-л. из тюрьмы* и *выпускать кого-л. из тюрьмы*); есть разница между *толпой товарищей товарищей* и *толпой товарищей* и т. д. Из этого следует, что нужно ввести в описание столько разных правил, сколько имеется различных X , допускающих сокращение, — с риском сделать систему правил открытой. Между тем, правила должны образовывать замкнутую систему.

Рассмотрим теперь второе — сочетаемостное — решение. Оно, как мы видели, требует расщепления значений, т. е. расширения словаря. Но расширение словаря никакими серьезными последствиями не грозит, так как словарь является по самой своей природе незамкнутой, открытой системой.

Эти и им подобные соображения использовались всякий раз, когда возникала ситуация принципиальной неоднозначности лингвистических описаний. Видимо, Н. Ю. Шведова не допускает возможности разных, но равносильных друг другу описаний одних и тех же фактов. «Представляется несомненным, — пишет она, — что избирательная лексическая сочетаемость слов предопределяется внутренними качествами „избирающего“ слова, и эти качества нужно искать в сфере значения» (стр. 41); «Исключения составят не столь уж многочисленные явления действительно „точных синонимов“» (стр. 40). Поскольку, таким образом, наши теоретические позиции различны, мне остается рассмотреть конкретный материал, в анализе которого я, по мнению Н. Ю. Шведовой, подменяю «тонкие различия» в семантике слов «описанием их разной сочетаемости». По соображениям места ограничусь двумя примерами — разбором синонимического ряда *намного* — *очень* и глагола *угуждать*.

Н. Ю. Шведова возражает против синонимизации *намного* и *очень* в значении «высокой степени». «...само значение высокой степени, — пишет она, — разлагается на „более высокой степени“ (это значение есть только в *намного*) и просто «высокой степени» (*очень*⁸). Объективно это подтверждается вхождением *намного* в ряд *намного* — в *большой степени* — и *очень* — в ряд *очень* — в *большой степени*» (стр. 40). Этим семантическим различием Н. Ю. Шведова объясняет отмеченные нами различия в сочетаемости *очень* и *намного* (оба наречия сочетаются с компаративным глаголом, ср. *очень* /*намного*/ *опередить*; однако только *очень* сочетается с некомпаративным глаголом и только *намного* — с прилагательным в сравнительной степени, например, *очень страдает*, *намного выше*, но не **очень выше*, **намного страдает*).

С утверждением Н. Ю. Шведовой о том, что значение наречия *намного* — компаративное («б о л е е высокой степени»), согласиться нельзя. Конституирующим свойством компаративного значения является указание на второй предмет сравнения. В русском языке это указание обычно присоединяется к слову с компаративным значением посредством союза *чем* и именной конструкции или посредством существительного в родительном падеже, ср. *больше* [*выше, длиннее, шире, толще, тяжелее*] *этой доски*, *больше* [*выше...*], *чем эта доска*, *существенный в большей мере* /*в большей степени, в более высокой степени*/, *чем все остальные аргументы* и т. д. У наречия *намного* этого главного свойства компаративного значения нет, и поэтому входит оно не в ряд *в большей степени, более, больше, в более высокой степени* и т. д., а в ряд *гораздо, значительно, очень, сильно* и т. д., ср. *гораздо* /*значительно, намного*/ *моложе, намного* /*очень, сильно*/ *отстал*.

Даже если бы *намного* действительно имело компаративное значение, то и тогда особенности его сочетаемости остались бы необъясненными. Наличие у слова компаративного значения никак не мешает ему сочетаться с глаголами со значением градуируемого свойства, ср. *картавит* [*смущается, страдает*] *больше меня*, *картавит в большей степени, чем я*, и т. д. Что же касается наречия *намного*, то оно, как было указано выше, в такие сочетания не входит.

Глагол *ухудшаться* использован в нашей статье для иллюстрации понятия сочетаемостного запрета. Там сказано: «Слово *ухудшаться*, например, должно быть снабжено пометой о том, что ему запрещено сочетаться с названиями физических предметов (включая названия лиц) в качестве подлежащего (невозможно **Машина ухудшается*, **Петр ухудшается*), хотя этот запрет никак не вытекает из значения *ухудшаться* „становиться хуже“, ср. *Машина становится хуже, Петр становится хуже*» («Синонимия и синонимы», стр. 82). Соглашаясь с этим наблюдением, Н. Ю. Шведова считает, что этому явлению должна быть указана причина, и видит ее в том, что «все образованные от прилагательного глаголы с приставкой *у-* и постфиксом *-ся*, имеющие словообразовательное значение нарастания признака, или вообще не сочетаются с названиями лиц, или сочетаются с ними ограниченно. Ср. такие глаголы, как *увеличиваться, уменьшаться, утучняться, убыстряться, увлажняться, утишаться, углубляться, укорачиваться, удорожаться, удешевляться, уплотняться, смягчаться, утончаться, утолщаться* и мн. др. ...Таким образом, *ухудшаться* не сочетается с *Иваном* не по каким-то индивидуаль-

⁸ Данная формулировка неудачна, так как дает повод думать, что компаративное значение «более высокой степени» рассматривается Н. Ю. Шведовой как частный случай значения просто «высокой степени»; между тем, давно и твердо установлено, что компаративные значения (*грозче, ниже, тяжелее, шире*) являются более общими, чем соответствующие им некомпаративные (*грозкий, низкий, тяжелый, узкий*).

ным и необъясненным причинам, заложенным только в этом глаголе (а именно так получается, когда рассматривается одно слово, произвольно отвлеченное от целого словообразовательного типа), но по общему правилу сочетаемости всех слов этого типа. Поэтому в толкование значения слова *ухудшаться* (так же, как *уменьшаться*, *умягчаться* и т. д. должно быть введено указание: „о предмете как носителе признака“ или что-то в этом роде; это — один из элементов значения данного слова» (стр. 40).

Многое в этом отрывке вызывает возражения.

Во-первых, исследователь имеет право иллюстрировать свой тезис одним произвольно выбранным примером, если для прояснения существа дела его достаточно; приведенный случай именно таков, потому что иллюстрировалось не общее правило, а запрет.

Во-вторых, в статье речь идет о том, что *ухудшаться* не сочетается с названиями любых физических предметов (включая лиц), а у Н. Ю. Шведовой — о несочетаемости с названиями только лиц. Подавляющее большинство процитированных ею глаголов настолько свободно сочетается с названиями вещей, что Н. Ю. Шведова считает необходимым ввести в их толкование компонент «о предмете как носителе признака»; но применительно к *ухудшаться* (к нему можно присоединить еще и *улучшаться*), именно в силу его индивидуальных лексических свойств, отмеченных выше, такое указание является прямой ошибкой: ведь этот глагол как раз не сочетается с названиями предметов.

В-третьих, даже если бы утверждение Н. Ю. Шведовой было верным относительно всего рассмотренного ею словообразовательного типа, объяснение ограничений в сочетаемости этих глаголов все равно нельзя было бы считать причинным: просто узкое сочетаемое правило Н. Ю. Шведова заменила широким, но тоже сочетаемым правилом.

В-четвертых, указание «о предмете как носителе признака» Н. Ю. Шведова считает и «общим правилом сочетаемости всех слов этого типа», и элементом их значения. Одно из двух: либо есть специальное сочетаемое правило, и тогда нет нужды включать то же самое указание в толкование слова; либо есть особенность значения, и тогда нет нужды отдельно формулировать ее же еще и в виде правила сочетаемости.

Наконец, в-пятых, названный Н. Ю. Шведовой словообразовательный тип не имеет отношения к обсуждаемой проблеме. Особенности свободной (продуктивной) сочетаемости любых слов, в том числе и рассмотренных Н. Ю. Шведовой глаголов, в большинстве случаев определяются не столько внешними морфологическими признаками (наличием в их составе тех или иных конкретных префиксов, постфиксов и т. п.), сколько гораздо более глубокими семантическими свойствами соответствующих предикатов, коренящимися в целостной семантической структуре слова. Лица не имеют глубины (в физическом смысле) и поэтому не могут не только *углубляться*, как рвы или водоемы, но и *мельть* (хотя *мельть* относится к другому словообразовательному типу); у них нет скорости, и поэтому они не могут не только *убыстряться*, но и *замедляться* (другой словообразовательный тип)⁹; лиц обычно не оценивают с точки зрения мягкости — твердости их тел, и поэтому они не могут не только *умягчаться*, но и *смягчаться* (в физическом смысле) или *размягчаться*. Если глагол образован от такого значения прилагательного, в котором оно описывает параметр вещи, но не лица, он, разумеется, не будет сочетаться с названием лица, совершенно независимо от своей словообразовательной

⁹ Кстати, поскольку скорость присуща не предметам, как таковым, а только их движениям, собственно предметы (вещи) столь же мало могут *убыстряться* или *замедляться*, как и лица; поэтому распространять на *убыстряться* указание «о предмете как носителе признака» ошибочно.

структуры; невозможно не только **Иван утолстился*, но и **Петр истончился*. В этом отношении рассматриваемый словообразовательный тип не имеет никаких преимуществ перед другими словообразовательными типами. Мы, например, с таким же успехом могли бы утверждать, что несочетаемость с названиями лиц характеризует отаждективные глаголы с приставкой *за-* и постфиксом *-ся*, имеющие словообразовательное значение нарастания признака, ср. *загладиться, загуститься, зазелениться, закрутиться, замедлиться, замутиться, заостриться, заполниться, засолиться, затемниться, затупиться* и др. Напротив, если глагол образован от такого (значения) прилагательного, которое описывает параметр лица, он будет сочетаться с названием лица, даже если имеет описанную Н. Ю. Шведовой словообразовательную структуру, ср. *умилостивиться, уподобиться, уравниваться, успокоиться* и ряд других глаголов.

Итак, сочетаемостные различия названных Н. Ю. Шведовой глаголов никак нельзя объяснить их принадлежностью к словообразовательному типу «*у* — основа прилагательного — *ся*» со значением нарастания признака. Во всех рассмотренных случаях сочетаемость — несочетаемость глаголов с названиями лиц или вещей выводится непосредственно из свойств выражаемых ими предикатов. Не то в случае глагола *ухудшаться* (или *улучшаться*). Людей и вещи можно оценивать (см. примеры выше), но об этом не принято говорить, используя слова *ухудшаться* — *улучшаться*. Поскольку связать сочетаемостные ограничения *ухудшаться* — *улучшаться* с их семантическими свойствами нельзя, приходится довольствоваться чисто сочетаемостным правилом.

5. Вопрос о запретах и предписаниях, возможном и невозможном, правильном и неправильном, нормальном и аномальном в языке, при нынешнем состоянии теории нормы, объективно очень труден для решения. Выдвинутые до сих пор понятия (схема, система, структура, узус, норма, нормализация, кодификация и т. п.) отражают не столько реальные успехи в этой области, сколько первоначальные усилия разобраться в необыкновенно сложном и пестром материале. Соответствует ли норме *очень покрепче* (Лесков), *нервно держала правую руку* (Мамин-Сибиряк), *открытая буланая машина* (Булгаков), *Его пообещали свести с самим создателем* (имеется в виду создатель ветвистой пшеницы; Тендряков), *Есть предложение считать сумерки сгустившимися* (Стругацкие), *в четырехлетнюю меня* (Цветаева), *Их воздухом поющ тростник и сладок* (Мандельштам), *Я знаю, тихонечко стоя в сторонке* (Евтушенко) — или это обдуманное отступление от нормы, целью которых является создание определенного стилистического эффекта? Можно ли сказать *поразил ворота команды Польши* («Правда»), *автор новой высокoeffективной флотационной машины* (там же), *несбыточные потуги* (там же), *рассматривает Кашмир своей неотъемлемой частью* (там же), *агрессивные акты изображаются мерами самообороны* (там же), *оценивают их работоспособность хорошей* (там же), *угнали несколько государственных и собственных машин* (ереванский «Коммунист»), *похищенные части реализовали случайным покупателям* (там же) — или это журналистские недосмотры и ошибки?

В оценке таких явлений мне кажется более оправданной ригористичность, чем либерализм. Я, в частности, не согласен с Н. Ю. Шведовой, считающей словосочетание *снимать озеро* (в значении «арендовать») и *катастрофа с самолетом* (в значении «авиационная катастрофа») вполне правильными на том основании, что первое приводится в Большом академическом словаре в качестве иллюстрации, а второе подтверждается в том же словаре толкованием слова *крушение*. Словосочетание *снимать озеро* отмечено у Салтыкова-Щедрина и вряд ли соответствует современной нор-

ме словоупотребления; что же касается словосочетания *катастрофа с самолетом*, то в словарных определениях, в интересах ясности, иногда умышленно используются ненормативные обороты. Тот факт, что оно принадлежит к продуктивной и быстро растущей в современном разговорном языке конструкции $C_{им} + c + C_{тв}$, где $C_{им}$ — название события, не должен нас смущать, потому что конкретные словосочетания этого типа крайне неравномерно осваиваются литературным языком. В частности, фразы *статистика авиационных катастроф*, *Он попал в авиационную катастрофу*, *В этом году произошло две крупных авиационных катастрофы*, по-видимому, из-за к н и ж н о г о характера прямого значения слова *катастрофа*, бесспорно, предпочтительнее фраз **статистика катастроф с самолетами*, **Он попал в катастрофу с самолетом*, **В этом году произошло две крупных катастрофы с самолетами*.

6—7. Эти два пункта посвящены сочетаемости и фразеологизмам. Здесь, в частности, говорится: «Разлагая на слова устойчивые сочетания типа *до скорого свидания*, *в близком будущем...*, *быть в восторге*, *питать уважение*, *оказывать влияние*, *производить впечатление* и под..., нельзя изучать сочетаемость как явление „валентностной структуры слова“: своей собственной валентностью обладает уже все такое сочетание в целом» (стр. 42—43), потому что «... исторически закрепившееся соединение двух слов приобретает качества и функции одного слова» (стр. 43).

Изложенная Н. Ю. Шведовой точка зрения не кажется убедительной. К этим выражениям разумно подходить с позиции теории фразеологии, развитой В. В. Виноградовым. По классификации В. В. Виноградова все они относятся к разряду фразеологических сочетаний, в которых «синтаксические связи слов вполне соответствуют живым нормам современного словосочетания»¹⁰ (разрядка наша. — Ю. А.). Аргументация этого положения, на наш взгляд, неотразима, сводится к тому, что фразеологические сочетания допускают всевозможные синтаксические перестройки, эксплуатирующие индивидуальные валентные свойства составляющих их слов, ср. *в самом близком будущем*; *Уважение, которое я издавна питал к ней, ничуть не уменьшилось*; *Впечатление, произведенное этим открытием, было ни с чем не сравнимо*. На этом основании В. В. Виноградов противопоставлял их фразеологическим сращениям — эквивалентам слова с неразличимыми грамматическими отношениями между компонентами (ср. *был баклуши*, но не **баклуши, которые он был*). Даже фразеологические единства — семантически более спаянные фразеологические единицы, чем фразеологические сочетания, — он считал всего лишь потенциальными эквивалентами слова с легко различимыми грамматическими отношениями между компонентами. Надо сказать, что в последнее время был предложен большой теоретический аппарат, с помощью которого оказывается возможным описывать синтаксис и семантику фразеологических сочетаний подобно тому, как описываются соответствующие части свободных словосочетаний (разумеется, с учетом специфики и первых и вторых)¹¹.

8. В последнем пункте своей статьи Н. Ю. Шведова, по существу, ставит вопрос об источнике наших знаний о языке. Упрекая меня в том, что я выступаю «как свой собственный информант» (стр. 43), она противопоставляет информатскому языковому опыту объективные данные о словоупотреблении, накапливаемые в картотеках и больших толковых словарях.

¹⁰ В. В. Виноградов, *Русский язык*, М.—Л., 1947, стр. 28.

¹¹ А. К. Жолковский, И. А. Мельчук, *О семантическом синтезе*, «Проблемы кибернетики», 1967, 19.

Нельзя, конечно, сомневаться в важности объективных данных; однако даже самый обширный словарь и самая богатая картотека не освобождают исследователя семантики от необходимости присоединять к объективным данным свой (и чужой) субъективный опыт. Субъективный опыт, менее представительный, чем словари и картотеки, обладает перед последними тем бесспорным преимуществом, что открывает возможность не только наблюдать, но и экспериментировать — возможность, которую высоко ценили такие тонкие знатоки фактов, как А. М. Пешковский и Л. В. Щерба. В эксперименте богато представлен «отрицательный языковой материал» (Л. В. Щерба), уникальный в том отношении, что он во много раз скорее и эффективнее, чем тексты, позволяет установить существенные элементы значения слова. Так, самое главное (к сожалению, не отмечаемое словарями) семантическое различие между *вынимать* и *доставать* незаметно до тех пор, пока мы не попытаемся заменить первый глагол вторым во фразах типа *Он вынул* (но не **достал*) *руку из кармана*; оказывается, что в значении *доставать* есть указание на то, что между субъектом и объектом доставания невозможен органический контакт. Существительное *холостяк*, вопреки определениям словарей, значит не то же самое, что *холостой* (*мужчина*) = «неженатый (мужчина)», так как в нейроническом, стилистически нейтральном контексте невозможно назвать *холостяком* 20-летнего неженатого мужчину или вдовца или разведенца (хотя все они, безусловно, *холосты* и именно этим словом описывают свое семейное положение, заполняя анкету); *холостяк* — это «неженатый мужчина, достаточно давно достигший брачного возраста и никогда не состоявший в браке» (определение А. К. Жолковского и И. А. Мельчука). У слова *автор* имеется особое, не зафиксированное в современных словарях (за исключением словаря Д. Н. Ушакова), но все еще сохраняющееся в современном языке значение «писатель», потому что фразы типа *мои любимые авторы, классические [древние, современные] авторы* уместны лишь в том случае, когда речь идет о литераторах, и неуместны, если имеются в виду создатели картин, симфоний, проектов и т. п. Можно десятилетиями собирать факты и ни разу не заметить семантического секрета слова, который оно мгновенно отдает в условиях острого эксперимента.

Теоретическая работа вообще немислима без эксперимента¹², а эксперимент предполагает обращение к информантскому опыту (своему и чужому). Если согласиться с этим тезисом, между Н. Ю. Шведовой и мной останутся чисто практические расхождения в интерпретации ряда примеров.

Жадный (человек) у меня определено как «(человек), сильно желающий приобрести X, которого у него нет и который не является для него необходимым». По мнению Н. Ю. Шведовой, мое определение годится только для случаев типа *Какой жадный мальчик: у всех все отнимает*. Однако случаи типа *Жадный мальчик: не дал зеленый карандаш раскрасить листья* снимают «одно за другим все элементы этого определения: желания приобрести нет, карандаш есть, он свой, чужого мальчику не надо» (стр. 43).

¹² См., например, работы Н. Ю. Шведовой о парадигматике и типологии просто го предложения. При написании такого фундаментального труда, как «Словообразование чешского языка», использовались не только словари и картотеки, но и индивидуальное «языковое чутье» его составителей; см. «Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen», Прага, 1967, стр. 8. Обращение к экспериментальному материалу предполагают не только утверждения по поводу тех или иных фактов, но и некоторые теоретические понятия; ср. понятие «грамматической правильности» у Н. Хомского, понятие «потенциального слова» у А. И. Смирницкого, понятие «системной продуктивности» словообразовательного типа у М. Докулила; два последние понятия используются и в «Основах построения описательной грамматики современного русского литературного языка» (М., 1966).

Этот анализ дает Н. Ю. Шведовой основание заключить, что я толкую «отдельное употребление слова» (стр. 43), «на основе только своего субъективного знания» (стр. 44). Из замечаний Н. Ю. Шведовой следует, что в обоих рассматриваемых ею случаях она видит одно и то же значение прилагательного *жадный*. Я же при толковании прилагательного *жадный* опирался на устойчивую традицию русской толковой лексикографии (см. словари Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, Большой и Малый академические), последовательно различающей два разные значения этого слова: то, которое у меня определено, и то, которое представлено во втором примере Н. Ю. Шведовой и синонимично *скупой* (даже в кратком словаре С. И. Ожегова эти значения даются под разными номерами). Второе значение мною совершенно не рассматривалось, потому что пара *жадный* — *скупой* анализировалась только как пример квазисинонимов.

Глагол *завидовать* истолкован у меня следующим образом: *А завидует В* = «*А* не имеет *X*, и *В* имеет *X*, и *А* хочет иметь *X*, и *А* не хочет, чтобы *В* имел *X*»¹³. Н. Ю. Шведова считает, что это толкование опровергается примером *Я завидую ему: он так молод*. «... у *А* нет беспредметного хотения „иметь молодость“ и нет еще более беспредметного хотения лишить *В* молодости... Зато для любого употребления слова *завидовать* годилось бы определение: „*А* не рад тому, что *В* имеет *X*, потому что сам *А* не обладает этим *X*-ом“¹⁴» (стр. 44, разрядка наша. — Ю. А.). Итак, «*А* не рад...»; сделаем следующий шаг и спросим себя, что такое радость. По разумному предположению А. Вежбицкой, радость — это эмоция, которую испытывает человек, когда то, чего он хочет, имеет место. Можно, конечно, и не настаивать на буквальном тексте этого определения, но все же в любом нетривиальном толковании слова *радость* должно содержаться указание на желательность происходящего для субъекта. Тогда *А не рад*, как легко заключить, значит «*А* испытывает эмоцию, которую испытывает человек, если то, чего он не хочет, имеет место». Таким образом, указание на нежелательность того, что *В* имеет *X* (например, молодость), которое, по мнению Н. Ю. Шведовой, ей удалось исключить из определения, в действительности оказывается неустраиваемым.

Верно и более сильное утверждение: оно в принципе неустраиваемо. В этой связи подчеркнем, что семантическая составляющая «*А* не рад...» в толковании глагола *завидовать* представляется немотивированной. По крайней мере с тем же успехом на ее место в определении могли бы претендовать составляющие «*А* досадует...», «*А* раздражен...» (см. современные толковые словари), «*А* жалеет...» (см. словарь В. Даля), «*А* огорчен...», «*А* недоволен...», «*А* не нравится...» и т. п. Уже эта широта альтернативных решений показывает, что все построенные таким образом определения *завидовать* перегружают значение этого слова избыточными признаками. Скорее всего, зависть не является разновидностью нерадости, досады, раздражения, сожаления, огорчения, недовольства и других специфических эмоций. Существенным для зависти оказывается лишь их инвариант — значение эмоции, при которой некоторая ситуация (см. определение) является нежелательной для субъекта.

¹³ В этом определении, по мнению Л. Н. Иорданской, не хватает ссылки на то, что зависть — вид эмоции.

¹⁴ Если не допускать возможности семантических нейтрализаций (см. выше стр. 27), определение Н. Ю. Шведовой годится не для любого употребления слова *завидовать*, ср. «До вашего приезда я, по свойственной всем людям слабости, завидовала тому, что дается богатством, но теперь я переменяла свой взгляд и вдвое счастливее в своем уголке» (Мамин-Сибиряк, Горное гнездо). Если же такую возможность допустить, то мое определение тем самым вполне реабилитируется.

Несколько менее существенных замечаний. На стр. 41. Н. Ю. Шведова квалифицирует как ошибочное утверждение, что у предиката *верить* второе место должно быть занято именем целой ситуации со своим предикатом, ср. *Я верю, что он честен*. В качестве опровергающего приводится пример *Я верю в его честность*. Но *его честность*, в соответствии с широко принятыми сейчас представлениями, восходящими к работам О. Эсперсена, Л. Теньера, Е. Куриловича, Г. Рейхенбаха, трактуется как именная форма ситуации «Он честен», и, таким образом, этот пример не опровергает правила, а подтверждает его. На стр. 43 мне приписывается утверждение, что такие слова, как *слыть, мнение, репутация, жаль, неймется, всего* и т. д. вообще невозможно истолковать. Это — недоразумение. В действительности я утверждаю лишь то, что слова такого типа нельзя истолковать иначе, как в составе выражения *ХРУ*, где *Р* — толкуемое слово, а *Х* и *У* — переменные, сообщающие данному выражению форму предложения или словосочетания.

Можно было бы привести дополнительные аргументы и в пользу предложенного в статье анализа слов *автор — создатель, замужем — женат, появляться — показываться, братья — приниматься*, но в этом нет необходимости: все принципиальные вопросы рассмотрены, и читатель получил достаточно материала, чтобы сопоставить мнения сторон и прийти к собственным выводам.

Несмотря на наши разногласия с Н. Ю. Шведовой, я считаю состоявшуюся полемику полезной, ибо верю, что она позволит каждой стороне увидеть новые для нее аспекты обсуждаемых проблем.

С. М. ТОЛСТАЯ

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ МОРФОНОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Как известно, в лингвистике до сих пор нет сколько-нибудь единого, общепризнанного понимания морфонологии, ее предмета, задач, ее статуса в кругу лингвистических дисциплин. Объективной основой отрицания самостоятельности морфонологии является сложность, неоднородность самого предмета, который, с одной стороны, пересекается с традиционной областью фонологических фактов (позиционно обусловленные чередования, фонемный состав морфем), а с другой стороны, захватывает явления, имеющие явно иную природу (морфологические, или традиционные чередования). Объединение же этих разнородных отделов в рамках одной дисциплины достаточно убедительно мотивируется тем, что как одни (условно «фонологические»), так и другие (условно «морфологические») факты характеризуют фонемную структуру морфемы и возможности ее варьирования в словоизменении и в словообразовании, и с этой точки зрения отличаются друг от друга лишь степенью и типом обусловленности. (Здесь уместно вспомнить, что Бодуэн де Куртене объединял термином «альтернация» все разновидности звуковых соответствий, как позиционно обусловленных, так и не обусловленных¹. Точно так же и морфонология Трубецкого² содержала оба этих раздела).

Пограничное положение, занимаемое морфонологией, создает сложную зависимость морфонологических интерпретаций от результатов фонологического и морфологического анализа. Достаточно очевидно, что морфонология, базирующаяся, например, на фонологической концепции московской школы, должна по своему содержанию отличаться от морфонологии, исходящей из ленинградской концепции фонемы. Эти две концепции в принципе сходны в том, что касается смысловозначительной сущности фонемы, и, более того, они в общем согласуются в своих выводах об инвентаре русских фонем, несмотря на известные отличия, связанные с трактовкой безударных гласных или $i \sim y$, которые отнюдь не являются прямым следствием их принципиальных расхождений. Принципиальное расхождение следует, как кажется, видеть в том, как трактуется в каждой из школ проблема отождествления реальных единиц текста с предварительно выделенными (совсем иной процедурой; скажем, на основе минимальных пар) фонемами³.

¹ И. А. Бодуэн де Куртене, Опыт теории фонетических альтернатив, в кн. «Избр. труды по общему языкознанию», I, М., 1963.

² N. Troubetzkoy, Das morphonologische System der russischen Sprache, TCLP, 5, 2, 1934.

³ Следует предупредить, что в данном случае мы не имеем в виду той версии московской фонологической концепции, которая принадлежит М. В. Панову. В его книге «Русская фонетика» (М., 1967) указанное различие, хотя и совсем иначе трактуемое, лежит в основе противопоставления синтагмофонетики и парадигмофонетики. С нашей точки зрения, содержание этой книги не только не исчерпывается «фонетикой», но оно не исчерпывается даже и «фонологией», а содержит, помимо них, еще и добрую часть морфонологии (по существу, морфонологией является вся парадигмофонетика).

Нужно сказать, что при этом затрагивается более общая проблема лингвистики — необходимость различать между способом выделения парадигматических единиц (для чего достаточно одного единственного противопоставления, т. е. в другой терминологии — одной сильной позиции) и способом отождествления реальных единиц текста с уже выделенными элементами системы. Что эти способы могут быть разные при одном и том же инвентаре элементов, легко показать на примере идентификации фонем по различительным признакам.

Так, выделение признака глухости — звонкости, допустим, на основе оппозиции *t — d* никак не предопределяет результата идентификации русской фонемы *c*. Точно так же, как в данном случае возможна трактовка этого признака как релевантного для фонемы *c*, исходя из того, что этот признак фонологически релевантен для системы в целом, т. е. хотя бы для пары ее членов, и физически (артикулярно-акустически) приемлем для *c*, — точно так же в ленинградской интерпретации одна фонема (в иной терминологии «слабая») отождествляется с другой («сильной»), фонологически значимой в системе, на основании физического сходства. Совершенно иной принцип идентификации в московской школе. Иначе говоря, одно дело установление инвентаря фонем (здесь отличия московской и ленинградской школ не столь велики) и совсем другое дело — определение фонемного состава реальных морфем, или, точнее, отождествление каждой конкретной единицы морфемы с уже известными фонемами. Именно в этом втором кроется коренное различие московской и ленинградской теории, во всяком случае с точки зрения морфонологии.

Если в морфеме *пруд-* последнюю фонему отождествить с *t*, как сделали бы ленинградцы, то придется, анализируя фонемный состав этой морфемы в других словоформах (род. падеж *пруда* и т. д.), признать в ней чередование *t ~ d*, зависимое от окружения. Если же в духе московской теории идентифицировать последнюю фонему как звонкую *d*, то, строго говоря, ни о каком чередовании фонем не может быть речи.

Разумеется, что общая фонологическая позиция исследователя скрывается и на принимаемых им частных морфонологических решениях. Так, признание *i* и *y* в русском языке одной фонемой неизбежно влечет за собой признание непозиционного чередования твердых и мягких согласных перед этой фонемой, тогда как противоположная трактовка — т. е. признание за каждым из звуков фонологической самостоятельности — приводит к интерпретации этого чередования как в полной мере обусловленного позиционно.

Таким образом, приверженность к московской трактовке фонемы не позволяет признать позиционные чередования особым разделом, отторжимым от фонологии, поскольку сама фонологическая концепция исходит из морфемы и всего ряда ее позиционных вариантов (не говоря уже о той ее версии, в которой формулируется понятие фонемного ряда). Тем более очевидна недопустимость в рамках московской теории понятия «морфофона», которое по существу уже содержится в понятии фонемы. Напротив, ленинградская теория не должна, по-видимому, исключать возможности признания морфофоны как обобщения позиционно чередующихся в составе морфемы фонем. Что же касается чередования, то это понятие прямо вытекает из ленинградской концепции.

Если говорить о морфонологии в полном объеме ее задач, как они были определены Н. С. Трубецким, то исключение из нее позиционно-обусловленных чередований никак нельзя считать оправданным. Фонологически обусловленные чередования представляют собой только частный случай претерпеваемых морфемой фонемных модификаций, отличающийся от других случаев лишь большей степенью обусловленности.

Предпосылкой всякого морфонологического описания должно быть полное представление о всех вариациях фонемного состава каждой морфемы. Однако практически невозможно оперировать полными рядами альтернантов, манифестирующими вариативность каждой морфемы — это было бы крайне неэкономно, учитывая многократную повторяемость отдельных звеньев в разных рядах. Поэтому, как правило, морфонолог имеет дело с минимальными повторяющимися в индивидуальных рядах звеньями, чаще всего парами фонем, которые и называются чередованиями.

Выделение чередований даже внутри одного ряда сопряжено с известными трудностями, в том числе и теоретического порядка. Так, если в парадигме существительного *вода* можно выделить ряд чередующихся элементов d, d', t , то, вообще говоря, не очевидно, что элементарными чередованиями должны быть признаны $d \sim d'$ и $d \sim t$, но не $d' \sim t$. Точно так же, анализируя парадигму глагола *спать*, обнаруживаем ряд p (*спать*, *спал* и т. д.), p' (*спят*, *спит* и т. д.), и pl' (*сплю*). Однако элементарными чередованиями могут быть признаны как $p \sim p'$ (*спал* — *спят*) и $p \sim pl'$ (*спать* — *сплю*), так и $p' \sim pl'$ (*спят* — *сплю*), и это зависит от морфологических отношений соответствующих словоформ, к которым принадлежат чередующиеся элементы.

Другая трудность связана с необходимостью отождествления элементарных чередований, принадлежащих разным морфемам. В самом деле, можно ли отождествить чередование $g \sim \check{z}$, наблюдаемое в парадигме глагола *беречь* (*берегú* — *бережéшь*), с тем же чередованием в словообразовательном ряду *берегú* — *бэрежнýй*, т. е. чередованием, относящимся к той же морфеме, но в составе иной «парадигмы»? С другой стороны, можно ли отождествить это чередование с чередованием в парадигме *стерегú* — *стережéшь*, т. е. в иной морфеме, но идентичной парадигме? Наконец, можно ли отождествить чередование в *берегú* — *бережéшь* с чередованием $g \sim \check{z}$, принадлежащим совсем другой морфеме и совсем иной парадигме: *бэрег* — *бережбк* или *доробúй* — *дорбже*?

Почему важно руководствоваться некоторыми принципами отождествления чередований? Дело в том, что одно и то же чередование может иметь в разных категориях случаев разные условия и, следовательно, будет описано разными морфонологическими правилами. Например, в болгарском языке чередование гласного \check{z} с нулем различно по своему характеру в словоформах существительного и прилагательного. Если у прилагательных (речь идет о формах мужского рода) появление гласного обусловлено концом слова, а во всех остальных случаях представлен нуль, то у существительных вокалическая ступень может появляться и в неконечном положении, например в членной форме: *вятър* — *вятърът*, *вятэра* — *ветрове*.

В таком случае, естественно, встает вопрос о том, что следует считать одним чередованием. Было бы неэкономно считать такой единицей элементарное чередование, наблюдаемое в одной какой-то морфеме. С другой стороны, невозможно признать единицей чередование одних и тех же альтернантов в разных морфемах независимо от условий. По-видимому, одним чередованием разумно считать такие пары чередующихся элементов, тождественные в разных морфемах, которые имеют одинаковые условия и описываются одинаковыми правилами.

Следовательно, в морфонологии должны быть сформулированы, во-первых, принципы выделения элементарных чередований, принадлежащих индивидуальным морфемам, а во-вторых, принципы отождествления элементарных чередований разных морфем, характеризующихся тождественными условиями.

Однако выполнение этой задачи опирается в неопределенность самого понятия условия и обусловленности чередования. В общем виде под условиями чередования должны пониматься признаки (как фонологические, так и морфологические, и даже иногда стилистические) тех словоформ, в которых фигурирует каждый альтернант. Следовательно, по существу речь должна идти не об условиях чередования как такового, а скорее об условиях функционирования каждого члена чередования. То же самое можно сказать об обусловленности чередования, т. е. о его детерминированности одним или несколькими признаками (условиями). Обусловленность характеризует не чередование в целом, а каждый его член в отдельности. При этом альтернант следует считать автоматически обусловленным некоторыми признаками словоформы, если противопоставленный ему альтернант невозможен в словоформе с теми же признаками. Так, в случае чередования звонкого и глухого согласного в парадигме слова *пруд* глухой согласный следует считать автоматически обусловленным следующей паузой, поскольку этот признак (условие) исключает возможность появления чередующегося с ним звонкого согласного. Но звонкий согласный не будет иметь фонологической обусловленности, поскольку в той же позиции возможен и глухой согласный. То же самое можно наблюдать и в случае морфологической обусловленности: в чередовании $g \sim \dot{z}$ (*берегъ — бережѣшь*) альтернант \dot{z} обусловлен грамматической формой 2-го лица ед. числа наст. времени (то, что он не обусловлен фонологически, очевидно), где g невозможно, тогда как альтернант g вовсе не обусловлен морфологическими признаками своей словоформы, ср. *бережѣ* (от *берѣдѣть*).

Фонологическая обусловленность — это высшая степень обусловленности, поскольку она распространяется абсолютно на все реальные словоформы с общим признаком и не допускает исключений. Возможны и менее сильные степени обусловленности. Неабсолютная обусловленность, которую можно назвать морфофонологической, отличается от фонологической тем, что она ограничена определенными морфофонологическими категориями. В качестве примера можно привести чередование твердых и мягких согласных перед i в польском языке, но не перед всяким i (это было бы фонологической обусловленностью), а только перед i -флексией им. падежа мн. числа в лично-мужских формах. В пределах этой категории обусловленность позицией абсолютна.

Поскольку морфонологию интересуют именно условия чередований, служащие основанием для их систематизации, и поскольку эти условия различны для каждого члена чередования, то трактовка чередования как корреляции равноправных альтернантов, каждый из которых имеет собственную обусловленность, оказывается весьма неудобной для морфонологического описания. Более приемлемой следует считать трактовку чередования как отношения с фиксированным направлением. Между членами чередования и соответственно между вариантами морфемы признаются в таком случае отношения производности, причем характер такого направленного чередования определяется условиями производного члена. К такому пониманию чередования близки морфофонологические концепции ряда американских авторов, в исследованиях которых морфонология строится как система правил, применяемых к корпусу морфем языка, взятых в их исходной форме и позволяющих получить в результате все прочие варианты каждой морфемы⁴. Очевидно, что понятие направления

⁴ Позиция американских авторов в этом вопросе непосредственно определяется общим дескриптивным или порождающим подходом к описанию языка. См., например: A. M. S c h e n k e r, *Polish declension. A descriptive analysis*, The Hague, 1964; H. J. A g o n s o n, *Bulgarian inflectional morphophonology*, The Hague — Paris, 1968.

является всего лишь логическим продолжением понятия исходной формы, а правила выбора исходной формы могут служить одновременно критерием для выбора направления.

Следует сказать, что и в работах, восходящих к другим лингвистическим традициям, предлагаемые морфонологические правила всегда односторонни, т. е. ориентированы на одно определенное направление, хотя в них мы не найдем эксплицитно выраженных понятий исходной формы или направления. О том, что имплицитно представление о направлении чередования всегда присутствует, свидетельствуют квалификации конкретных чередований как позиционных, хотя эта квалификация неверна для того же чередования с противоположным направлением. Например, чередование согласных по глухости — звонкости всегда рассматривается как типичный пример позиционного. Однако это верно только при том условии, что исходной избирается форма с согласным в позиции перед гласным. Так, в двух словоформах польского существительного *bodziec* — *bodźca* чередование $\dot{z} \sim \acute{c}$ можно признать автоматически обусловленным фонологической позицией только при направлении $\dot{z} \rightarrow \acute{c}$ (перед следующим *c* звонкий согласный невозможен). Противоположное направление $\acute{c} \rightarrow \dot{z}$ придает этому чередованию характер не обусловленного, поскольку [bośec] фонологически так же допустимо, как и [boźec].

Если имплицитно понятие направления используется в морфонологических описаниях, то, естественно, должны существовать и какие-то подразумеваемые правила или критерии выбора направления применительно к каждому элементарному чередованию и к чередованию в более общем смысле.

Чаще всего выбор направления (или, что то же самое, — исходной формы морфемы) ставится в зависимость от внешних по отношению к морфонологии соображений. Так, при описании морфонологии словоизменения исследователи нередко считают исходным тот вид основы, который представлен в словарной словоформе, т. е. для существительных — в им. падеже ед. числа, для глаголов — в инфинитиве и т. д. Однако с морфонологической точки зрения такое решение не всегда будет оправданным. В самом деле, если таким образом избирается исходная форма для русских существительных, в основе которых чередуется гласный с нулем, то ориентация на словарную словоформу приводит к разной характеристике этого чередования в случае существительного женского и среднего рода, с одной стороны, и существительных мужского рода — с другой. Для первых исходной формой будет словоформа с нулевой ступенью, следовательно чередование будет направлено от нуля к гласному, тогда как исходная форма вторых (т. е. существительных мужского рода) будет содержать гласный, а чередование примет противоположное направление. Очевидно, что такая двойственная интерпретация одного и того же чередования с абсолютно тождественными условиями появления каждого из членов в морфонологическом отношении несостоятельна. В ряде случаев выбор словарной словоформы в качестве исходной дает менее удовлетворительный результат, чем иное решение, даже при анализе элементарного чередования, характерного для одной морфемы. Например, исходная основа им. падежа польского существительного *gołęb* требует установления чередования $b \rightarrow b'$ (род. падеж *gołębia*), которое является морфонологическим, т. е. не обусловленным фонологической позицией. В то же время основа косвенных падежей *gołęb'* с мягким губным, избранная в качестве исходной, давала бы автоматическое, фонологически обусловленное чередование с противоположным направлением $b' \rightarrow b$, поскольку мягкие губные на конце слова в польском невозможны.

Тем не менее, несмотря на явные недостатки, такой подход имеет существенные преимущества в лексикографическом отношении, так как он позволяет использовать при морфонологическом описании словоизменения имеющиеся словари в качестве корпуса основ, тогда как в любом другом случае потребовался бы специальный словарь, где для каждой основы была бы индивидуально определена исходная форма. Правда, преимущества ориентации на обычный словарь сводятся на нет при описании морфонологии словообразования, поскольку каждая словообразовательная морфема представлена в словаре во всех своих вариантах, и, следовательно, выбор между ними неизбежен.

Другим имплицитным критерием выбора направления может быть исторический, в соответствии с которым избирается направление, совпадающее с историческими отношениями между членами чередования, которые всегда односторонни. Исторически каждый член чередования либо восходит к другому члену чередования, либо сам является источником другого, либо, наконец, оба члена восходят к некоторому третьему. В последнем случае обычно конструируется условная исходная форма, как бы «восстанавливающая» общий источник чередующихся элементов. Такова, например, роль морфонологического нуля, восстанавливающего утраченные славянские еры.

Теоретически возможны и другие критерии выбора исходной формы и направления при описании чередований, причем они тем более приемлемы, чем они «морфонологичнее». Так, при выборе исходной формы может приниматься во внимание грамматическая или словообразовательная мощность варианта, избираемого исходным (т. е. число реальных словоформ или дериватов, в составе которых выступает этот вариант), причем предпочитаться должен наиболее мощный. Выбор направления может быть поставлен в зависимость от регулярности получаемого чередования, причем в интересах экономности описания при прочих равных условиях должны предпочитаться более регулярные чередования менее регулярным.

Все эти критерии, однако, должны быть признаны вспомогательными, второстепенными. На первое место, несомненно, следует поставить критерий степени обусловленности чередования (или, точнее, — его производного члена). В соответствии с этим критерием направление должно избираться таким образом, чтобы полученное чередование оказалось в большей степени обусловлено фонологической или грамматической позицией, чем чередование с противоположным направлением. Если речь идет об индивидуальном элементарном чередовании, характеризующем, например, конкретную пару словоформ, то применение этого критерия не сопряжено с какими бы то ни было трудностями. Так, сопоставление словоформы им. падежа ед. числа *чtор* и словоформы им. падежа мн. числа *чtорi* (лично-мужская форма) обнаруживает чередование *p* твердого и *p'* мягкого. Поскольку твердость *p* на конце слова фонологически обусловлена, тогда как мягкое *p'* перед *i* не обусловлено (ср. *спор* — *спорy*), если, конечно, не считать *i* и *y* разными фонемами, то в соответствии с нашим критерием этому чередованию следует придать направление от *p'* мягкого к *p* твердому. Однако анализ других словоформ парадигмы слова *чtор* показывает, что твердое *p* может быть столь же необусловленным, как и *p'* в форме *чtорi*. Тем более возможны несовпадения условий при обобщении индивидуальных чередований, свойственных разным морфемам. Например, в односложных словах с чередованием гласного с нулем типа *день* — *дня* вокалическая ступень позиционно обусловлена перед нулевой флексией, тогда как в других, не односложных словах с таким точно чередованием полная ступень перед нулевой флексией не может

считаться обусловленной, например, в форме *pálok* (род. падеж мн. числа от *pálka*), поскольку фонологически возможно скажем, *полк*. Разумеется, с точки зрения экономии и простоты описания нежелательно расщеплять это чередование на два чередования с разными условиями и, возможно, с разными направлениями, хотя критерий обусловленности этого требует. В таких случаях неизбежны отступления либо от критерия обусловленности, либо от критерия экономии.

До сих пор об исходной форме и о направлении чередования говорилось как о взаимно определяющих понятиях. В действительности, однако, это верно только для таких элементарных чередований, которые не сопровождаются другими чередованиями в тех же вариантах морфемы, но в других позициях. В самом деле, если два варианта морфемы отличаются одновременно двумя фонемами, то характеризующие их два элементарных чередования могут требовать разных направлений. В таких случаях каждое чередование оценивается независимо от другого и для каждого в отдельности избирается направление. Например, для вариантов *r'es-* и *ps-* в парадигме польского существительного *pies* устанавливаются сначала два ненаправленных чередования: $p \sim p'$ и $e \sim \emptyset$, затем для первого из них выбирается направление от мягкого к твердому $p' \rightarrow p$, так как оно дает автоматическое чередование (перед согласными мягкие губные в польском невозможны), а противоположное направление его не дает, ср. *rewnu*, а для второго направления — от нуля к гласному, так как нуль автоматически замещается гласным в односложном слове перед нулевой флексией. Следовательно, первое чередование требует выбора варианта *r'es-* как исходного, а второе чередование исходит из варианта *ps-*. В такой противоречивой ситуации конструируется условная форма, не совпадающая ни с одним из реальных видов основы, а отражающая одновременно признаки обеих исходных форм. Следовательно, получается условный вид исходной основы $p's-$, не совпадающий ни с реальным видом *r'es-*, ни с реальным видом *ps-*, но зато переход от этого условного вида к каждому из реальных оказывается автоматическим, т. е. простейшим.

Таким образом, в морфонологическом описании не всегда возможно оперировать ненаправленными чередованиями: это в принципе возможно при установлении их грамматических функций или лексической мощностности, но невозможно при их квалификации в зависимости от условий, т. е. при их собственно морфонологической систематизации.

Л. А. ГИНДИН

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
«ПЕЛАСГСКОГО» ДОГРЕЧЕСКОГО СЛОЯ¹

С тех пор как Вл. Георгиев в начале 40-х годов выступил с гипотезой об индоевропейском характере догреческого субстрата и реконструировал так называемый «пеласгский» язык, даже среди ученых, безоговорочно признающих и развивающих упомянутую теорию, не прекращаются споры вокруг весьма принципиального вопроса, считать ли «пеласгский» язык реликтом некоей самостоятельной ветви индоевропейских языков или целесообразнее связать его с каким-нибудь индоевропейским диалектом на уровне исторически засвидетельствованных языков. Решение этого вопроса во многом определяет выбор методики исследования, наиболее эффективной для изучения «пеласгского» догреческого слоя.

Опуская подробности, мнения по данной проблеме позволительно распределить следующим образом. А. Ван-Виндекенс, В. Мерлинген, О. Хаас, Я. Харматта и некоторые другие выступают за особый язык². Взгляды самого Вл. Георгиева не составляют единства: в более ранних своих работах он так же говорит об особом языке, включая его вместе с хеттским и лувийским в южноиндоевропейскую группу и рассматривая фракийский и иллирийский в качестве переходного звена между северной и южной зоной индоевропейских языков³. В книге же «Исследования по сравнительно-историческому языкознанию» (М., 1958, стр. 281) Вл. Георгиев постулирует фракийско-пеласго-термилскую переходную подгруппу, говоря при этом, что, «по всей вероятности фракийский и пеласгский — это два варианта одного и того же фракийско-пеласгского языка». Однако в одной из относительно недавних своих работ⁴ «пеласгский» — снова особый язык, занимающий промежуточное «положение между фракийским и хетто-лувийским, хотя и очень близкий к последнему, но не идентичный ему». Вслед за Вл. Георгиевым мысли о близком родстве «пеласгского»

¹ Настоящая статья представляет собой расширенный и переработанный вариант французского текста доклада, прочитанного автором на Международном симпозиуме по этногенезу балканских народов, проходившем в Пловдиве с 23 по 29 апреля 1969 г.

² См.: А. J. Van Windekens, *Le pélasgique*, Louvain, 1952, стр. 151 и сл., и др. работы; W. Merlingen, *Das «Vorgriechische» und die sprachwissenschaftlich-vorhistorischen Grundlagen*, Wien, 1955, стр. 41 и сл.; O. Haas, *Die Lehre von den indogermanischen Substraten in Griechenland*, «Балканско езикознание», I, 1959, стр. 29 и сл.; J. Harmatta, *Das Pelasgische und die alten Balkansprachen*, там же, IX, 1, 1964, стр. 41 и сл.

³ См., например: Вл. Георгиев, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, I, Sofia, 1941, стр. 154; ср.: В. И. Георгиев, Проблема возникновения индоевропейских языков, ВЯ, 1956, 1, стр. 66, где указывается, что фракийский наряду с греческим и индоиранским образуют центральную подгруппу центрально-индоевропейской группы языков.

⁴ Вл. Георгиев, *Les deux langues des inscriptions crétoises en linéaire A*, Sofia, 1963, стр. 5.

языка с анатолийскими неоднократно высказывал А. Карнуа⁵; в предисловии к последней своей монографии покойный автор предпочел, впрочем, серьезно не аргументируя это, назвать язык догреческого субстрата фрако-пеласгским⁶. Наконец, А. Хойбеку после новой ревизии фактов весь догреческий слой, включая «пеласгский», без достаточных оснований представляется анатолийским, или, в его терминологии, «западнохетским»⁷.

В свете столь различных взглядов возникает необходимость еще раз сосредоточить внимание на отношении «пеласгского» к другим реликтовым языкам Балканского п-ова, в данном случае к фракийскому, и провести сравнение по всем возможным при современном уровне наших знаний об указанных языках координатам. Почему в качестве второго члена сравнения избран именно фракийский, выяснится по мере изложения. И последнее предваряющее замечание: под «пеласгским» здесь понимается один из компонентов гетерогенного догреческого субстрата, который остается за вычетом элементов анатолийского происхождения⁸.

1. Данные формантного анализа. Значение формантного анализа топонимии с последующим картографированием, с нашей точки зрения, заключается в том, что географическая дистрибуция топонимических словообразовательных элементов очерчивает районы, в пределах которых в первую очередь следует искать материал для исследования во всех прочих аспектах. Среди догреческих суффиксальных элементов лишь *-vθ-* (элемент *-θ-* редок) за небольшим исключением однозначно свидетельствует о «пеласгском» происхождении топонимических и апеллативных лексем, так как только в языке с передвижением согласных, какими были «пеласгский» и фракийский, возможна эволюция и.е. **-nt-* в *-nth-* (греч. передача *-vθ-*). Топонимический (и антропонимический) ареал *-vθ-* включает территорию собственно Греции с прилегающими островами Эгейского моря, Фракию, частично Македонию. Эпицентр распространения *vθ-* образований правомерно постулировать в центрально-восточных районах Балканского п-ова, т. е. в ареале фракийских племен, хотя бы потому, что фракийцы, у которых ономастика с *-vθ-* столь же «исконна», как и у «пеласгов», в период, доступный более или менее конкретному исследованию, уже населяли восточные Балканы, о чем с особой доказательностью свидетельствуют известные гидронимические факты, поэтому движение с юга на север (из Греции во Фракию) для носителей языка с элементом *-vθ-* исключено⁹. Все это при практически полном отсутствии на Балканском п-ове ономастики на *-nd-* (греч. передача *-vδ-*), столь характерной для малоазийского (анатолийского) ареала.

2. Сопоставление фонетических систем «пеласгского» и фракийского (основные черты).

⁵ A. Carnou, Dictionnaire étymologique du proto-indoeuropéen, Louvain, 1955, стр. VIII, и др. работы.

⁶ A. Carnou, Dictionnaire étymologique des noms grecs des plantes, Louvain, 1959, стр. VII.

⁷ А. Нейбек, Praegræca, Erlangen, 1961; критическое изложение гипотезы Хойбека см. в кн.: Л. А. Гидиш, Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова, М., 1967, стр. 35—40; там же, стр. 30—35, рассматриваются взгляды его предшественников — Л. Палмера, Дж. Мелларта и Дж. Хаксли.

⁸ Об анатолийском слое в догреческом индоевропейском субстрате см. указанную монографию автора (особенно гл. 4, раздел Б).

⁹ Более того, есть все основания предполагать, что движение фракийских племен осуществлялось от предгорий Карпат в области южнее Дуная (В. Томашек, П. Кречмер и др.).

И.-е.	«Пеласг.»	Фрак.
o	ā	a
ō	ō	o, позже u > ū > i
ā	ā	} ā ¹⁰
ā	ā	
ē	ē	} ā ¹⁰ с возможной ¹⁰ преютацией
ē	ē	
ŋ	un (on)	un (on)
ŋ	um (om)	um (om)
ɾ	ur (or)	ur (or)
ɾ	ul (ol)	ul (ol)
p, t, k	ph, th, kh,	ph, th, kh ¹¹
b, d, g	p, t, k	p, t, k ¹²
bh, dh, gh	b, d, g	b, d, g
k̂, ġ, ġh	s, (ʃ), z (d), d	s, (ʃ), z (d), d ¹³
k ^w , g ^w , gh ^w	kh, k, g	kh, k, g
s-, -s-	s-, -s-	s-, -s-
sw	s-	s-

Итак, наблюдается почти полная тождественность фонетических систем. Обращает на себя внимание совпадение в таких важнейших для индоевропейской диалектологии чертах, как судьба *ō*, трактовка сонантов, передвижение согласных и ассимиляция палатальных. Фиксируя отдельные фонетические различия между «пеласгским» и фракийским, необходимо помнить, что эволюция «пеласгского» приостановилась на рубеже II тысячелетия до н. э., а фракийский в той или иной форме существовал вплоть до VI века н. э.

Специальный интерес вызывает передвижение согласных, которое сблизжает по этой линии «пеласгский» и фракийский с германским, армянским, фригийским и хетто-лувийским (в последних двух, в хетто-лувийском более очевидно, предполагается, если не передвижение в полном смысле, то сильные тенденции к этому¹⁴).

Примечательно, что указанные языки, кроме германского, в той или иной степени, причастны к балканскому языковому кругу. Действительно, многие считают армянский язык близко родственным фригийскому¹⁵,

¹⁰ Ср.: K. V l a h o v, Die Vertretung der indo-europäischen ā und ē im Thrakischen», Годишник на Софийския ун-т», филол. фак-т, LX, 1966, стр. 45 и сл.

¹¹ Видимо, придыхание глухих аспират осуществлялось во фракийском с меньшей силой, чем в греческом, откуда их передача, то посредством φ, θ, χ, ph, th, kh, то с помощью λ, τ, κ, p, t, c.

¹² В некоторых случаях и.-е. неаспирированные звонкие оставались без изменения (согласно Дечеву, под влиянием соотносимых греческих имен).

¹³ Имеются также случаи неспирантизированного палатального.

¹⁴ О передвижении во фригийском см.: В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкованию, М., 1958, стр. 140 и сл.; О. Н а а s, Die phrygischen Sprachdenkmäler, Sofia, 1966, стр. 209 и сл., и др. более ранние работы (против: R. G u s m a n i, Il frigio e le altre lingue indoeuropee, «Rendiconti dell'Institutito lombardo di scienze e lettere», 93, 1, 1959, стр. 20; о передвижении в хеттском см.: Т. В. Г а м к р е л и д з е, Передвижение согласных в хеттском (неситском) языке, «Переднеазиатский сборник», М., 1961, стр. 211 и сл.; ср.: Н. К r o n a s s e r, Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen, Heidelberg, 1956, стр. 58; А. Н е u b e s k, указ. соч., стр. 21 и сл.

¹⁵ Из послевоенной литературы см.: G. B o n f a n t e, Armenians and Phrygians, «Armenian quarterly», I, 1, 1946, стр. 82 и сл.; В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкованию, стр. 138 и сл.; его же, Передвижение смычных согласных в армянском языке и вопросы этногенеза армян, ВЯ, 1960, 5, стр. 35 и сл.; краткое изложение истории вопроса, включая более старую литературу см.: G. R. S o l t a, Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen, Wien, 1960, стр. 461 (при общем скептическом отношении автора к армяно-фригийской близости); А. K a m m e n h u b e r, Zur Stellung des Hethitisch-Luvischen innerhalb der indogermanischen Gemeinsprache, KZ, 77, 1—2, 1961, стр. 39 и при-

либо ищут прародину армян на Балканах вблизи протофригийского ареала¹⁶. Второе мнение кажется нам предпочтительнее, поскольку специфические армяно-фригийские соответствия слишком малочислены¹⁷, хотя известные свидетельства древних — Геродота (VII, 73) Ἀρμένιοι Φρυγῶν ἀποικοι и Евдокса Книдского: Ἀρμένιοι δὲ τὸ μὲν γένος ἐκ Φρυγίας καὶ τῇ φωνῇ πολλὰ φρυγίζουσι¹⁸ — говорят как будто в пользу первого предположения. Именно ареальный характер близости фригийского и армянского косвенно подтверждается не вызывающей сомнения реконструкцией греко-арийско-армянской пространственной общности, располагавшейся, по всей видимости, на обширной территории, охватывающей центрально-восточные области Балканского п-ова и степные районы северного Причерноморья. К этой общности по ряду черт, например, наличию аугмента, указывающему, помимо того, на сравнительно позднее ее образование¹⁹, можно присоединить и фригийский²⁰. *Terminus post quem* данной ареальной совокупности окажется в таком случае изоглосса *r-medio-passivi* 3-го лица ед. и мн. чисел, реализовавшаяся во фригийском уже после отделения греческого, арийского и армянского от основного ядра индоевропейских диалектов. Что же касается хетто-лувийцев, то с самого начала распространившаяся мысль о их пребывании в преданатолийскую эпоху на северо-востоке Балканского п-ова, либо на территории сопредельной указанному району, еще никем не опровергнута сколько-нибудь существенным образом²¹. Более того, этот тезис, выте-

меч. 4; ср.: И. М. Дьяконов, *Предыстория армянского народа*, Ереван, 1968, стр. 204 и сл., и др.

¹⁶ O. N a a s, *Armenier und Phryger*, «Балканское языковедение», III, 2, 1961, стр. 29 и сл., и др. работы; Г. Б. Д ж а у к я н, *Очерки по истории дописьменного периода армянского языка*, Ереван, 1967, стр. 30 и сл.; е г о ж е, *Армянский и древние индоевропейские языки*, Ереван, 1970, стр. 171 и сл. (резюме на русск. яз.); В. П о р ц и г, *Членение индоевропейской общности*, М., 1964, стр. 227; ср.: R. G u s t a n i, указ. соч., стр. 45 и сл.

¹⁷ Впрочем на фоне крайней скудости фригийского апеллятивного материала вряд ли правомерно придавать первостепенное значение единичности эксклизивных фригийско-армянских соответствий (см. об этом нашу рецензию на указанную книгу Зольты в сб. «Этимология. 1964», М., 1965, стр. 364). В этом связи знаменательна позиция Порцига, с одной стороны, признающего ареальное соседство фригийского и армянского, с другой, отдающего себе отчет в том, что «мы уже не в состоянии выяснить связи между фригийским и армянским языками, на которые, по-видимому, содержит намек замечание Геродота» (В. П о р ц и г, указ. соч., стр. 230; немецкое издание, стр. 155).

¹⁸ Извлечение из Стефана Византийского s. v. Ἀρμένια.

¹⁹ См.: И. М. Т р о н с к и й, *Общенидоевропейское языковое состояние*, JL, 1967, стр. 93 и сл.; Э. А. М а к а е в, *Арханзиды и иновации в ведлическом*, «Языки Индии, Пакистана, Непала и Цейлона. Материалы научной конференции 18–20 января 1965 г.», М., 1968, стр. 394; ср.: В. П о р ц и г, указ. соч., стр. 133.

²⁰ Ср.: В. П о р ц и г, указ. соч., стр. 133; Э. Б е н в е н и с т, *Тохарский и индоевропейский*, сб. «Тохарские языки», М., 1959, стр. 105 и сл.

²¹ О возможном пребывании хетто-лувийцев на севере Балканского п-ова в послевоенной литературе см.: А. В. Д е с н и ц к а я, *Вступительная статья к переводу кн.: И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка*, М., 1952, стр. 14 и сл. (с краткой характеристикой проблемы в целом); J. H a g n a t t a, указ. соч., стр. 42 и сл.; И. М. Дьяконов, указ. соч., стр. 25 и подробнее примеч. 35; из видных археологов за пребывание лувийцев (не хеттов) в центрально- и северо-восточных областях Балкан до середины III тысячелетия несколько лет назад в ряде работ высказался Дж. Мелларт (см.: J. M e l l a r t, *The end of the early bronze age in Anatolia and the Aegean*, «American journal of archaeology», 62, 1, 1958, стр. 9 и сл.; е г о ж е, *Anatolia and the Balkans*, «Antiquity», XXXIV, 136, 1960, стр. 270 и сл. (значительно конкретнее, чем в предыдущей работе, и вопреки своему докладу на упомянутом симпозиуме в Пловдиве, о котором вместе с другими археологическими докладами, устанавливающими связи в материальной культуре Балкан и Анатолии см. информация автора, ВЯ, 1970, 2, стр. 140. Здесь намеренно оставлен в стороне пока еще недостаточно ясный для нас самих вопрос о путях переселения хетто-лувийцев в Анатолию; отметим лишь, что предположенный выше хетто-лувийский ареал в преданатолийский период допускает

кающий главным образом из промежуточного положения хеттского в аспекте ареальной дистрибуции индоевропейских диалектов, выразившемся в существовании, преимущественно в области словаря, наряду с изоглоссами, явно объединяющими хеттский с языками восточной индоевропейской зоны²², изоглосс, сближающих хеттский с западноиндоевропейскими языками (италийскими и германскими)²³ — может быть, видимо, подкреплен новыми данными из разряда обычной лексики и особенно важными при реконструкции реальной этнолингвистической географии ономастическими фактами, включая балкано-хетто-лувийский материал, чему мы намерены посвятить специальную работу²⁴.

Таким образом, «пеласгский» и фракийский разделяют с армянским, фригийским и хеттским в качестве одной из самых характерных черт тенденцию к передвижению согласных, принявшую в армянском и, возможно, фракийском с течением времени форму закономерности²⁵. В то же время по другим существенным фонетическим параметрам упомянутые языки расходятся (в разной степени) с «пеласгским» и фракийским, в частности: армянский — трактовка *ǝ* и сонантов; фригийский — трактовка сонантов, ассимиляция палатальных наряду с выявлением веларного на их месте в целом ряде лексем; хетто-лувийский — трактовка сонантов, наличие лабиовеларных²⁶. Изложенное, как кажется, включает достаточно отправных точек, чтобы постулировать в центрально- и северо-восточных областях Балканского п-ова з о н у я з ы к о в с передвижением согласных, составлявших, по-видимому, своего рода древнейший балканский языковой союз²⁷.

а priori как движение через Кавказ, так и через Балканы (ср. точку зрения А. Камежхубер, несмотря на включение хетто-лувийского в западную индоевропейскую зону языков, признающую восточный путь переселения, см. соответствующую литературу ниже в примеч. 22; ср. еще: В. В. Иванов, Хеттский язык, М., 1963, стр. 11).

²² См. об этом, кроме известных высказываний Порцига: R. Gusmani, *Il lessico ittita, Napoli, 1968* (с литературой); о принадлежности хетто-лувийского к западной диалектной индоевропейской зоне, видимо, менее убедительно см.: A. Kammenhuber, *Zur Stellung des Hethitisch-Luvischen...*; е е же, *Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch*, в кн.: «Handbuch der Orientalistik», II, 2; *Altkleinasatische Sprachen*, Leiden, 1969 (особенно § 56).

²³ (Специально связи хеттского с указанными западноевропейскими языками акцентируются в работах: P. Franzonoli, *Contributo alla definizione dialettale dell'ittita, «Atti e memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria», XXII, Firenze, 1958*; ср.: е го же, *L'antefatto indoeuropeo nella formazione della civiltà ittita, «La Parola del Passato», LXVII, 1951, стр. 263 и сл.*; ср.: E. Lagroche [реп. на стр.] P. Franzonoli, *Contributo alla definizione dialettale dell'ittita, BSLP, 54, 2, 1959, стр. 84*; I. Sordani, *L'ittita e le lingue ie. occidentali, «Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere», 93, 1, 1959, стр. 203 и сл.*

²⁴ Ср. сообщение автора на Пловдивском симпозиуме «Фрако-малоазийские лексико-ономастические отяжения», о котором см. указанную в примеч. 21 информацию (стр. 140).

²⁵ Наличие смычных дублетов, например, *λύθης : χήνος* «лебедь» и пр., как отражение тенденции, но не строгой закономерности к передвижению согласных в «пеласгском», привело Ван-Виндекенса даже к мысли о двух пеласгских диалектах: один с передвижением согласных, другой — без передвижения. (A. J. Van Windekens, *Phonétique des mots grecs d'origine préhellénique, «Phonetica», 3, 4, 1959, стр. 214*; е го же, *Etudes pélasgiques, Louvain, 1960, стр. 6 и сл.*, и др.). А. Хойбек видит в этом явлении попросту безразличие к артикуляции индоевропейских смычных, якобы свойственных догреческому и хеттскому (A. Heubeck, указ. соч.).

²⁶ Ср. интересную сопоставительную таблицу фонетических и некоторых морфологических черт армянского и древнейших языков Балканского п-ова и Малой Азии в кн.: Г. Б. Джаякуян, *Армянский и древние индоевропейские языки*, стр. 173.

²⁷ Ср.: O. Haks, *Die Lehre von den indogermanischen Substraten in Griechenland*, стр. 43 и сл.; е го же, *Armenien und Phryger*, стр. 35; см. также о койне (resp. языковом союзе), включавшем фракийский, фригийский, македонский и армянский в указанной статье P. Gusmani (стр. 44 и сл. и др.).

Второй столь же специфической особенностью, придающей данной зоне еще одну черту «переходности», следует признать ассимиляцию индоевропейских палатальных, проявившуюся в упомянутых языках в разной степени, поскольку в них сохранились, также в различной пропорции, лексемы с кентумной характеристикой; такое положение вещей обуславливается, по-видимому, тем, что в очерченном ареале пролегли периферические рубежи изоглоссы *satəm*, распространявшейся из эпицентра, располагавшегося в арийских языках²⁸. Затронутый вопрос требует особого рассмотрения, в котором нет возможности здесь углубляться. Позволим себе лишь остановиться на сатемных рефлексах палатальных с большей долей правдоподобия обнаруживаемых в хетто-лувийских языках²⁹, так как это имеет, по нашему мнению, самое непосредственное касательство к относительной и в определенном приближении абсолютной датировке пребывания хеттов на северо-востоке Балкан или сопредельных районах к северо-востоку.

Хетто-лувийские памятники сохранили несколько слов, в которых в позиции перед и индоевропейские заднеязычные палатальные — практически речь пока может идти только об и.-е. **k̄* — проявляются в качестве свистящих фонем. К таким случаям были отнесены более или менее твердо прежде всего три лексемы из иероглифических текстов, на языке, близком к лувийскому клинописному, это: *āšwa-* «лошадь» <и.-е. **ek̄wo-*, ср. др.-инд. *āśva-*, лат. *equus* и пр.; *šūwan-* «собака» <и.-е. **k̄iwo-*, ср. др.-инд. *ś(u)vā*, греч. *κῶν* и пр.; *šurna-* «рог» <и.-е. **k̄rno-*, ср. др.-инд. *śr̥ṅga-*, гот. *haur̥n* и пр.³⁰. Мысль о заимствовании перечисленных слов от переднеазиатских арийцев следует отбросить, уже потому, что из арийского (точнее индо-арийского) в хеттский проникли через хурритское посредство, кроме отдельных богов единичные термины узко профессиональной лексики, связанной с практикой коневодства; их засви-

²⁸ О возникновении перехода старых палатальных в щелевые (сибиланты и шипящие) в иранских языках с дальнейшей иррадиацией за пределы арийского ареала в после индоевропейский период, когда уже произошло обособление отдельных языков см.: V. P i s a n i, *Studi sulla preistoria delle lingue indeuropee*, Roma, 1933, стр. 551 и сл., особенно стр. 564 и сл.; е г о ж е, *La ricostruzione dell'indeuropeo e del suo sistema fonetico*, «Archivio glottologico italiano», XLVI, 1, 1961, стр. 16 и сл.; В. П о р ц и г, указ. соч., стр. 112 и сл.; 116 и сл.; вслед за ним: А. К а м м е н h u b e r, *Zur Stellung des Hethitisch-Luwischen...*, стр. 38; Ср.: В я ч. В. И в а н о в, Проблема языков *centum* и *satəm*, ВЯ, 1958, 4, стр. 15.

²⁹ Специально об этом с подробной литературой и квалификацией анатолийских языков в качестве южного продолжения «обширной группы индоевропейских диалектов, являющихся переходными между языками *centum* и теми диалектами типа *satəm*, которые осуществили ассимиляцию палатальных», см.: В я ч. В. И в а н о в, Проблема языков *centum* и *satəm*, стр. 18 и сл.; е г о ж е, Хеттский язык, М., 1963, стр. 90 и сл.; см. также монографическую статью с привлечением дополнительных фактов, иллюстрирующих сатемные рефлексы в хетто-лувийских языках раннего и позднего периода: R. G u s m a n i, *Forme «satem» in Asia Minore*, сб.: «*Studia classica et orientalia Antonino Pagliano oblata*», II, Roma, 1969, стр. 281—332; ср.: G. R. S o l t a, *Palatalisierung und Labialisierung*, IF, 70, 3, 1965, стр. 279, 314, примеч. 170.

³⁰ Сибилантное чтение слогового знака, транслитерированного здесь в соответствии с системой Гельба через *š*, предложено последним в кн.: I. J. G e l b, *Hittite Hieroglyphs*, III, Chicago, 1942, стр. 19 и сл.; против гипотезы Гельба — Бонфанте (I. J. G e l b, указ. соч.; G. B o n f a n t e, I. J. G e l b, *The Position of «Hieroglyphic Hittite» among Indo-European Languages*, «*Journal of the American oriental society*», 64, 4, 1944, стр. 175 и сл.), причисливших на основании выше приведенных фактов и некоторых других язык хеттских иероглифов к группе *satəm*, см.: А. G o e t z e, [реф. на кн.]: J. Friedrich, *Hethitisches Wörterbuch*, «*Language*», 30, 3, 1954, стр. 405, где предлагается объяснение ассимиляции и.-е. **k̄* действием комбинаторных факторов в позиции перед и; ср.: е г о ж е, *Hittite and the Indo-European languages*, JAOS, 65, 1, 1945, стр. 51 и сл.; ср. также близкую интерпретацию данных фактов в кн.: А. К а м м е n h u b e r, *Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch*, стр. 341.

детельствование ограничивается как будто трактатом Киккули, в котором между прочим лошадь обозначается обычно шумерской идеограммой ANSE. KUR. RA и реже хурр. *išši(ja)*³¹.

В свою очередь в хеттском клинописном также предполагается на фоне общего кентумного фонематического облика три словоформы, содержащие перед *u* переднеязычный спирант, развившийся из индоевропейского палатального **k̂*, как то: *šūya-* «наполнять(ся)», лув. кл. *šūya-*, лув. иер. *šūwa-* то же³², ср. др.-инд. *śváyati* «быть или становиться большим, мощным, сильным», *śávas-* «сила», греч. *κός* «утробный плод, зародыш», *κόςω* «быть или становиться беременной» и пр. (и.-е. *kuu-eje-*); *šurpi-* «чистый, святой», ср. др.-инд. *śubha-* «блеск, красота», *śubhrá-* «блестящий, красивый, светлый», и пр. (и.-е. *kubh-*); *šup(p)ala-* «стадо животных, скот», его первая часть *šu-* через реконструируемую форму **pšu* сопоставляется (А. Гетце) с авест. *fšū-* (в словениях) — нулевой ступенью от и.-е. **preku-*, авест. *pasu-*, лат. *pecus* «скот»³³. При этом последняя этимология производит впечатление искусственности и отвергается большинством ученых³⁴.

Заманчивые попытки найти в хеттском клинописном слова, в которых бы заднеязычный палатальный давал переднеязычный спирант в позиции не перед *u*, пока еще нельзя признать удачным³⁵.

Не исключено, что действие изогlossы *satəm*, достигшей хетто-лувийских языков незадолго до переселения их носителей в Анатолию, так и ограничилось, по крайней мере в хеттском клинописном, отдельными случаями в положении и.-е. *k̂* перед *u*³⁶. Об относительно позднем возникновении отмеченного явления, по-видимому, свидетельствует упоминавшееся выше в той же связи лув. иер. *šurpa-* «рог», могущее осуществить

³¹ Помимо того, например, Розенкранц при спорности точной фонетической идентификации слогового знака для свистящего *+* *u* (№ 448 по Ларошу) предлагает транскрипцию слова «рог» — *ṣu-r-nā* и соответственно слова «лошадь» *a-ṣu-ka*, где *ṣ* интердентальный спирант: А. Камменхубер также отвергает идею заимствования иер. *šūwa* из арийского (см.: А. Камменхубер, *Hippologia hethitica*, Wiesbaden, 1961, стр. 13, примеч. 45. О развитии индоевропейского наследия в данном слове наряду с иер. *šūwan-* см.: М. Маургофер, *Hethitisches und arisches Lexikon*, IF, 70, 3, 1965, стр. 256 с ссылкой на упомянутую выше работу Розенкранца; ср.: Н. Кронассер, *Etymologie der hethitischen Sprache*, 1, Wiesbaden, 1962, стр. 49, где автор по-прежнему настаивает на заимствовании всей группы слов; подробнее см.: е го же, *Zum Bildhethitischen*, AO, 25, 4, 1957, стр. 513 и сл.

³² О лувийской форме см.: Е. Лароше, *Dictionnaire de la langue louvite*, Paris, 1959, стр. 88.

³³ Все три этимологии помещены А. Гетце в цитированной выше рецензии на словарь Фридриха (стр. 403 и сл.) с объяснением перехода и.-е. **k̂* > хетт. *š* перед *u* в качестве комбинаторного изменения, аналогичного трансформации палатального в рассмотренных лувийских неоглифических словах (см. примеч. 30 настоящей работы). Одновременно и независимо от А. Гетце равнозначные этимологии хетт. кл. *šurpi-*, *šūya-*, помимо того *šaša-* (см. о нем ниже примеч. 35), даны В. Пизани тоже в рецензии на указанный словарь Фридриха («Paideia», IX, 2, стр. 128); позже эти сопоставления повторены им в статье «La ricostruzione dell'indoeuropeo...», стр. 18.

³⁴ Из новой литературы см.: R. Густани, указ. соч., стр. 313, примеч. 3.

³⁵ Для хетт. кл. *šaša-*, сопоставленного В. Пизани в указ. рец. (стр. 128) с др.-инд. *śaśá-* «заяц», нем. *Hase* то же и пр., значение «заяц» подвергается сомнению, см.: М. Маургофер, указ. соч., стр. 257, примеч. 56; е го же, *Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen*, 21, Heidelberg, 1970, стр. 316 и сл. (в обеих работах с литературой); кроме того, в любом случае это слово может оказаться заимствованным «бродячим термином», см.: R. Густани, указ. соч., стр. 314 и сл.; ср. В. Я. В. Иванов. Проблема языков centum и satem, стр. 20. Относительно неправомерности сравнения хетт. кл. *šakkar* (= *zakkar*), gen. *šaknaš* «экскременты» с др.-инд. *śákṛt*, gen. *śaknaḥ* то же и пр. см.: R. Густани, указ. соч.; М. Маургофер, указ. соч., стр. 288.

³⁶ Некоторые факты поведения заднеязычных палатальных в иных позициях, заимствованные в лувийском клинописном, Р. Густани (указ. соч., стр. 314 и сл.) пытается объяснять общим действием сатемной тенденции.

ассимиляцию палатального только после перехода [и.-е. *r > ur, ср. родственное, но с иной рефлексацией сонанта хет. кл. *kararar* (то же), где палатальный оказался в позиции не перед *u*³⁷. Вместе с тем, судя по варьированию рефлексов *r в хетто-лувийских языках обоих периодов, вокализация этого сонанта сама произошла, когда в хетто-лувийском уже наметились и начали проявляться черты диалектного дробления³⁸, что также указывает на позднюю дату появления хетто-лувийской сатемной тенденции с потенциальной возможностью неоднотипной трактовки палатальных по различным диалектам.

В плане намеченной гипотезы о сопричастии хетто-лувийских языков к балканской (resp. балтийской) «переходной» зоне существенно важным представляется наличие в хетто-лувийском словаре лексем, восходящих к индоевропейским корням, проведенным в языках данного ареала ассимиляцию палатальных нерегулярно. Имеются в виду неоднократно отмечаемые в связи с непоследовательностью трактовки задненебных палатальных: лув. иер. *šuwān-* при фрак. *Καυδάως, Καυδαίως*, эпитет Ареса из Крестоны, буквально «собакодав, душитель собак», родственный *Καυδαίωλης*, менийский эпитет Гермеса, переведенный Гиппонактом через *κυνάρχης*, фриг. **χόνες*, известном благодаря свидетельству Платона (Кратил, 410), арм. *šun* «собака», латыш. *kuņa* «сука», наряду с *suns* «собака», литов. *šuo*, гер. *šuß*, др.-прусс. *sunis* то же; лув. иер. *šurna-* при ст.-латыш. *sirna*, латыш. *stirna*, литов. *stirna*, др.-прусс. *sirwis*, слав. **sr̥na* «серна», «пеласг.» *σεργόι-ἐλαφοί* (Гесикий), но литов. *kārvė* «корова», др.-прусс. *kurwis* «бык», слав. **korva*, алб. *ka* «вол», хет. *kararar* «рог»³⁹; как уже отмечалось, ассимиляция в лувийских словах проведена перед *u*. Напротив, несмотря на последующее *u* в хет. кл. *zama(n)kur* «борода» выступает веллярный, подобно литов. *smakrà* «подбородок», алб. *mfekrë* «подбородок, борода», ср. др.-инд. *śmāśru-* «борода»⁴⁰.

Рассмотренные факты ассимиляции (resp. спирализации) индоевропейских задненебных палатальных в хетто-лувийских языках создают предпосылки для постулирования нижней хронологической границы пребывания хетто-лувийцев в предполагаемом районе (северо-восток Балкан или сопредельные территории к северо-востоку). Такой границей может служить начало распространения в балкано-балтийской языковой зоне сатемной тенденции к развитию щелевых на месте задненебных палатальных, успевшей затронуть хетто-лувийские языки лишь в незначительной степени (см. также ниже п. 5).

3. Словообразование. В дополнение к пункту 1 можно добавить лишь то, что и остальные словообразовательные элементы, вычленимые обычно в догреческом гетерогенном субстрате: -σ (σ) /-ττ-, -v-, -μ-, -λ-, -ρ- полностью идентичны фракийским ономастическим формам, о чем убедительно свидетельствует обратный словарь К. Влохана⁴¹.

³⁷ См.: В. Яч. В. Иванов, указ. соч., стр. 21, и другие авторы.

³⁸ См., например, ранне- и позднехетто-лувийские отражения и.-е. **bhergh* в кн.: А. Нейбеск, указ. соч., стр. 53 и сл.; Л. А. Гиндин, Язык древнейшего населения..., стр. 154 и сл. (с литературой). О диалектном переходе *r > ur при обычном для хеттского *r > ar см.: В. В. Иванов, Хеттский язык, стр. 90 и сл.

³⁹ Впрочем ср. мысль О. Н. Трубочева о симптоматичности распределения рефлексов *k: в названиях диких животных — s, домашних — k, в кн.: «Происхождение названий домашних животных в славянских языках» (М., 1960, стр. 41).

⁴⁰ По поводу промежуточного положения анатолийских языков в аспекте ассимиляции и.-е. палатальных с материалом см.: В. Яч. В. Иванов, Проблема *centum* и *satem*, стр. 21, и другие его работы.

⁴¹ K. Vlahov, Nachträge und Berichtigungen zu den thrakischen Sprachresten und Rückwörterbuch, «Годишник на Софийския ун-т, филол. фак-т, LVII, 2, 1963, стр. 323 и сл.

Впрочем здесь необходимо учитывать два момента: 1) омонимию словообразовательных средств различных (индоевропейских и неиндоевропейских) языков Средиземноморья, включая греческий ⁴²; 2) возможность единообразной адаптации при греческой передаче туземных ономастических лексем. Последнее отнюдь не исключает, а напротив предполагает по большей части однородность исходного материала. На фоне отмеченной омонимии совпадение фонетических систем «пеласгского» и фракийского и тождество морфемы *-vθ-* особенно показательны.

4. Лексико-ономастические связи фракийского и «пеласгского».

а. Фрак. топоним (этноним): «пеласг.» апеллатив.

Asamus ⁴³ — приток Истра в Мезии, визант. *Ἄσμος* совр. *Осъм*; castellum в устье *Anasamus, Ansamus*, *Ἀσμηα*: «пеласг.» *ἀσάμινθος* «(каменная) ванна».

Ἀσται, Astae, Astii (sing. *Asta, Astius*) — племя в области горы Странджа; *Ἀστική, Astice* — страна этого племени; *mons Asticus* — гора Странджа: «пеласг.» *ἄστω* «город».

Ἀφίνθιοι, Ἀφύνθιοι — племя севернее Фракийского Херсонеса; *Ἀφίνθος, Ἀφυνθος* — пограничная река и основная территория этого племени; *Ἀφινθίς, Ἀφυνθίς* — страна того же племени: «пеласг.» *ἀφίντιον* «попыль».

Ἰόλυνθος, Olynthus, Olynthos — город между горой Афон и п-овом Паллена: «пеласг.» *ἔλυνθος* поздняя, обычно не вызревающая фи́га.

Περίρυνθος, Πέρινθος, Perinthus — город в Пропонтиде; *Περίρυνθιοι, Περίρυνθοι* — этникон от него: «пеласг.» *περίρυνθα* (асс.) «дорожный короб» ⁴⁴. Нам еще не удалось провести сплошное обследование фракийского материала, так что возможны и другие сравнения этого типа, однако если учесть относительно небольшое число имен собственных на *-vθ-* с вычетом 22 антропонимов, содержащих пока неясный второй компонент *-κενθος*, включая и личное имя *Κενθος*, то приведенный материал производит весьма внушительное впечатление.

Сюда же редкое сравнение (при единичности фракийских глосс) типа «пеласг.» топоним — фрак. апеллатив: «пеласг.» *Προβάλινθος, Προβάλινθος, -ιθος* — город и дем в Аттике: фрак. *βάλινθος* «бизон, дикий бык». Пример с другой морфемой: фрак. *Βάλβη* — озеро в Мигдонии с castel-лем того же названия, имеющим также форму *βάλβος*: «пеласг.» *βολβος* «лук порей» ⁴⁵.

б. Фрак. топоним (этопоним): «пеласг.» топоним.

Ἀσάι — местечко во Фракии и Греции (Коринф): и.-е. корень **ak-*, ср. *ἀσάμινθος*, сюда же, возможно фрак. местные названия *Ἀσται, Ἀσταιρα* ⁴⁶.

**Ῥήτ-κύνθος* — гора во Фракии (восстанавливается по *Ῥητικύνθιον ὄρος* и *Ῥητικύνθιδος* *Ῥητης*): «пеласг.» *Κύνθος* — гора на о. Делос; *Ἀσάκ-*

⁴² Специально о тождестве догреческих и ранне- и позднеанатолийских словообразовательных типов см.: Л. Гиндин, указ. соч., гл. III, § 10.

⁴³ Здесь и далее фракийские названия приводятся по словарю: D. Detschew, *Die thrakischen Sprachreste*, Wien, 1957.

⁴⁴ О догреческом («пеласгском») происхождении апеллатива см.: W. Merlینگе n, *Zum «Vorgriechischen»*, «Балканско езиковзнание», V, 2, стр. 30; иные этимологии топонима: там же, стр. 13; В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языковедению, стр. 95; В. л. Георгиев, Значение на съвременната топонимия за объяснение на древните географски названия, «Известия на Института за български език», XIV, София, 1967, стр. 15 и сл. (с литературой).

⁴⁵ О догреческом («пеласгском») происхождении апеллатива см.: W. Merlینگе n, указ. соч., стр. 21.

⁴⁶ В. л. Георгиев (указ. соч., стр. 8) ставит фрак. *Ἀσάι* и, возможно, *Ἀσσαι* в более непосредственную связь с фрак. (дак.) глоссой *asā* «раст. мать-и-мачеха».

υψος — название гор в Этолии, Беотии и Аттике (отнесение сюда Ζάκυνθος, Κόρυθος — вопрос по ряду причин еще спорный).

Πάννος, *Pannysis* — река на Черноморском побережье; *Pannisos* — стоянка на этом берегу: «пеласг.» Παννός река в Фессалии = Πάνμος — гидроним в Мессении, Лаконике, Элиде и Фессалии.

Κόρυς — место во Фракии⁴⁷, фрак. племя с неизвестным местом обитания; фрак. личное имя Κυρής: догреч. («пеласг»). Κόρυς, κυρήςος — название о. Саламин, ср. имя героя Κυρήςος.

Число двусторонних фракийско-«пеласгских» соответствий, надо полагать, может быть увеличено, однако вряд ли значительно. Во всяком случае оно ни в каком сравнении не идет с числом догреческо-анатолийских (гесп. малоазийских) тождественных лексем (на их этимологическом анализе построена уже упоминавшаяся монография автора) и даже с числом фракийско-анатолийских и фракийско-анатолийско-догреческих соположений. Кроме того, в отличие от догреческо-анатолийских и фракийско-анатолийских лексемных тождеств во фракийско-«пеласгских» связях превалируют по преимуществу сопоставления топоним (этноним): аnellатив, меньше топоним (этноним): топоним на уровне основ и даже корней.

5. Некоторые лингво-этнические выводы. В связи с отмеченной диспропорцией в количестве и характере лексических идентификаций по сравниваемым языкам при почти полном совпадении фонетических черт и набора словообразовательных элементов «пеласгского» и фракийского будет своевременным поставить вопрос, о, возможно, различном происхождении языковой близости между «пеласгским» и фракийским, с одной стороны, и «пеласгским» (а также фракийским) и хетто-лувийскими языками, с другой. Основной источник подобного своеобразия, по нашему мнению, нужно искать в том обстоятельстве, что между «пеласгским» и фракийским были отношения родства, а между хетто-лувийскими (анатолийскими) и названными языками пространственные отношения (адстратные и субстратно-суперстратные), при которых заимствуются по преимуществу цельные лексемы с последующей адаптацией.

Таким образом, в итоге проделанной работы появляются вполне реальные основания для предположения о носителях «пеласгского» языка как об одном или нескольких племенах, выделившихся из многочисленных родственных этнических образований, получивших в классический период единое название — фракийцы. Движение на юг Балканского п-ова этой части восточнобалканских племен произошло, вероятно, уже после того, когда хетто-лувийцы покинули пределы территории, сопряженной балканской и балтийской «переходной» зоне, но до перемещения арийцев из областей к северу от Черного моря в места исторического обитания, поскольку «пеласгский» в противоположность хетто-лувийским был охвачен сатемной изоглоссой, в степени, подобной собственно фракийскому и другим языкам указанных районов. Изложенное вынуждает, помимо того, пересмотреть предлагаемую Порцигом абсолютную датировку проникновения сатемных тенденций в языки восточных балкан середины II тысячелетия до н.э.⁴⁸ в сторону значительной древности, так как хетто-лувийцы по крайней мере 5—8 веками раньше переселились в Анатолию, «пеласгский» же язык мог появиться на территории Эллады не позднее последних веков III тысячелетия, до прихода туда греков. Столь ранним распадом фракийско-«пеласгской» генетической общности объясняется, по-видимому, и отсутствие в «пеласгской» топонимии таких характерных для фракийского ареала названий, как композиты с *-para* и *-bria*.

⁴⁷ W. Pape — G. Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, I, Graz, 1959, стр. 749.

⁴⁸ В. Порциг, указ. соч., стр. 17.

Т. Б. АЛИСОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОДУСА И ДИКТУМА

Отношения дополнительности существуют между любыми элементами высказывания, характеристики которых взаимно обусловлены. Так, субъект не существует без предиката, а валентные свойства глагольной лексемы — без соответствующих обязательных позиций именных членов — подлежащего, прямого дополнения, косвенного дополнения, дополнения агента, обстоятельства места.

Комбинации именных актантов, связанных дополнительными отношениями со сказуемым (авалентные, одновалентные, двухвалентные, трехвалентные предикаты), отражают — хотя и неоднозначно — семантическую ситуацию, т. е. смысловую структуру денотата. Двучленная субъектно-предикатная модель предложения соответствует его коммуникативному субстрату, где тема и рема взаимно обусловлены.

Существует, однако, еще один вид дополнительности, который, хотя и входит в понятие предикативности, «не затрагивает передаваемых предикатом субъектно-объектных связей»¹. Это — так называемая категория модальности, определяемая как «отношение говорящего к той связи, которую он устанавливает... между данным признаком и данным предметом»².

Таким образом, предикативная природа всякого высказывания состоит из двух ярусов — первый содержит субъектно-предикатные отношения денотата (диктум), второй — отношение говорящего к этим отношениям (модус)³.

Модальность возникает только в коммуникации; однако, в отличие от чисто коммуникативных категорий «темы» и «ремы», модальные отношения семантически значимы и могут быть описаны в виде ряда простейших модальных смыслов. Действительно, говорящий представляет собой субстанцию, выступающую в высказывании как эксплицитный или имплицитный семантический субъект, а его отношение к диктуму можно рассматривать как эксплицитный или имплицитный семантический предикат.

Основным признаком говорящего является, естественно, акт говорения.

Этот признак является активным, т. е. предполагающим определенную цель, и относительным, так как связывает два предметных актанта — говорящего и собеседника. Как относительный активный признак «говорение» входит в группу каузативов и в зависимости от целевой установки может представлять собой каузацию знания («сообщать — заставлять знать»), каузацию ответного акта говорения («спрашивать — заставлять говорить») и каузацию конкретного действия («приказывать — заставлять делать»).

На основании различия цели говорения выделяются обычно три формальных типа предложения: повествовательные, вопросительные и побудительные.

¹ И. И. Мещанинов, Глагол, М.—Л., 1948, стр. 75.

² А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1936, стр. 105.

³ См.: Ш. Б. Алли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 44.

Неактивным признаком, всегда сопровождающим речевой акт, является оценка говорящим лицом субъектно-предикатной связи диктума. Эта связь может оцениваться как известная и не вызывающая сомнений, как неизвестная, предположительная, условно-гипотетическая или желательная. Отношения субъективной оценки часто отождествляются со значениями глагольных наклонений — индикатива, конъюнктива, кондиционала и императива ⁴.

Таким образом, в грамматиках различных языков формы коммуникативной модальности (сообщение, вопрос, побуждение), передающие отношения между содержанием высказывания и двумя участниками коммуникации, часто рассматриваются в разделе синтаксиса простого предложения, а формы субъективно-оценочной модальности и их значения описываются как морфологические категории глагола в разделе о частях речи ⁵.

Отсюда возникает известный произвол в установлении количества типов предложений и количества глагольных наклонений. Так, в грамматике итальянского языка Б. Мильорини ⁶ насчитывается шесть типов предложений — повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные, гипотетические (условные) и назывные, а в грамматике С. Батталья и В. Перниконе ⁷ только три — повествовательные, вопросительные, восклицательные. В. В. Виноградов в своей книге «Русский язык» говорит о четырех наклонениях — изъявительном, повелительном, волюнтаривном и условно-желательном (гипотетическом), тогда как А. А. Шахматов, учитывая аналитические формы, обнаруживает в русском языке восемь наклонений: изъявительное, сослагательное, повелительное, желательное, условное, недействительное, предположительное и потенциальное.

Отсутствие единства терминологии и единообразия выделяемых единиц в этой области грамматики объясняется свойствами самого объекта исследования, а именно неотделимостью категорий глагола от категорий предложения. Модальная характеристика высказывания отражается прежде всего на строении сказуемого. Поэтому, если форма императива отождествляется с побудительным типом предложения, вполне логично выделить, как это делает Мильорини, также и условный (гипотетический) тип предложения, исходя из соответствующего глагольного наклонения.

В свою очередь, наклонение глагола не всегда представлено в виде словоизменятельного аффикса и зачастую передается аналитически («синтаксически») путем сочетания глагольной словоформы с грамматизованными модальными словами (*пусть, хоть бы, разве*), модальными частицами (*бы, ли*), или служебными модальными глаголами (*мочь, долженствовать*). Поскольку морфологический показатель наклонения глагола подчас трудно отличить от аналитических форм модальности ⁸ (например, русские частицы *бы, ли*), в число наклонений могут быть включены также и аналитические единицы, например, вопросительное наклонение в английском языке, выраженное сочетанием служебного глагола *to do* с инфинитивом.

⁴ Помещение императива в один ряд с конъюнктивом и кондиционалом неправомерно, так как он содержит активный компонент каузации действия, отсутствующий у двух других наклонений.

⁵ См.: В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1947, стр. 581: «Категория наклонения отражает точку зрения говорящего на характер связи действия с действующим лицом или предметом. Она выражает оценку реальности связи между действием и его субъектом с точки зрения говорящего лица или волю говорящего к осуществлению или отрицанию этой связи. Таким образом, категория наклонения — это грамматическая категория в системе глагола, определяющая модальность действия».

⁶ B. Migliorini, La lingua nazionale, Firenze, 1943, стр. 327—331.

⁷ S. Battaglia, V. Pernicone, La grammatica italiana, Torino, 1960, стр. 511—513.

⁸ И. И. Мещанинов, указ. соч., стр. 80.

Некоторые исследователи называют аналитические формы синтаксическими наклонениями⁹, чтобы отличить их от синтетических форм.

Однако, учитывая тот факт, что модальность, как категория предикативная, составляет основу формальной и смысловой характеристики предложения, более последовательной интерпретацией термина «синтаксическое наклонение» является его соотнесение с понятием особой единицы синтаксического уровня¹⁰, форма которой складывается из взаимодействия формы морфологического наклонения и других грамматизованных элементов структурной схемы предложения (включая интонацию, если она выполняет грамматическую функцию, как, например, в вопросительных предложениях).

Морфологические наклонения выступают, таким образом, как часть формы синтаксического наклонения, в составе которого они получают дифференцированные значения (например, в сочетании с модальным показателем *пусть* индикатив передает значение «пожелания»).

Синтаксические наклонения, в отличие от морфологических, менее многозначны, но в то же время могут иметь несколько формальных вариантов, передающих различные оттенки общего модального смысла. Понятие «синтаксического наклонения», т. е. формы предложения, несущей модальную нагрузку, очевидно, совпадает с понятием «типа предложения», выделяемого по модальному признаку.

Как большинство единиц синтаксического уровня, синтаксические наклонения, по-видимому, сходны во всех европейских языках, хотя конкретные формы выражения этих наклонений в разных языках могут быть различными. Например, «пожелательное наклонение» (оптатив) в русском языке передается главным образом тремя формами: *пусть он придет, чтоб тебе провалиться, будь проклят тот день*; в итальянском языке также существует три варианта: *che venga; possa lui venire; sia maledetto quel giorno*, но ни один из них не имеет точных формальных аналогов в русском языке.

Одно и то же денотативное содержание, например, *мальчик + спать* может получать различные модальные характеристики, выраженные в формах различных синтаксических наклонений: *мальчик спит, спи, мальчик, мальчик спит? спит ли мальчик?, пусть мальчик спит, мальчик может спать, если бы мальчик спал!* и т. п.

Возникает вопрос, являются ли все эти формы членами парадигмы модальных преобразований одного предложения (которое, как полагает Н. Ю. Шведова, «существует не в одном каком-то единственном и неизменном виде, а в совершенно определенной совокупности регулярно обнаруживающихся выявлений»¹¹) или представляют собой разные типы предложений.

Казалось бы, неизменность денотата при изменении грамматически выраженного модального отношения должна служить веским доказательством в пользу первого решения, тем более, что две другие предикативные категории — лица и времени — образуют парадигматические ряды в пределах одной и той же модели предложения: *я сплю, ты спишь, он спит; я сплю, я спал, я буду спать* и т. п. Вместе с тем, сопоставляя парадигмы лиц и времен с приблизительным перечнем синтаксических наклонений¹², не-

⁹ См.: А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 481.

¹⁰ См.: Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке, в кн. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 8—12.

¹¹ Н. Ю. Шведова, указ. соч., стр. 10.

¹² Количество синтаксических наклонений не может пока считаться установленным.

трудно убедиться в том, что формы наклонений, во всяком случае некоторые из них, не образуют парадигматического ряда, так как складываются из разных несопоставимых синтаксических позиций (ср. *ты приходишь — приходи; ты приходишь — если бы ты пришел, то...*¹³) и, следовательно, соотносятся разным структурным типам (моделям) предложений.

Различие типов предложений зависит, как мы видели, также от состава именных актантов и характера отношений между ними. В качестве дифференцирующих показателей при семантико-формальной классификации предложений (предикатов) учитываются как формальные признаки количества именных позиций (предикаты одноместные, двухместные и т. п.), так и категориальные семантические составляющие членов предложения, например, одушевленность — неодушевленность, предметность — непредметность именных членов, абсолютность — относительность, активность — неактивность глагольного члена.

При выделении типов предложений по их модальным признакам количество именных позиций, их оформление и классемы членов предложения не существенны, так как модальное содержание не зависит от денотата (субъекта и предиката высказывания).

Формальными показателями различий между синтаксическими наклонениями являются разнообразные грамматические элементы предложения, несущие модальную нагрузку. Содержательными дифференциальными признаками различий между формами наклонений (модальными типами предложений) будут, однако, не общие значения этих форм, так как значение любой формальной языковой единицы — будь то слово или предложение — неустойчиво, а более элементарные модальные смыслы, из которых складываются значения наклонений.

К этим элементарным смысловым составляющим принадлежит прежде всего дифференциальный признак активности (каузативности) — неактивности, свойственный не только модальным отношениям. По этому признаку различаются формы коммуникативной модальности (императив, вопросительное наклонение, повествовательное наклонение) от форм субъективно-оценочной модальности (синтаксический индикатив, кондиционал, оптатив, предположительное наклонение и т. п.).

Простейшие смыслы субъективно-оценочной модальности, издавна известные логикам и грамматистам, сводятся к трем: оценка факта как реального, оценка факта как желательного и оценка факта как предположительного¹⁴.

Синтаксическое изъявительное наклонение (индикатив) «служит для простого констатирования утверждения или отрицания действия в настоящем, прошедшем и будущем»¹⁵ — определение, данное В. В. Виноградовым морфологическому изъявительному наклонению, но приложимое только к синтаксическому индикативу. В отличие от морфологического индикатива, который может выступать в составе разных синтаксических наклонений и представляет собой «нулевую», не отмеченную определенным модальным значением форму, синтаксический индикатив имеет содержательную модальную характеристику: уверенное знание об отсутствии или наличии связи между субъектом и предикатом и об определенной временной

¹³ При императиве позиция подлежащего факультативна и сближается с позицией обращения; потенциальное наклонение в отличие от индикатива или императива предполагает зависимую позицию предложения в составе более сложной синтаксической единицы.

¹⁴ См.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 582.

¹⁵ Там же, стр. 587.

локализации этой связи по отношению к моменту речи¹⁶. Формой выражения синтаксического индикатива является во всех языках форма морфологического индикатива, способная изменяться по полной парадигме глагольных времен, и повествовательная (или восклицательная) интонация. Синтаксический опатив — *utinam illum diem videam!* (Cic. At. 3, 3), итал. *possa io vedere quel giorno*, русск. *пусть я увижу тот день* — складывается из смыслов предположительности и желательности. Синтаксический кондиционал содержит примерно те же модальные компоненты, но соотносительные с условно-следственным (семантически сложным) денотатом, и т. п.

Наклонения субъективной оценки не включают каузативного компонента «воздействия» на собеседника. Напротив, коммуникативные наклонения, помимо смысла «каузативности», обязательно содержат оценочные смыслы «знания», «незнания», «желательности», «предположительности», так как именно эти смыслы являются собственно модальными. Так, синтаксическое повелительное наклонение (= побудительный тип предложения) к компоненту каузации действия присоединяет модальный смысл желательности.

Синтаксическое вопросительное наклонение состоит из сложной комбинации «незнания, желания узнать и каузации речевого акта собеседника».

Синтаксическое «повествовательное» наклонение нецелесообразно отождествлять с синтаксическим индикативом, потому что оно противопоставлено вопросительному и побудительному только по различительному признаку цели говорения и представляет собой наклонение «сообщения»¹⁷ (каузации знания у собеседника). Связь с собеседником, обязательная и отмеченная самой формой в прямом вопросе или побуждении, в повествовательном высказывании не обязательна, так что его каузативное содержание «воздействия на адресата сообщения» зависит целиком от речевой ситуации. Повествовательное наклонение может передавать любое модальное отношение, за исключением прямого вопроса и прямого побуждения. В соответствии со смысловой «неотмеченностью» этого коммуникативного типа предложения находится и его форма, не имеющая никаких грамматических примет, кроме отрицательных (не вопросительная и не побудительная форма).

Что касается «восклицательного наклонения» (или восклицательного типа предложения) сейчас уже может считаться доказанным, что оно не существует как самостоятельная синтаксическая единица, так как восклицательная интонация может быть подключена к любому типу предложения. Кроме того, содержательная сторона восклицания сводится к чистому аффекту, не имеющему прямого отношения к оценке субъектно-предикатной связи денотата.

Все перечисленные выше модальные смыслы и их комбинации дополняют собственно-денотативное содержание высказывания и передаются синтаксическими наклонениями грамматически. Это значит, что субъект — носитель модальной оценки вообще никак не представлен в составе предложения, а его признаки — модальные отношения — сообщение, вопрос, приказ, знание, предположение, воля — сопровождают предикат в виде разнообразных уточнителей, не имеющих самостоятельной синтаксической позиции «члена предложения». Даже в том случае, когда показателем синтаксического наклонения является модальное слово типа *разве, пусть, неужели*, способное выступать как отдельная интонационная единица, оно

¹⁶ Ср. определение Н. Ю. Шведовой синтаксического изъявительного наклонения как наклонения временной определенности (указ. соч., стр. 112).

¹⁷ См.: А. М. Пешковск и й, указ. соч., стр. 356.

не может быть ни дополнением, ни определением, ни обстоятельством, т. е. ничем другим кроме грамматического модального показателя¹⁸.

Известно, однако, что все европейские языки располагают возможностью передавать отношение говорящего к денотату самостоятельной глагольной лексемой, имеющей собственный субъект — подлежащее и управляющей дополнительным придаточным или инфинитивным оборотом.

Подклассы глаголов, обозначающих психические проявления лица, хорошо известны со времен античных грамматик и регулярно перечисляются в любой грамматике современных языков в разделе, посвященном дополнительным придаточным предложениям. Однако лишь приверженность к издавна установленным канонам, предписывающим раздельный анализ простого и сложного предложения, независимо от их семантической структуры, помешала (и до сих пор мешает) лингвистам признать тот факт, что конструкция глаголов *dicendi, putandi, affectuum, voluntatis* с дополнительным придаточным представляет собой одну из форм выражения модальных отношений, точнее, наиболее расчлененную и семантически прозрачную их форму. Необходимость включения этой синтаксической конструкции в ряд форм предложения, несущих модальную нагрузку, достаточно убедительно была доказана Ш. Балли в статье, специально посвященной проблеме эксплицитной модальности¹⁹. Эта работа, по непонятным причинам не получившая должного резонанса в лингвистической литературе, содержит следующие существенные наблюдения:

1. Модальность неотделима от высказывания и характеризуется многообразием форм выражения. Эксплицитной формой модальности являются предложения с придаточным дополнительным, где субъект — говорящий и его отношение (оценка, суждение), т. е. модус, и понятие о предмете речи и его свойстве, т. е. диктум, выражены отдельными лексемами, а связь между ними представлена как обязательная. Всякий глагол, управляющий придаточным дополнительным и не способный иметь в позиции дополнения конкретных существительных, является модальным. Модальные глаголы, сочетающиеся с конкретным дополнением, сохраняют свой модальный характер, если глагол диктума имплицитно содержится в высказывании и может быть свободно восстановлен (например, *Я хочу чаю — Я хочу выпить чаю*). Если без нарушения смысла фразы «диктальный» глагол восстановить не удастся, глаголы *dicendi, putandi* и т. д. в сочетании с существительными не являются модальными, как, например, *Я думаю о моей матери, Ты знаешь эту сказку?, Скажи это слово*, где глаголы *думать, знать, говорить* не выражают никакого модального отношения.

2. Дополнительное придаточное, зависимое от модальных глаголов, может быть преобразовано в инфинитив, представляющий диктум в более сжатой форме. Однако не все глаголы, управляющие инфинитивом, модальны. С инфинитивом сочетается также целый ряд лексем, обозначающих а) чисто видовые оттенки (*начинать, кончать*) и б) модально-видовые оттенки, связанные со степенью участия психической или физической энергии деятеля в осуществлении собственного действия (*удаваться, пытаться, стараться, мочь, уметь*).

Смысловая и формальная граница между модально-видовыми и чисто модальными глаголами не устойчива, и можно найти немало примеров промежуточных конструкций, особенно с глаголами, обозначающими внимание, старание, стремление. Однако отличительным семантическим признаком чисто модальных глаголов является то, что они способны обозначать

¹⁸ А. М. Пешковский (указ. соч., стр. 372) замечает, что подобные модальные слова, обладая питоационными признаками самостоятельного слова, выражают «только отношение к мысли, а не саму мысль», т. е. лишены лексического значения.

¹⁹ Ch. Bally, Syntaxe de la modalité explicite, CFS, 2, 1942.

в равной мере как отношение лица-субъекта к собственному действию (состоянию), так и к действию (состоянию) другого лица или предмета. Формальным отличительным признаком модальных глаголов является, соответственно, их сочетаемость как с инфинитивом, так и с дополнительным придаточным предложением в отличие от модально-видовых глаголов, которые с придаточным дополнительным не сочетаются²⁰.

3. Сочетания глаголов *долженствовать* и *мочь* с инфинитивом, а глагола *казаться* с прилагательным или причастием, определяются как форма модальности, занимающая среднее положение между эксплицитной синтаксической конструкцией «модальный глагол + дополнительное придаточное» и синтаксическим наклонением. Сами глаголы *долженствовать*, *мочь* и *казаться* рассматриваются как лексические эквиваленты пассивных форм модальных глаголов приказа, допущения или предположения и определяются как модальные полуслужебные. Глагол *мочь* в значении «иметь силы» относится не к модальным, а к модально-видовым лексемам.

4. Глаголы аффекта также имеют двойственную природу: обозначая эмоциональную реакцию лица, вызванную какой-либо причиной, они не являются модальными (*Я боюсь грома*); обозначая оценку факта как желательного или предположительного (в широком смысле), они представляют собой предикат модуса (*Я боюсь, что гром меня убьет*).

В «Общей лингвистике» и более подробно в изложенной выше статье Ш. Балли рассматривает конструкцию эксплицитной модальности как сложное предложение, позволяющее передать отношение говорящего к денотату лексически, при помощи полнозначных глаголов *dicendi*, *putandi*, *affectuum*, *voluntatis*²¹, которые вслед за Балли мы также будем называть модальными.

Следует, однако, подчеркнуть, что эта конструкция является сложным предложением лишь формально, так как представляет в аналитической (эксплицитной) форме те же отношения обязательной взаимной дополнителности, которые связывают модальные смыслы с денотатом в синтаксических наклонениях.

Кроме того, конструкцию эксплицитной модальности нельзя рассматривать просто как синтаксический фон, благоприятный для лексической передачи модального смысла. Самая модель «*Vt* + дополнительное придаточное» является синтаксической формой, имеющей значение «модального отношения вообще». Содержательная сторона этого отношения уточняется и дифференцируется как лексическим наполнением сказуемого модуса, так и формами наклонений диктума (ср. *Я знаю, что он придет*, *Я хочу, чтобы он пришел*, *Я не знаю, придет ли он*). Таким образом, конструкция «*Vt* + + дополнительное придаточное» специально предназначена для выражения модального отношения, которое здесь представлено «линейно» в виде сочетания двух предикатов — управляющего модального и управляемого диктального.

Конструкция эксплицитной модальности имеет также свою чисто формальную специфику, отличающую ее от внешне сходных сочетаний переходных глаголов с дополнением, выраженным конкретным существительным. Дело в том, что позиция сказуемого, управляющего дополнительным придаточным, может быть замещена только модальным глаголом, а позиция дополнения-диктума не идентична позиции дополнения, выражен-

²⁰ Интересное исключение в этом отношении представляет собой румынский язык, где даже чисто «видовые» глаголы типа *продолжать* могут вводить придаточное дополнительное (со сказуемым в конъюнктиве). См.: Р. А. Б у д а г о в, Этюды по синтаксису румынского языка, М., 1958, стр. 111.

²¹ Глаголы восприятия в своих первичных значениях — «слышать», «видеть» не выражают модальных отношений.

ного существительным²². Это очевидно прежде всего из самого различия лексического наполнения этих позиций: первичной формой выражения зависимого диктума является придаточное предложение, тогда как существительное в этой позиции является результатом преобразования: *Я не уверен, что он придет — Я не уверен в его приходе*.

Если форма существительного или инфинитива оказывается первичной или единственно возможной в позиции дополнения, модальное содержание отношений утрачивается и модальный глагол переосмысливается. Утрата глаголом «направленности» на диктум (диктальной валентности) и исключение позиции дополнительного придаточного происходит в том случае, если подчеркивается содержательная, а не относительная сторона признака, выраженного глаголом, и открывается «место» для обстоятельств образа действия, как, например, во фразе Флобера²³: *«Il répondit médiocrement aux pointes, calembours, mots à double entente»* (Bov. 45) — *«Rispose maluccio alle punzecchiature, alle freddure, ai doppi sensi»* (Bov. 35) — «на все шутки, каламбуры, двусмысленности... он отвечал довольно плохо» (Флоб. 39).

Перенос смыслового акцента на сам процесс протекания психической деятельности, подчеркнутый его качественными или количественными характеристиками, обуславливает не только устранение «диктальной» валентности у глагольной лексемы, но и замену самой лексемы ее немодальным синонимом, обозначающим тот же психический признак лица. Так, глагол «говорить» в романских языках — *dicere* (*dire* во французском и итальянском), обозначая сам процесс говорения и его содержание, оканчивается синонимом немодального глагола *parler* (*parlare*) — «говорить», — не сочетающегося с придаточным дополнительным: *«Entrarono a dire del danno che fece la guerra»* (San. 18)²⁴ — «Они начали говорить об ущербе, причиненном войной», наряду с: *«Gli parlò ancora di sua madre»* (Bov. 29) — «Она говорила ему о своей матери». Глагол *savoir* (*sapere*) в своем немодальном значении имеет синоним *connaître* (*conoscere*), который не употребляется в составе конструкции эксплицитной модальности: *«Mais elle connaissait trop la campagne; elle savait le bèlement des troupeaux...»* (Bov. 51). То же и в итальянском переводе: *«Ma la conosceva anche troppo bene, la campagna, lei: sapeva il belato dei greggi...»* (Bov. 40). У глагола «думать» (*penser*, *pensare*) наличие позиции косвенного дополнения, обозначающего предмет мысли, исключает позицию дополнения-диктума и делает невозможным интерпретацию глагола как модального: *Я думаю о моей матери — penso a mia madre*.

Различие позиций именных дополнений и дополнения-диктума не исключает возможности появления в позиции диктального дополнения существительного (абстрактного или конкретного) в качестве вторичной, преобразованной формы выражения данной синтаксической функции. Точно так же в специфически именной позиции может появиться придаточное предложение: *«Io cominciai a pensare a come potevo farlo»* (San. 153) — «Я начал думать о том, как это сделать»; *«E non hai pensato a ciò che è seguito per quel gesto»* (Viola Fine. p. 112, пример Херцера)²⁵ — «Ты не подумал

²² См.: Е. А. Реферовская, Синтаксис современного французского языка, Л., 1969, стр. 79, где указывается, что «дополнительное предложение не представляет собой „расширенного дополнения“ управляющего глагола, т. е. не равноценно члену главного предложения».

²³ G. Flaubert, Madame Bovary, Moscou, 1956 (итальянский перевод: Milano, 1965).

²⁴ «I Quaderni di San Gersolè», Torino, 1963.

²⁵ Дж. Херцег (G. Herzog, Sintassi delle proposizioni subordinate nella lingua italiana, Budapest, 1959, стр. 268) рассматривает как «дополнительное» любое предложение, выполняющее синтаксическую функцию существительного.

о том, что последовало за этим жестом». Синтаксическая «равноценность» этого придаточного именного дополнению и его отличие от диктального дополнительного проявляется в возможности его субстантивации при помощи обобщенных предметных («указательных») местоимений или существительных (*то, что; тот факт, что...*), недопустимых при диктальном придаточном (*Я думаю то, что ты пришел*). Поэтому два на первый взгляд одинаковые предложения: *Я знаю, что ты болен* и *Я знаю, что ты думаешь* принадлежат к разным синтаксическим конструкциям: первая содержит модальный предикат и диктальное дополнение, вторая — немодальный предикат психического процесса и его именное дополнение, уточняющее содержание этого процесса (ср. перевод этих фраз на итальянский язык: *So che sei malato — So che cosa pensi*).

Различие именной позиции дополнения и позиции дополнения-диктума подчеркивается также двумя различными типами местоимений, способных замещать эти позиции. Первая допускает только «предметные» местоимения, изменяющиеся по числам и родам, или содержащие указательный (деиктический) компонент (*это, то, эти, те, он, она, они* и т. п.), тогда как вторая замещается только непредметным местоимением — «это», франц. *le*, итал. *lo*, исп. *lo*, лишенным форм словоизменения. Так, модальный глагол *знать* сочетается только с непредметным местоимением, а его немодальный аналог — только с предметными местоимениями. Ср. *lo so* и *lo conosco* — «Я это знаю» и «Я его знаю».

Конструкция эксплицитной модальности, описанная в статье Ш. Балли, имеет вид $N_1 Vt + \text{что} (\text{чтобы})...$, где позицию модального предиката может занимать любой глагол, управляющий дополнением-диктумом. Однако модальные смыслы, как мы уже видели, не одинаковы. Остается выяснить, имеем ли мы право рассматривать все модальные глаголы как противопоставленные друг другу по значению в позиции модального предиката и как синтаксически эквивалентные.

Смысловые различия могут проявляться, как известно, в двух планах — синтагматическом и парадигматическом. В первом случае формы, связанные между собой в одном высказывании, как, например, подлежащее и сказуемое, сказуемое и дополнение и т. п. принадлежат к различным семантико-синтаксическим классам, но не могут быть противопоставлены друг другу, так как противопоставление всегда предполагает какую-либо общую основу. В области синтаксиса такой основой служит общность позиции относительно других элементов предложения. Два элемента, связанные отношениями подчинения и поэтому занимающие разные позиции, не могут рассматриваться как члены одного парадигматического ряда.

В свою очередь, синтаксически эквивалентные единицы, противопоставленные по смыслу, взаимозаменяемы, но не совместимы в одном предложении.

Если теперь с учетом этих критериев мы сравним две конструкции эксплицитной модальности, модальные предикаты которых выражают соответственно отношение говорения («сообщения») и отношение субъективной оценки, например, *Я говорю, что ты болен* и *Я знаю, что ты болен*, то мы обнаружим, что в первой фразе не замещено место субъективно-оценочного предиката, а во второй — место предиката говорения. Заполнение «пустых мест» даст нам трехъярусную конструкцию с двумя модусами: *Я говорю, что я знаю, что ты болен*. Таким образом, полная формула эксплицитной модальности будет иметь вид « $N_1 V \text{ dicendi} + \text{что} V \text{ putandi} (\text{voluntatis}) + \text{что} (\text{чтобы})$ », где отношения между двумя модусами предстают как модально-диктальные, т. е. дополнителные.

Отсюда следует, что в конструкции эксплицитной модальности существует по меньшей мере две позиции модуса: позиция модуса говорения и

позиция модуса субъективной оценки, не исключающие, но дополняющие друг друга.

Модус говорения, передающий нейтральное отношение «сообщения» по существу не модален. Однако его способность сливаться с субъективно-оценочными смыслами (ср. *я говорю, что я знаю что...* = *я утверждаю, что; я говорю, что я хочу* = *я приказываю*), а также его грамматический признак «предиката, управляющего дополнительным придаточным», делают его синтаксическое место не идентичным, но аналогичным позиции предикатов субъективной оценки.

Формальным отличительным признаком модуса говорения или модуса, осложненного смыслом говорения, является обязательная синтаксическая связь с позицией адресата-собеседника, которая отсутствует у модальных предикатов, содержащих только субъективную оценку (*я тебе говорю что...*, но *я знаю, что, я приказываю тебе, чтобы...*, но *я хочу, чтобы...*).

Таким образом, смысловые различия между двумя типами модальных отношений — коммуникативным и субъективно-оценочным — обнаруживаются не только в формах синтаксических наклонений, но и в формах конструкции эксплицитной модальности.

Как мы видели, для передачи определенного модального содержания язык располагает двумя²⁶ возможностями: представить точный модальный смысл грамматически, самой формой предложения (*Иди!*) или выразить этот смысл лексически, в составе конструкции эксплицитной модальности, где форма предложения передает лишь «модальное отношение вообще» (*Я тебе говорю, что хочу, чтобы ты пошел*).

Выбор синтаксического наклонения или формы эксплицитной модальности зависит от определенных условий.

Для большинства субъективно-оценочных модальных отношений конструкция эксплицитной модальности является во всех европейских языках наиболее распространенной экспрессивно-нейтральной формой выражения: *я хочу, чтобы...; я надеюсь, что; я думаю что; я сомневаюсь, что* и т. п. Синтаксические наклонения субъективной оценки употребляются в следующих случаях: 1) для передачи некоторых комбинаций элементарных модальных смыслов, осложненных добавочной экспрессивной (аффективной) нагрузкой: *Ах, если бы он пришел!, Пусть он придет, Хоть бы он не пришел* и т. п., 2) для передачи смысла «желательного предположения» (гипотезы), отнесенного к условно-следственному денотату: *Если бы он пришел, мы бы пошли в кино*; 3) для передачи уверенного знания (оценки факта как реального): *Он пришел, Он придет, Он приходит*.

В последнем случае конструкция эксплицитной модальности выступает как позиционный вариант синтаксического индикатива, обусловленный, во-первых, несовпадением временного плана модальной оценки с моментом речи, или субъекта модуса с говорящим (*Он пришел; Я знал, что он пришел; Она знает, что он пришел*), и, во-вторых, специальным подчеркиванием содержательной стороны модальной оценки (*Он пришел — Я знаю, что он пришел!*).

Для коммуникативных модальных отношений, осложненных активным смыслом «говорения», синтаксические наклонения: «повествовательное» (с различным модальным содержанием), «вопросительное» и «побудительное» — являются наиболее распространенными формами при совпадении субъекта модуса с говорящим и временного плана модального отношения с моментом речи. При изменении этих условий, синтаксическое наклонение уступает место «косвенной речи»: (*Он болен? — Ты спрашива-*

²⁶ Вводные модальные слова представляют собой, по-видимому, вариант эксплицитного модуса.

ешь, болен ли он; Я спросил, болен ли он). Кроме того, эксплицитный модус «говорения» появляется при нарочитом выделении этого смысла, например, при подчеркнутом утверждении собственного мнения: «Disse soltanto: „Allora ti ammazzo“. E io: «Provaci... io ti dico che non ammazzi nessuno» (Moravia. Расс. rom „Fanatico“, р. 24)²⁷. — «Тогда он сказал: „Я тебя убью“. Я же в ответ: „Попробуй... А я тебе говорю, что ты никого не убьешь“».

Как известно, при «переводе прямой речи в косвенную» многие модально-экспрессивные оттенки, заложенные в форме предложения, теряются, так как эксплицитный модус способен передавать лишь понятийное (денотативное) содержание модального отношения (частично эта утрата возмещается в формах так называемой «несобственно прямой речи»).

Модальный смысл, выраженный самостоятельной лексемой, становится таким образом полноправным элементом денотативного содержания предложения. Форма же конструкции эксплицитной модальности, освобожденная от конкретной модальной нагрузки, передает лишь «модальное отношение как таковое» и подключается к «нулевому» коммуникативному наклонению «сообщения».

Итак, модальная характеристика предложения складывается из двух типов отношений говорящего к своей речи: субъективно-оценочного и коммуникативного; оба эти отношения могут получать как эксплицитное, так и имплицитное (чисто грамматическое) выражение.

²⁷ А. Moravia, Racconti romani, Mosca, 1969.

А. Т. КРИВОНОСОВ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В СИНТАКСИСЕ

I. 1. Грамматическая традиция рассматривает изменяемые и неизменяемые «части речи» (ЧР) в германских языках на равных основаниях в разделе «Морфология». В этом факте последовательно отражается точка зрения, согласно которой любая ЧР — морфологическая категория. Однако известно, что неизменяемые ЧР не обладают признаками морфологического состава в смысле морфологического состава изменяемых ЧР¹. Поэтому отнесение неизменяемых ЧР к разделу «Морфология» не имеет под собой достаточных оснований. Не последнюю роль в этом играет сам термин «часть речи», уже много веков усыпляющий бдительность языковедов.

Как подчеркивает В. М. Жирмунский², части речи возникли путем морфологизации членов предложения. Различные члены предложения в разных языках, очевидно, по-разному подверглись процессу морфологизации. Если изменяемые слова, например, в немецком языке, распознаются как определенные части речи вне синтаксического употребления, то многие неизменяемые слова вне синтаксиса нераспознаваемы. Еще Э. Сепир писал, что «чем явственнее роль каждого слова в предложении указывается его собственными ресурсами, тем меньше надобности обращаться, минуя слово, к предложению в целом»³. О необходимости изучать неизменяемые слова на уровне синтаксиса еще более решительно высказался Ф. Ф. Фортунатов, утверждая, что неизменяемые слова суть «неграмматические (читай: «неморфологические» — А. К.) классы слов»⁴, что по отношению к таким языкам, как китайский, «грамматика может иметь только одну часть, называемую синтаксисом»⁵.

Следовательно, в основу выделения неизменяемых классов слов должно быть положено их «поведение» в структуре синтаксических единиц. Это заставляет нас обратиться к установлению структуры синтаксических единиц и к способам их представления в некоторых моделях языка.

I.2. Проблемы моделирования синтаксических единиц получили в современной лингвистике широкую разработку. Особенно плодотворными в этом направлении оказались работы последних десятилетий. Наряду с традиционной моделью «членов предложения» (ЧП) в языкознании широкое распространение получили дистрибутивная модель (ДМ), модель непосредственно составляющих (НС) и трансформационная модель (ТМ). Каждая из

¹ По сравнению с флективными формами существуют определенные трудности выделения неизменяемых классов слов, на которые указывал, например, С. Д. Канцельсон. См.: С. Д. Канцельсон, О грамматической категории, «Вестник ЛГУ», 2, 1948, стр. 208—210.

² В. М. Жирмунский. О природе частей речи и их классификации, сб. «Вопросы теории частей речи. На материале языков различных типов», Л., 1968, стр. 27.

³ Э. Сепир, Язык, М., 1934, стр. 85—86.

⁴ Ф. Фортунатов. Избр. труды, I, 1956, стр. 165—166.

⁵ Там же, стр. 192.

них считалась своего рода усовершенствованием предшествующей и, таким образом, включала в себя или всю предшествующую модель, или ее элементы. Но между ними обнаружилось и принципиальные различия как по глубине отображения структуры синтаксических единиц, так и по количеству отображаемых синтаксических параметров. Общим недостатком всех моделей языка является преувеличенное культивирование различий между ними и недостаточное внимание к тому общему, что свойственно всем моделям. Это создает ложное представление, будто в разных моделях языка мы имеем дело с различными трактовками структуры синтаксических единиц. Без правильной оценки того общего, что свойственно различным моделям, нельзя объективно описать структуру синтаксических единиц. Эта заставляет нас еще раз вернуться к известным моделям языка и рассмотреть их под углом зрения их интеграции.

На основе сопоставления структуры синтаксических единиц, представленных в некоторых моделях языка⁶, здесь делается попытка построить исчерпывающую структурно-функциональную модель поверхностной структуры синтаксических единиц. При этом мы используем методику всестороннего учета синтаксических параметров единиц, которая не была использована в других моделях.

II. 1. В терминах модели ЧП предложение анализируется весьма громоздким и неадекватным способом как последовательное описание главных и второстепенных ЧП и морфологических способов их выражения определенными ЧР. Во избежание громоздкости описания синтаксических единиц в терминах модели ЧП мы формализуем ее и представляем в виде «дерева зависимостей». Так, предложение *Gestern las er in der Bibliothek ein sehr interessantes Buch* «Вчера он читал в библиотеке очень интересную книгу» можно записать в терминах модели ЧП в виде схемы (1)⁷.

$$(1) \quad P(N_n^N) \leftrightarrow C(V_n) \begin{cases} \rightarrow Ob(B_n) \\ \rightarrow Ob(P_y N_y^d) \\ \rightarrow D(N_y^a) \rightarrow O(R_n A_c^a) \end{cases}$$

⁶ Анализу подвергаются модель ЧП и модель НС: ДМ и ТМ опускаются как модели, одна из которых — ДМ — поглощается моделью НС, а другая — ТМ — является не аналитической, а порождающей и, следовательно, служит не целям установления поверхностной структуры синтаксических единиц, а целям установления отношений между различными «деревами». Критику моделей ЧП и НС см.: С. Н. Оскетт, *A course in modern linguistics*, New York 1958, стр. 171—179; К. Л. Рикс, *Taxemes and immediate constituents*, «Language», 19, 2, 1943; R. Wells, *Immediate constituents*, «Readings in linguistics», ed. by M. Joss, Washington, 1967; S. Chaitin, *Immediate constituents and expansion analysis*, «Word», 11, 3, 1955, стр. 378; Н. Хомский, *Синтаксические структуры*, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 437—440, 450; Г. Глисон, *Введение в дескриптивную лингвистику*, М., 1959, стр. 191; Н. А. Слюсарев, *Лингвистический анализ по НС*, ВЯ, 1960, 6; С. К. Шаумян, *Теоретические основы трансформационной грамматики*, сб. «Новое в лингвистике», II, стр. 399; Л. С. Бархударов, *Структура простого предложения современного английского языка*, М., 1966, стр. 16—18; Ю. Д. Апресян, *Идеи и методы современной структурной лингвистики*, М., 1966, стр. 173—175.

⁷ Символы «членов предложения» (ЧП) обозначаются русскими заглавными буквами: *P* — подлежащее, *C* — сказуемое, *O* — определение, *D* — дополнение, *Ob* — обстоятельство. Символы «частей речи» (ЧР) обозначаются латинскими заглавными буквами: *V* — наречие, *N^{n,a,d}* — существительное в соответствующем падеже, *V* — личная форма глагола, *P* — предлог, *R* — интенсификатор, *A^{n,a,d}* — прилагательное в соответствующем падеже. Символ \leftrightarrow обозначает предикативную связь между подлежащим и сказуемым, символ \rightarrow обозначает подчинительную связь между ведущим и зависимым ЧП. Формы выражения типов синтаксической связи обозначаются русскими буквами, стоящими внизу справа от символов ЧР: *c* — согласование, *к* — управление, *п* — примыкание (между ЧП подчинительных словосочетаний), *к* — координация (между подлежащим и сказуемым).

Так как модель ЧП репрезентирует синтаксические единицы в двух рядах символов, в символах ЧП и ЧР, то их можно записать или только в символах «членов предложения» (2), или только в символах «частей речи» (3). Схема (3), тем самым, перестала быть моделью ЧП в собственном смысле этого слова.

$$(2) \quad \begin{array}{l} \Pi \leftrightarrow C \\ \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow Ob \\ \rightarrow Ob \\ \rightarrow D \rightarrow O \end{array} \right. \end{array} \quad (3) \quad \begin{array}{l} N_n^a \leftrightarrow V_n \\ \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow B_n \\ \rightarrow P_y N_y^d \\ \rightarrow N_y^a \rightarrow R_n A_c^a \end{array} \right. \end{array}$$

Записав анализируемое предложение в виде (2) и (3), мы тем самым устранили существенные недостатки модели ЧП: избежались от необходимости выделять ЧП путем постановки вопросов (3) и разграничили семантические (2) и структурные (3) признаки в «членах предложения». Нетрудно заметить, что модель, представленная в терминах ЧР (3), более информативна, чем (2), так как в (3) «снять» а) семантическое толкование структурных единиц предложения и б) двусмысленность идентификации путем постановки вопросов, например, таких ЧП, как «обстоятельство».

Сохранив распределение слов так, как оно дано в анализируемом предложении, его можно записать в виде структурно-функциональной модели (4).

$$(4) \quad \begin{array}{c} B_n \leftarrow V_n \leftrightarrow N_n^n P_y N_y^d R_n A_c^a \leftarrow N_y^a \\ \parallel \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\ \text{-----} \end{array}$$

На основе (3) или (4) структурно-функциональную модель можно расписать в виде изолированных бинарных синтагм (5), каждой из которых приписываем тот же номер, под которым она выступает, как мы увидим ниже, в модели НС (синтагмы 1 и 4, наличествующие в модели НС, в модели ЧП отсутствуют).

$$5) \quad \begin{array}{l} 1. - 2. R_n A_c^a \leftarrow N_y^a; \quad 3. V_n \rightarrow N_n^n; \quad 4. - 5. V_n \rightarrow P_y N_y^d; \\ 6. B_n \leftarrow V_n; \quad 7. V_n \leftarrow N_n^n. \end{array}$$

II. 2. Анализ предложений в терминах известной модели НС сопряжен со многими трудностями, на которые уже указывалось в лингвистической литературе. Эти трудности снимаются отчасти благодаря введению некоторых усовершенствований, идущих, в основном, по линии выявления типов непосредственной синтаксической связи (НСС) между НС предложения и их синтаксических функций (СФ)⁸, а также по линии разграничения ступеней анализа по НС с маркировкой синтаксических разрядов и дистрибутивных классов синтагм, а также сочетаемостных формул.

Применив формальную процедуру выделения типов НСС на основе «одинаковости или неодинаковости синтаксических функций всей группы в целом и ее непосредственно составляющих»⁹, которая устанавливается методом субституции, т. е. путем подстановки одной НС вместо всей группы в целом, мы обнаружили три типа НСС (подчинение, предикация и интерденденция) и пять типов СФ слов, находящихся в НСС (ядро, адьюнкт, подлежащее, сказуемое, интердендент).

А. Если синтаксическая функция одного из слов совпадает с СФ всего словосочетания, в которое входит данное слово, то составляющие этой синтагмы находятся в п о д ч и н и т е л ь н о й НСС. Слово, совпадающее

⁸ Л. С. Бархударов, указ. соч., стр. 31—32.

⁹ Там же, стр. 35.

с СФ всей подчинительной синтагмы, выступает в СФ ведущего члена или я д р а, а слово, не совпадающее с СФ всей подчинительной синтагмы, выступает в СФ зависимого члена или а д ъ ю н к т а. Например, *Gestern las er ein Buch* = *Gestern las er*, но * *Gestern er ein Buch* «Вчера он читал книгу» = «Вчера он читал», но * «Вчера он книгу». Следовательно, слова *las* «читал» и *ein Buch* «книгу» образуют подчинительную синтагму, между составляющими которой существует подчинительная НСС. Мы устанавливаем, что в предложении *Gestern las er in der Bibliothek ein sehr interessantes Buch* «Вчера он читал в библиотеке очень интересную книгу» слова *las*, *ein Buch*, *interessantes* выступают в СФ ядер, а слова *gestern*, *in*, *der Bibliothek*, *ein Buch*, *interessantes*, *sehr* выступают в СФ адъюнктов. Мы видим, таким образом, что некоторые слова (*ein Buch*, *interessantes*) попали одновременно и в разряд ядер, и в разряд адъюнктов. Это значит, что по отношению к подчиняющим словам они выступают в СФ адъюнктов, а по отношению к зависимым словам они выступают в СФ ядер. Мы, таким образом, пришли к выводу, что не только подчиненный член выступает в СФ (адъюнкта) по отношению к подчиняющему члену, но и подчиняющий член выступает в СФ (ядра) по отношению к подчиненному члену.

Б. Если СФ ни того, ни другого слова не совпадает с СФ всего словосочетания, то эти слова образуют взаимозависимую бинарную синтагму, непосредственно составляющие которой находятся, пользуясь терминологией Л. Блумфилда, в э к з о ц е н т р и ч е с к о й НСС, выступая в СФ э к з о ц е н т р о в. Например, *Er las ein Buch* «Он читал книгу» = * *Er ein Buch* * «Он книгу», * *Las ein Buch* * «Читал книгу»; *Er las ein Buch in der Bibliothek* «Он читал книгу в библиотеке» = * *Er las ein Buch in* * «Он читал книгу в», * *Er las ein Buch der Bibliothek* * «Он читал книгу библиотеке». Интуитивно мы ощущаем, тем не менее, что между синтагмой *Er las* «Он читал» и синтагмой *in der Bibliothek* «в библиотеке» имеется различие. Однако на уровне НСС, определяемой на основе формальной процедуры путем подстановки одной НС вместо всего словосочетания, эту разницу мы вскрыть не можем¹⁰. В примере *Er las* мы имеем дело с и о д л о ж а щ и м и с к а з у е м ы м — непосредственно составляющими предикативной синтагмы. В примере *In der Bibliothek* мы имеем дело с и н т е р д е п е н т а м и — непосредственно составляющими интердепендентных синтагм. К этому выводу мы приходим на основе той же формальной процедуры, выйдя, однако, за пределы НСС между отдельными словами. Например, *Er las in der Bibliothek ein Buch* «Он читал в библиотеке книгу» = *Er las ein Buch* «Он читал книгу», но * *Er in der Bibliothek ein Buch* * «Он в библиотеке книгу». Очевидно, составляющая *las* «читал» предикативной синтагмы *Er las* «Он читал» выступает в СФ ядра по отношению к синтагме *in der Bibliothek* «в библиотеке», а синтагма *in der Bibliothek* «в библиотеке»¹¹ выступает в СФ адъюнкта по отношению к ядру *las* «читал». В то же время ни синтагма *Er las*, ни ее НС не выступают в СФ адъ-

¹⁰ Не случайно некоторые исследователи относят подобные словосочетания к одному и тому же типу синтаксической связи: нексус у О. Есперсена, экзоцентрические конструкции у Л. Блумфилда, взаимоподчинение у И. И. Резвина, предикация у Л. С. Бархударова.

¹¹ В полном соответствии с условиями формальной процедуры в аналитических конструкциях выделяются только интердепенденты. Иногда в аналитических конструкциях выделяют ведущий и зависимый член путем простой «договоренности» относительно того, что считать главным, а что — зависимым. Например, Е. В. Падучева в словосочетании «предлог + существительное» главным словом считает предлог. И. А. Мельчук трактует предлоги двояко: и как «значимые» единицы, подчиняющие существительное, и как «служебные» единицы, зависящие от существительного, с которыми они соотношены (см.: Е. В. Падучева, О способах представления структуры предложения, ВЯ, 1964, 2, стр. 101; И. А. Мельчук, Автоматический синтаксический анализ, 1, Новосибирск, 1964, стр. 23).

юнктов. Подлежащее и сказуемое как два экзоцентра предложения всегда суть ядра по отношению к остальным НС предложения. Можно сказать, что подлежащее и сказуемое — конечные составляющие предложения, в то время как интердепенденты — непосредственно составляющие синтагмы, которая может образовать структурную основу предложения только при определенных условиях.

Между подчинительной и интердепендентной НСС, с одной стороны, и предикативной НСС, с другой стороны, существует, разумеется, более глубокое различие, чем то, которое обнаруживается на основе формальной процедуры. Выделяя два типа связи — подчинительную связь, образующую подчинительное или непредикативное словосочетание, и предикативную связь, образующую предикативные сочетания слов, — Н. Ю. Шведова показала, что различие между ними лежит не в пределах поверхностной синтаксической структуры предложения, определяемой на основе формальной процедуры, а в системных парадигматических и связанных с ними семантических различиях. Различительным признаком предикативных сочетаний слов служат лежащие за пределами форм слов (очевидно, и всех формальных показателей, на основе которых слова объединяются в предложение — типов НСС и их форм выражения) категории синтаксического времени и объективной модальности¹². Различие между подчинительной и предикативной связью, устанавливаемое на основе формальной процедуры, есть лишь частное проявление принципиального различия между ними, устанавливаемого за пределами типов НСС.

Разница между предикативной и интердепендентной НСС состоит, следовательно, в том, что а) составляющие предикативной синтагмы (подлежащее и сказуемое) выделяются как конечные НС предложения, от которых зависит все остальные НС, в то время как интердепенденты выступают только в СФ адъюнкта по отношению к своему ядру, б) предикативная синтагма выделяется на первом уровне членения: интердепендентная синтагма, напротив, может быть синтагмой любого уровня членения, кроме первого.

В. Большинство исследователей выделяет еще один тип синтаксической связи — сочинительную связь. Однако последовательное применение тех же формальных процедур отвергает сочинительную связь как НСС. При сочинительной «синтаксической» связи эта связь существует не между «сочиняющимися» словами, а между каждым из них в отдельности и третьим словом. Поэтому указанные слова имеют определенную СФ не по отношению друг к другу, а по отношению к третьему члену. Сочинительная связь не объединяет слова в синтагмы или простые синтагмы в более сложные синтагмы, что является необходимой предпосылкой существования синтаксической связи¹³. Если последовательно применить формальный анализ, то к сочинительной связи можно отнести и другие случаи сочетания слов, не относимые традицией к сочинению. Слова, вступающие в сочинительную связь, фактически вступают не в синтаксическую связь, благодаря которой они включаются в предложение, а, напротив, сочетаются семантически в пределах одного и того же предложения и, следовательно, относятся к компетенции семантического наполнения предложения. Если подчинение предикация и интердепенденция — обязательные НСС, то сочинение долж-

¹² См.: Н. Ю. Шведова, Синтаксис словосочетания и простого предложения, сб. «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 138—139; е е ж е, Активные процессы в современном русском синтаксисе, М., 1966, стр. 3.

¹³ Ср.: Ю. Д. Апресян, указ. соч., стр. 175; Н. Ю. Шведова, Синтаксис словосочетания и простого предложения, стр. 133.

но рассматриваться как факультативная семантическая сочетаемость, которая не лежит в одной плоскости с предикацией, подчинением и интердепенденцией как типами синтаксической связи и может сосуществовать в любом типе НСС. Например, в предикативной связи между подлежащим и сказуемым: англ. *Professor Smith came in* «Вошел профессор Смит» = *The Professor came in*; *Smith came in*, в подчинительной связи между ядром и адьюнктом: нем. *ein kleines schäbiges Haus* «маленький ветхий дом» = *ein kleines Haus*; *ein schäbiges Haus*, в интердепендентной связи между двумя интердепендентами: нем. *Der Nebel stand über Feldern und Wiesen* «Туман стоял над полями и лугами» = *Der Nebel stand über Feldern*; *Der Nebel stand über Wiesen*. Слова, вступающие в сочинительную связь как особый тип семантической сочетаемости, имеют определенные семантические ограничения. Можно, по-видимому, установить различную степень «прочности» семантического сочинения между «сочиняющимися» словами, которая, однако, должна быть установлена какими-то объективными критериями.

Г. Представим теперь анализируемое предложение в терминах модели НС с учетом установленных выше типов НСС и СФ слов¹⁴.

- (6) 1. $R_n + A_c^a = A_c^{a15}$; 2. $A_c^a + N_y^a = N_y^a$; 3. $N_y^a + V_k = V_k$;
 4. $P_y + N_y^d = P_y N_y^d$; 5. $P_y N_y^d + V_k = V_k$; 6. $B_n + V_k = V_k$;
 7. $V_k + N_k^n = V_k N_k^n$.

В анализируемом предложении содержится семь синтагм, которые в (6) отражены в виде их синтагм с указанием результирующего члена или ядра. Представленная модель НС в виде (6) не позволяет установить некоторые синтаксические параметры слов, например, их ранг зависимости от предикативных членов — подлежащего и сказуемого. Известно, что количество уровней членения в модели НС зависит от величины предложения. Поэтому основная характеристика, например, неизменяемых слов — синтаксическая (их морфологическая характеристика несущественна, так как само понятие неизменяемых слов связано с их аморфностью) — не имеет постоянства ввиду того, что одни и те же слова в модели НС могут обладать разными синтаксическими признаками, в зависимости от сложности предложения. Кроме того, модель НС, представленная в виде правил подстановки (6), является громоздкой.

Так как в каждой бинарной синтагме в силу членения по НС уже определены ядро и адьюнкт, то схему (6) можно упростить. Например, синтагмы 1, 2, 3, 5, 6 можно записать, соответственно, как

1. $R_n \leftarrow A_c^a$; 2. $A_c^a \leftarrow N_y^a$; 3. $N_y^a \leftarrow V_k$; 5. $V_k \rightarrow P_y N_y^d$; 6. $B_n \leftarrow V_k$, из которых явствует, что A_c^a , N_y^a , V_k — ядра, а R_n , A_c^a , N_y^a , $P_y N_y^d$, B_n — адьюнкты.

В связи с тем, что ни одна из двух НС в синтагмах 4 и 7 не является ни ядром, ни адьюнктом, т. е. не образуют подчинительной синтагмы, их можно записать как 4. $P_y \leftrightarrow N_y^d$; 7. $N_k^n \leftrightarrow V_k$. Модель НС (6) можно, следовательно, представить в виде (7).

- (7) 1. $R_n \leftarrow A_c^a$; 2. $A_c^a \leftarrow N_y^a$; 3. $V_k \rightarrow N_y^a$; 4. $P_y \leftrightarrow N_y^d$;
 5. $V_k \rightarrow P_y N_y^d$; 6. $B_n \leftarrow V_k$; 7. $N_k^n \leftrightarrow V_k$.

¹⁴ Анализ по НС проводится здесь до уровня слов только в виде «правил подстановки» (6).

¹⁵ Запись $R_n + A_c^a = A_c^a$ обозначает, что члены R_n и A_c^a образуют подчинительную синтагму, в которой результирующий член A_c^a является ядром, а R_n — адьюнктом. Запись $P_y + N_y^d = P_y N_y^d$ и $N_k^n + V_k = N_k^n V_k$ означает, что оба слова бинарной синтагмы находятся в экзосентрической синтаксической связи.

Изолированные бинарные синтагмы, представленные в (7) вне связи одна с другой, должны быть теперь объединены в систему по их взаимным отношениям на основании повторения в каждой синтагме общей для них НС. Тем самым мы: а) представим все синтагмы в виде единой системы с взаимными связями между ними, б) упростим каждую синтагму за счет устранения повторения одной и той же НС в различных синтагмах. Например, в схеме (7) в синтагмах 1, 2 общая для них НС A_c^a , в синтагмах 2, 3 общая для них НС N_y^d , в синтагмах 3, 5, 6 общая для них НС V_k (при наличии одного и того же типа НСС) редуцируются путем объединения всех синтагм в единую структурную схему с сохранением в них тех же НСС.

$$(8) \quad N_k^n \leftrightarrow V_k \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow B_n \\ \rightarrow P_y \leftrightarrow N_y^d \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow N_y \rightarrow A_c^a \rightarrow R_n \end{array} \right. \end{array}$$

Сохранив распределение слов так, как оно дано в анализируемом предложении, схему (8) можно представить в виде структурно-функциональной модели (СФМ) (9).

$$(9) \quad \begin{array}{ccccccc} B_n & \leftarrow & V_k & \leftrightarrow & N_k^n & P_y & \leftrightarrow & N_y^d & R_n & \leftarrow & A_c^a & \leftarrow & N_y^a \\ \hline & & \longleftarrow & & \longleftarrow & & & & & & & & \uparrow \end{array}$$

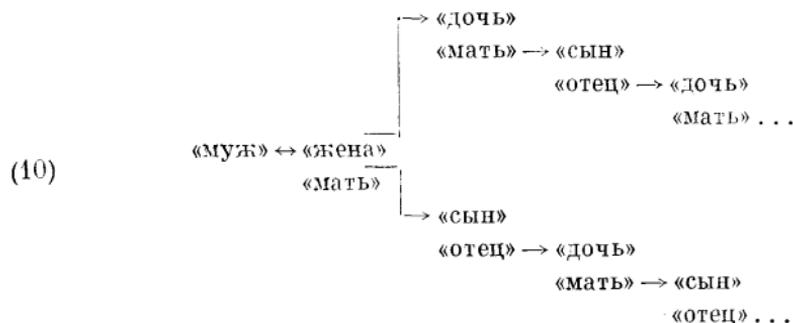
Сопоставив теперь СФМ (4) и СФМ (9), мы увидим, что схемы (4) и (9), будучи репрезентацией моделей ЧП (4) и НС (9), не имеют принципиальных отличий: 1) обе модели репрезентируют предложение в виде иерархической структуры; 2) в них отражаются формы реализации подчинительной связи в виде управления, примыкания, согласования; 3) в единицах обеих моделей отражается их подробная морфологическая характеристика; 4) в моделях ЧП и НС учитывается взаимное распределение единиц, конституирующих предложение.

Различия между СФМ (4) и (9), репрезентирующих модели ЧП и НС, сводятся лишь к разпознавательной силе той и другой модели. Модель ЧП (4) не проявляет последовательности при выявлении единиц предложения: в качестве таковых могут выступать как отдельные слова, так и сочетания слов. Модель НС (9) позволяет членить предложение до любого уровня, вплоть до фонем. Если бинарные синтагмы, добытые в СФМ (4), сопоставить с синтагмами, добытыми в СФМ (9) (или синтагмы модели ЧП (5) сопоставить с синтагмами модели НС (7), в которых одни и те же синтагмы показаны под одинаковыми номерами), то можно установить, что СФМ (4) не различает синтагм 1. $R_n \leftarrow A_c^a$ и 4. $P_y \leftrightarrow N_y^d$, которые выступают в виде единого «члена предложения» ($R_n A_c^a$), ($P_y N_y^d$). СФМ (9), будучи в этом отношении более сильной, вычленяет в традиционных ЧП ($R_n A_c^a$), ($P_y N_y^d$) по две самостоятельных НС с определенной синтаксической функцией каждой из них. Тем самым СФМ (9) может приписать любому слову соответствующие его рангу синтаксические параметры, что является особенно важным для установления синтаксических параметров многих неизменяемых слов, не распознаваемых как самостоятельные ЧП путем постановки вопросов.

Д. Хотя постулированная СФМ (9) более точно отражает структуру синтаксических единиц, чем известные модели ЧП и НС, тем не менее она не лишена недостатков, восходящих к моделям ЧП и НС. В модели ЧП заключено противоречие между линейным характером номенклатуры ЧП и фактическим иерархическим анализом предложения. Номенклатура же

НС, будучи односторонней, отражает не синтаксические функции единиц предложения, а иерархическую последовательность членения предложения, иерархическое включение слов в предложение и не имеет содержательного характера. Нельзя сказать, что единицы, добытые в СФМ (9) (подлежащее, сказуемое, ядро, адьюнкт, интердепендент), полностью соответствуют иерархической структуре элементов предложения. Они также несколько односторонни. Их односторонность более наглядно можно вскрыть на основе сопоставления терминов СФМ с терминами членов родства, в самой номенклатуре которых отражена иерархическая структура отображаемых ими объектов. Каждый термин родства сам по себе обладает функциональным значением, которое возникло в противопоставлении другому термину в системе. Термин членов родства автоматически указывает на противочлен и, таким образом, на свое место в системе членов. Следовательно, термины родства имеют не линейный, а иерархический характер, отражая иерархический характер явлений действительности.

Термины родства, отображающие иерархическую соподчиненность членов, могут быть изображены на схеме (10) в виде ярусных «непосредственных родственных связей».



Один и тот же член родства может иметь различные функции в зависимости от того, с каким членом устанавливается связь. Соотносясь с членом родства «подчиненного» поколения, это — один член. Соотносясь с членом родства «подчиняющего» поколения, это — другой член. Кроме того, один и тот же член родства может выступать в различной функции, в зависимости от того, в связи с каким членом он рассматривается — при «непосредственной родственной связи» или при более отдаленной связи. Если в СФМ (9) мы хотим сохранить аналогичную иерархическую соподчиненность номенклатуры, которая отражала бы иерархический характер репрезентируемых единиц, то вместо линейной номенклатуры «членов предложения» и односторонней номенклатуры «непосредственно составляющих» необходимо ввести иные термины, которые отражали бы структуру реальных объектов¹⁶.

Цепочка терминов модели ЧП «подлежащее» — «сказуемое» — «дополнение» — «определение» и модели НС «подчиняющий член» — «под-

¹⁶ Можно, в принципе, ввести структурные термины «членов предложения», которые отражали бы не только непосредственные синтаксические связи (НСС), но и более отдаленные синтаксические связи, например, по образцу терминов родства: «бабушка» → «внучка». Из этой связи членов родства мы сейчас заключаем, что между ними нет «НСС», что между связываемыми терминами отсутствует промежуточный член с определенной функцией по отношению к подчиненному члену и с определенной функцией по отношению к подчиняющему члену. Надо, однако, помнить, что при экспликации промежуточного члена происходит сразу же автоматическое переименование и двух крайних членов.

чиненный член» не соответствуют реальному членению синтаксических единиц и должны быть представлены в виде ярусных цепочек модели ЧП (11) и модели НС (12).

- (11) «подлежащее» → «сказуемое»
 «ведущий член» → «зависимый член»
 «ведущий член» → «зависимый член» . . .
- (12) «подлежащее» ↔ «сказуемое»
 «ядро» → «адьюнкт»
 «ядро» → «адьюнкт»
 «ядро» . . .

Однако цепочки терминов (11) и (12), отражающие фактическую иерархическую соподчиненность единиц предложения, по их наименованию отражают лишь их НСС в структуре предложения, но не их место в этой структуре. Чтобы сохранить иерархию единиц, конституирующих предложение, необходимо ввести содержательные термины, которые по их номенклатуре, подобно номенклатуре членов родства, отражали бы иерархическую структуру предложения. Со временем, возможно, языковеды введут такие термины. Здесь мы сделаем попытку решить эту проблему путем введения понятия позиции члена.

Чтобы избежать громоздкости схемы, в которой бы единицы предложения обозначались в виде ярусов одновременно как сказуемое и как ядро, вводим понятие *п о з и ц и и* члена или ранга его зависимости от предикативных членов как членов первой позиции.

Позиция слова определяется не на основе членения предложения по НС. В этом случае невозможно было бы установить истинную позиционную ценность НС, ибо она зависит от сложности предложения, которое может обладать любым количеством уровней членения по НС.

Позиция слова — это расстояние, определяемое на основе его ранга или «шага» зависимости от предикативных членов — от «подлежащего» или от «сказуемого», которые, будучи независимыми от каких бы то ни было членов, являются членами первой позиции. Чем большее количество «шагов» отделяет искомый член от членов первой позиции — подлежащего и сказуемого, — тем больший номер имеет позиция члена. Позиция члена бинарной синтагмы определяется в порядке подчиненности как ранг зависимости от предикативных членов на основе СФМ (9), отражающей только НСС между словами и их СФ.

На основе понятия позиции слова можно теперь указать на коренное отличие предикативной синтагмы от интердепендентной синтагмы, входящих в одну и ту же — экзоцентрическую НСС. Члены предикативной синтагмы — подлежащее и сказуемое — занимают всегда первую позицию ($Er\ las = N_{\pi 1}^n \leftrightarrow V_{\pi 1}$), в то время как интердепенденты занимают вторую и выше позиции ($in\ der\ Bibliothek = P_{\nu 2} \leftrightarrow N_{\nu 2}^d$). При экзоцентрической НСС различительным признаком для подлежащего, сказуемого и интердепендентов служит, следовательно, номер позиции.

III. 1. Теперь, с учетом классов слов, формирующих исследуемое предложение, их распределения относительно друг друга, типов НСС (подчинение, предикация, интердепенденция), форм выражения НСС в виде координации, согласования, управления, примыкания, типов СФ (подлежащее, сказуемое, ядро, адьюнкт, интердепендент) и позиций единиц анализиру-

емое предложение можно представить в виде (13).

$$(13) \quad B_{n_2} \leftarrow V_{\kappa 1} \leftrightarrow N_{\kappa 1}^n \quad P_{\mu 2} \leftrightarrow N_{\mu 2}^d \quad R_{n_4} \leftarrow A_{c3}^a \leftarrow N_{\mu 2}^a$$

СФМ (13) по сравнению с (9) является более информативной, так как несет исчерпывающую синтаксическую информацию о репрезентируемом предложении: в ней отражена дистрибуция всех без исключения слов определенных классов, их непосредственные синтаксические связи и способы выражения этих связей, их синтаксические позиции. Тем самым построена структурно-функциональная модель (СФМ) предложения. В терминах постулированной СФМ можно было бы записать идентичное или любое иное предложение других германских языков (англ. *Yesterday he read a very interesting book in the library*, швед. *J går läser han en synnerligen intressant bok in bibliotek*).

Предложенная здесь СФМ сохраняет все положительные признаки моделей ЧП и НС. Кроме того, СФМ усиливает модель ЧП и НС: а) путем введения трех типов синтаксической связи — подчинительной, предикативной и интердепендентной, исключая сочинительную связь как связь не синтаксическую; б) путем значительного упрощения модели ЧП и НС благодаря отражению в ней лишь НСС между словами; в) путем разрешения противоречия между номенклатурой единиц предложения и фактическим иерархическим членением предложения в модели ЧП и устранением одно-стороннего характера единиц предложения в модели НС.

Мы не ставим перед собой цель создать теорию предложения и связанных с ней многих явлений синтаксиса, а только установить поверхностную синтаксическую структуру предложения и способы ее представления в виде СФМ. Однако поверхностная синтаксическая структура предложения, представленная в СФМ, от этого не становится одноярусной или плоскостной. Объемный или многоярусный (многоаспектный) характер предложения сужается здесь лишь за счет того, что синтаксическая структура предложения рассматривается безотносительно к категориям синтаксического времени и объективной модальности. Необходимо подчеркнуть, что представленная здесь СФМ значительно отличается от других моделей поверхностной структуры предложения. СФМ поглощает, например, модель грамматики зависимостей, решающей, в основном, типы синтаксических связей без указания степени «близости» связей, и модель грамматики НС, решающей, в основном, порядок объединения элементов без указания направленности связей¹⁷.

На основе СФМ можно решать многие грамматические проблемы языка. СФМ можно использовать, например, при определении структурно-функциональных параметров слов любого класса, добытого традиционными методами, и тем самым уточнить границы традиционных «частей речи». СФМ может особенно облегчить задачу исследователя при определении «неизменяемых частей речи», выделенных во всех языках преимущественно на основе семантических критериев.

Разумеется, в зависимости от поставленной задачи, можно использовать только фрагменты СФМ. Можно изучать или лишь дистрибуцию слов определенных классов, или их НСС, или грамматические способы реализации НСС, или, наконец, синтаксические позиции каждого класса слов безотносительно к их НСС и способам их выражения. СФМ может представить информацию в любом из заданных ею параметров синтаксических структур.

¹⁷ См.: Е. В. Падучева, указ. соч.; С. Я. Фиталов. Об эквивалентности грамматик НС и грамматик зависимостей, сб. «Проблемы структурной лингвистики. 1967», М., 1968, стр. 79.

Однако исчерпывающую характеристику синтаксических единиц и, следовательно, всех слов, их составляющих, может представить лишь СФМ в целом как модель поверхностной структуры предложения¹⁸. На основе СФМ каждому слову можно приписать определенный индекс, в котором будут отражены его синтаксические параметры. Общность индексов слов свидетельствует об общности их синтаксических параметров, что является достаточным основанием для объединения слов в классы. Если множество предложений одного и того же языка рассмотреть в терминах СФМ, то мы установим все наиболее существенные синтаксические параметры неизменяемых слов, которые, в силу своей аморфности, т. е. лишенности признаков морфологического состава в смысле морфологического состава изменяемых слов, могут распознаваться как классы только на синтаксическом уровне. Отсюда — реальная возможность объединения неизменяемых слов в классы по общности их структурно-функциональных параметров, добытых на основе строгой процедуры в терминах СФМ. СФМ, постулированная на материале германских языков, может быть использована для анализа синтаксических структур и в языках других систем.

¹⁸ СФМ как модель поверхностной структуры предложения отражает лишь грамматические отношения между словами, но не логико-семантические отношения между предметами. Т. П. Ломтев, например, построил формулу предложения, которая отражает логико-семантические отношения между предметами (см.: Т. П. Л о м т е в, Принципы построения формулы предложения, ФН, 1969, 5).

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. П. ДУЛЬЗОН

ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ СОСТОЯНИЯ
В УРАЛО-АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ

1. Целый ряд особенностей в грамматическом строе урало-алтайских языков, не объяснимых из одних этих языков, получает удовлетворительное обоснование при предположении, что все эти языки восходят к языку полисинтетического типа, который реконструируется по данным группы енисейских языков, живым представителем которых является кетский¹. Одной из таких особенностей являются рефлексы прото-енисейских глагольных форм состояния.

2. Как известно, в кетском языке по наличию особых аффиксов формообразования у глагола различаются формы действия и формы состояния; первые изображают процесс как произвольно выполняемое действие, приводящее к появлению предмета или к его изменению, а вторые представляют процесс как неизменно возникший, нереальный или как действие, вызвавшее иное состояние предмета воздействия. Так как особые грамматические показатели форм состояния имеются во всех енисейских языках, то можно допустить их наличие уже для прото-енисейского времени. Рассмотрим из этих показателей только один — аффикс *и*, который связывается с глаголом бытия, восходящим, по-видимому, к слову со значением «здесь, тут»².

3. Аффикс состояния *и* в кетском языке может стоять в начале слова, в середине и в конце; его можно рассматривать как определение той части глагольного слова, после которой он находится. Например: а) *ди-й-оң* «я пухну», *ку-й-оң* «ты пухнешь», *ду-й-оң* «он пухнет» (здесь *ди* «я», *ку* «ты», *ду* «он», *оң* «опухать»); б) *д-т-а-й-то* «я засовываю его вверху», *д-т-и-й-то* «я засовываю ее вверху» (здесь *д* «я», *а* «его», *и* «ее», *то* «вверх толкать», *т* — директивный аффикс); в) *даабидо* «сбрею это (еще не начал, намереваюсь)», ср. *даабидо* «брею это (уже начал)»; в обоих формах совпадает начало: *д-а-аб-и*, где *д* «я», *а* «прочь», *аб* — показатель пассива для объекта «волосы», *и* — показатель времени, *до* «удалять, срезать сверху» (форма действия), *дой* — форма состояния того же глагола.

4. Для правильного понимания форм состояния важно установить соотношенность аффикса *и* с субъектом или объектом действия. Когда аффикс находится в начальной части слова, т. е. после первого гласного, он соотношен с субъектом действия в том случае, если глагол имеет в настоя-

¹ См. об этом: А. П. Дульзон, Гипотеза об отдаленном родстве урало-алтайских языков с индоевропейскими. «Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Материалы межвузовской конференции 11—13 мая 1969 г.», Томск, 1969, стр. 108; е го же, Общность глагольных форм индоевропейских языков с урало-алтайскими, «Вопросы лингвистики» («Уч. зап. [Томского ун-та]», 75), 1969.

² См. об этом: А. П. Дульзон, Кетский язык, Томск, 1968, стр. 275.

щем времени полные личные префиксы (*ди-*, *ку-*, *ду-*), например: *дийус'* «согреваюсь», *дийе* «сделаюсь», *дийбет* «занят деланием», *дийгут* «возношусь, шаманю», *дийак* «схожу и вернусь», *дийгок* «взлетаю», *дийд'аиң* «болею», *дийУол'* «излечиваюсь от раны», *дийс'ул'* «кудри себе делаю», *дийфот* «ожидаю это», *дийак* «сгнию». Это — синтетическая форма настоящего времени простого глагола.

Если глагол имеет усеченные личные префиксы (*д-*, *к-*, *д-*), то он может быть простым переходным или сложным, и тогда аффикс состояния *и* соотносится с объектом или превербом (наречным уточнителем), например: *дайс'* «он одевает его» (*д-* «он», *а* «его», *ис'* «одевать»), *дийис'* «он одевает ее», *дбайис'* «он одевает меня», *дкуйис'* «я одеваю тебя», *байис'* «я одет», *куйис'* «ты одет», *айис'* «он одет», *дуйбет* «я поставлю это (одно)» < *до-и-б-ет*. В последнем примере показатель состояния совпадает с показателем времени: «стоя есть (*о-и*) это (*б*) сделаю» (*д...ет*). Такое совпадение наблюдается также во многих других случаях, например: *д-ут-а-й-а-к* «я держу его» (*ут-а-и* «удержанный он», *д...ак* «делается мною», ср. *дутаңилак* «я удерживал их», *ут-аң-и* «удержанные они», *л* — аффикс прошедшего времени). Нередко одна глагольная форма содержит два показателя времени, например, форма *дуснабе* < *д-о-с-ин-а-бе* «ставлю это (много)» содержит впереди показатель времени (состояния) *и*, который относится только к объекту (*ос-и* «стоящее есть», *ос-ин* «стоящие суть»), и аффикс *а*, относящийся к объекту и глаголу в целом (смысловая форма с этим же значением содержит один вокалический показатель времени: *дунагет* «поставлю их»).

Когда аффикс *и* находится в середине слова, он почти всегда относится к объекту, например: *идиңуксейбет* «это написано», ср. *индиңуксебет* «напишет это»; *саУайбет* «можно, позволено, сказано (разрешено) это», ср. *саУабет* «скажет это»; *д-кимбайбет* «я женат, с женой живу» (*ким* «жена», *ба* «меня», *бет* «сделан»). В последнем примере аффикс состояния (бытия) сочетается с объектным показателем, в других случаях он сочетается с рефлексивными аффиксами, например: *д-дон'дийбет* «я с ножом, у меня нож есть», *г-дон'гуйбет* «ты с ножом, у тебя нож есть».

В конце слова аффикс состояния, как правило, соотносится с объектом, например: *днәңатей* «раскачиваю их», ср. *днәңатет* «наклою их»; *һәтәтуҮобей* «попробую переломать это», ср. *һәтәтуҮобет* «переломать это»; *д-тоҮаҮай* «позволь послать», ср. *д-тоҮаҮет* «послать»; *устедабай* «это может быть расколото», ср. *устедабет* «это расколется»; *кетлибай* «стелить это можно», ср. *кетлибет* «стелит это»; *д-һабей* «убираю это», ср. *һабетет* «это отделится»; *кәбоҮой* «закрывается, это можно закрыть», ср. *кәбоҮот* «закрыто это»; *дес'кен'кабедей* «прищуриваю глаза», ср. *дес'кен'кабедө* «закрываю глаза».

5. Когда внутри слова имеется субъектный показатель, то может оставаться неясным, с чем соотносится следующий за ним аффикс состояния — с субъектом (активное восприятие) или с объектом (пассивное восприятие), например: *дуондейс'а* может означать «потушенный кем-то» или «загущивший». Иногда и в конечной позиции аффикс *и* относится к субъекту глагола. Обычно это видно по внутреннему контексту (т. е. по конкретному набору морфем в данном слове), например: *д-һайей* «я зарежусь» — *д-һаҮей* «я зарежу», *һал'сий* «сгибаться» — *һал'дий* «сгибать», *һал'бий* «сгибается это» — *һал'гий* «загибать это». Конечно, и во многих других случаях внутренний контекст обеспечивает правильное понимание слова, например: *бинтаң* «вращал это» — *бинтаң* «вращалось это», *олкиндет* «одежь меня» — *оланкиндет* «раздень меня». Но внутренний контекст нередко бывает недостаточен для правильного понимания слова и нужен еще внешний контекст — узкий, когда достаточно знать одно или два слова возле данного, или широкий — когда необходима целая фраза или несколько фраз. Приведем при-

меры. Слово *дуйбет* может означать «я поставлю это», «он поставит это» или «он занят этим». Если добавить местоимение *ад* «я», то получится значение «я поставлю это». Если ограничиться прибавлением местоимения *бу-д* «он», то форма оставит две возможности перевода до дальнейшего расширения контекста, например: *бу дои дуйбет* «он занят изготовлением ножа», *бу сеске хо'ң дуйбет* «он на речке сеть ставит». Другой пример: *дускадде* «я грею себя», «он греет меня», *ду : скаддей* «я согреваю себя», «он согревает меня». Двусмысленность устраняет личное местоимение: *ад ду : скадде* «я грею себя», *бу ду : скадде* «он греет меня».

6. Главную трудность в процессе выявления рефлексов былого полисинтетического строя в современных урало-алтайских языках представляет собой идентификация тех же самых единиц в словах иного построения. Для ее преодоления необходимо: а) хорошо знать построение исходного полисинтетического слова и возникшего из него слова агглютинативного типа, б) сопоставлять только функционально равнозначные элементы, в) учитывать типологические различия сравниваемых языков и хотя бы приблизительно установить их место в процессе развития из типа полисинтетического в агглютинативно-суффилирующий.

7. Древнейшим этапом (I) в развитии для нас в данном случае является восстанавливаемый доенисейский язык классного типа. Следующий этап (II) показывают те из енисейских языков, которые частично сохранили классное построение (кетский и пумпокольский). Другие же енисейские языки (аринский, ассанский и котский) перестали быть классными (III этап)³.

Именно к ним примыкает протоурало-алтайский язык (IV этап). На II этапе префигируются показатели лица, объекта, времени и состояния, а суффируются показатели вида, состояния и числа глагольного действия; на III этапе префигируются аффиксы объекта, времени и состояния, а суффируются аффиксы вида, состояния, лица и числа глагольного действия. На IV этапе суффируются все грамматические показатели. Рассмотрим теперь некоторые вопросы методики сопоставления.

8. Чтобы получить максимально точные результаты, сопоставление необходимо производить по функционально однозначным единицам, доводя анализ до всех отдельных звуков в составе каждой формы. Приведем пример из области форм склонения. Местный падеж на *-ka* в суперэссивном значении имеет в кетском языке окончание *и* (форма состояния), например: *тапкай оУатн* «он на собаках (*тап-ka*) находясь (*и*) едет». Изначально это были два аффикса с разным значением — в сымском диалекте кетского языка они срослись воедино, имея значение инессива или адитива (например: *сескей* «в реке, в реку»). Наличие местно-личного падежа на *даң-а*, в котором лативное значение связано с конечным *-а* этого окончания, позволяет предположить, что суффикс *-ka* — сложный (*-k-a*), а не восходит к самостоятельному слову «внутри, дома».

Орудно-совместный падеж оканчивается в имбатском на *-ас'*, в сымском на *-фас'*. Встречающаяся форма на *-фай* (*и'нфас'*, *и'нфай* «иглой», им. падеж *и'н*) выявляет эти окончания как предикативные. Начальный согласный этого падежного аффикса входит в ряд чередования *n ~ ф ~ h ~ нуль*. Непредикативная форма окончания этого падежа представлена в следующих примерах: *ходоба т-кылдантет* «он хвостом (*ходоб-а*) бьет»; *д'иУа доктабулгет* «я смолой (*д'ика-а*) помазал это»; *бу т'оңа ра: ва* «она волосы (*т'оң-а* «волосом») заплетает»; *еУаңана де сесте* «она на цепях сидит» (*еУаңан* «цепи»); *ес улгерица уУет* «крупный дождь идет» (*улгериц* «дождь»).

³ А. П. Дульзон, Группа енисейских языков, ФН, 1970, 5.

Окончание родительного падежа *-да*, *-ди* встречается в составе окончаний ряда падежей (дательного, местно-личного, исходного и назначительного) в вариантах *-даң*, *-диң*, которые содержат предикативный аффикс *ң*, выражающий дльшее состояние.

Можно думать, что окончание *-бес'* продолжного падежа должно члениваться на *-бе-с'*, судя по аналогичным коттским формам: *һу: чиа-пе-аң* «дома, пребывание дома», *һон-пе-аң* «поздним (темным) временем», *били-пе-й* «сколько»; по-видимому, формант *-бес* можно сопоставить с селькупским первым компонентом аффикса пролатива *мъ-т*.

Изложенный принцип анализа позволяет сопоставлять окончания падежей целиком и частями. Например, можно сопоставить кетский предикативный вариант родительного падежа на *-даң*, *-диң* с тюркским на *-һың*, *-һиң*, а непредикативный вариант на *-да*, *-т* с селькупским на *-т*, *-н*.

Наличие в кетском аффикса *-бе-* с медиативным значением (*саҮа-бе-с* «рассказывая») позволяет думать, что тюркское падежное окончание *-на-* с этим значением является древним (ср. чуваш. *самах-на* «словом»), а *-ла* (где оно имеется) — более поздним приращением.

9. При анализе каждое допущение и каждый вывод должны проверяться по ряду звуковых соответствий (междialeктных и межъязыковых, близкого и отдаленного родства), а также по месту всех элементов слова в парадигматических рядах и сериях. Приведем примеры. Поскольку кетскому *д* в функции классного показателя соответствует в тюркских языках *н* (ср. *мән* «я»), в котором *н* восходит к классному показателю *д*), мы в тюркских косвенных падежах на *-һы*, *-һың* (с их вариантами) считаем исходным (общетюркским) звучанием инициали окончания *н*, а не *д* или *т*.

Можно было бы подумать, что в кетском *донайбет* «с ножом он» окончание определяющей подосновы представляет форму состояния продолжного падежа, но этому противоречит то, что *-ай* — компонент парадигматической серии *-бай-*, *-һуй-*, *-ай-* («у меня, у тебя, у него») и т. д.

Можно было бы подумать, что селькупский суффикс *-т* в таких словах, как *таҮыт* «летом» восходит к общеуральскому суффиксу латива на *-т*⁴ (ср. манс. *тумп* «остров» — *тумпът* «на острове»), но этому противоречит тот факт, что *-т* в словах типа *таҮыт* чередуется по диалектам с *-н*, в то время как *-т* латива не чередуется. Следовательно, мы имеем дело с двумя разными *-т* — один из них (окончание латива) восходит к енисейскому *-т*, а другой, как и аналогичный тюркский *-н* (*язын* «летом»), восходит к енисейскому родительному падежу на *-да*, *-ди* (с метатезой).

10. В глагольных формах сопоставимы все компоненты слова, находящиеся между личным префиксом слева и суффиксом числа справа. За исключением тех инкорпорированных компонентов, которые сохраняют ту же форму и вне глагола, например: *бу т-бил'л'а-б-әхәи'т-һыр-һибине* «он всю мою избу выстудил»; ср. *бил'л'ә бәхәи'бо* «де би:р «вся моя изба сторела» (буквально «всю мою избу огонь съел»). В глагольной же форме *д-әхәи'иб-ет* «я дом строю» компонент *әхәи'иб* можно рассматривать как исходную форму для винительного продуцированного объекта в уральских языках.

11. Сопоставление енисейской праформы с урало-алтайской можно считать допустимым, если каждый звук последней разъясняется из праформы (например: якут. *аҮа-та*, кет. *да-ов* «его отец», якут. *аҮа-м*, кет. *б-оп* «мой отец»). Нередко формы одного глагола сильно отличаются друг от друга по расположению тех же самых составных элементов. Так, например, кет. *докбатаабгет* «он вытрет меня (раз)» и *датоңбоҮабет* «он вытирает

⁴ См.: Б. А. Серебряников, Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках, М., 1964, стр. 17.

меня (часто)» на первый взгляд мало похожи, хотя, имея по 12 звуков в своем составе, они фактически различаются только одним звуком — *г* (*k*), выражающим разовость действия, и *н*, выражающим неоднократность. Понимание таких глаголов облегчается учетом родственных форм, например: *докбутайаУет* «он вытирается», *даббет* «он стирает это» и т. п.

12. При сопоставлении следует учитывать, что множество кетских глаголов имеют две параллельных основы, которые можно назвать презентными и претеритальными (подобно немецким *Schreiten* «шагание» и *Schritt* «шаг»). Если презентная основа имеет гласный *a* или *e*, то претеритальная имеет *o*, например: *дак* — *док* «жить»: *доУабет* < *док-абет* «проживаю» (пассив), *док-кидит* «устрою себе жизнь» (каузатив), *док-багаУан* «жить начну» (инхоатив). В других случаях узнать разновидности основ труднее. Так, глагол со значением «одевать(ся)» имеет презентную основу *и*, *ис*, с метатезой — *си*, *си-н*, и претеритальную *ил'*, *д-ил'*, *к-ил'*, например: *д-баУабий* «я оденусь», *ба-ис'-а* «я одет», *дит-сиң* «я одеваюсь», *д-баУиб-дил'* «я надеваю на себя», *д-кил'-уУобет* «я это обычно одеваю». Глагол со значением «есть, кушать» имеет презентную основу *ий* и претеритальную *ил'*, например: *дийба* «я ем это», *д-сий* «я кушаю, питаюсь», *ил'-иң багаУан* «есть начинаю». Глагол со значением «мять» имеет формы *даң* и *лоң*: *дийбдаң* «мну это», *лоң-дабеде* «разминаю это». Глагол со значением «вздрагивать» имеет основы *ок* и *лок*: *дуйок* «он вздрогнет», *лок-абет* «он все время вздрагивает». Вместе с тем иногда наблюдаются значительные расхождения в значении этих основ, например: *hal-дий* «согну», *kaldий* < *k-hal-дий* «сгибаюсь», *koldити* < *k-hol-ди-ден* «наклонюсь», *hol-сий* «сошью» (шубу), буквально «огнибающим сделаю».

13. Итак, употребление аффикса *и* в енисейских языках сводится к двум основным случаям. Соответственно с этим рассмотрим его отражение в урало-алтайских языках — сначала рефлекс енисейского *и* в начальной позиции, когда этот аффикс выражает состояние субъекта, что связано с переходным значением глагола. Поскольку это значение сохранено в урало-алтайских языках, то естественно искать этот аффикс в конце слова, в соответствии с общим правилом аранжировки грамматических показателей (суффиксация) — перед личными окончаниями. Попытка такой реконструкции была произведена на конкретном материале селькупского языка⁵ — это гласный *и*. Когда енисейский аффикс *и* остается в начале слова, то перед гласным он вследствие своей неударности становится консонантом и входит в ряд чередований *j* ~ *д'* ~ *т'* ~ *ч'* ~ *дж'* ~ *ш'* ~ *ж'* ~ *з* ~ *с'* ~ *с*. Например: кот. *д'ат*; др.-тюрк. *jat-*, телеут. *т'ат-*, казах. *джат-*, балк. *зат-*, шор. *чат-*, якут. *сыт*-«лежать». В енисейских языках из этих вариантов представлено только три: *и* — в кетском и пумпокольском, *j* — в асанском и аринском, *д'* — в котском. Следует подчеркнуть, что кот. *д'ат* «лежит» не является заимствованием из тюркских языков потому, что это слово здесь членится (*д'ат* < *и-а-т* ~ *т-а-и* «распростертый»), а в тюркских языках оно не членится; кроме того, *д'* как аффикс времени можно заменить другим аффиксом (*al-ат* «ложись»).

Указанный ряд чередования звуков возводится к алтайскому *j*⁶, к ураль-

⁵ См.: А. П. Дульзон, Опыт исторической интерпретации селькупских глагольных форм, СФУ, 1969, 3.

⁶ М. Р. Я с я н е н, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 150; Б. А. С е р е б р е н и к о в, О некоторых спорных вопросах сравнительно-исторической фонетики тюркских языков, ВЯ, 1960, 4, стр. 67; G. J. R a m s t e d t, Einführung in die altäische Sprachwissenschaft, I, Lautlehre, Helsinki, 1957, стр. 66; N. P o r r e, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, 1, Wiesbaden, 1960, стр. 31.

скому j^7 , к финно-угорскому j^8 и к согласному ʃ в праторкском⁹. Приведем примеры: 1) средневеков.-тюрк. *jok* «подниматься вверх», сары-уйг. *ju* «высоко», тобольск. *juYara* «вверх», хакас. *чоYар*, якут. *со*, кет. *дийок* «взраживаю, вскакиваю», хант. *йокта*, коми *йбктыны* «плясать», удм. *лэг*, коми *йбг* «волдырь»; 2) туркм. *jo:n* «тесать», чул.-тюрк. *jon-*, алт. *д'он-*, кирг. *джон-* «скоблить», балк. *зон-*, тув. *чон-*, чуваш. *с'он-*, кет. *он'ти* < *они-тей* «скобленный»; 3) барабин. *јаң* «эпидемия», монг. *янг* «венерическая болезнь», якут. *дьянг* «болезнь», кет. *д'ашң*, *јайең* «болезнь», *дай-бедиң-абет* «постоянно болею», бурят. *яндан* «негодный», калм. *яң* «костоед» (болезнь), эвенк. *дяк* «болезнь суставов», *дяң* «эпидемическая болезнь»¹⁰; 4) уйг. *ju-*, казах. *джу-*, балк. *зу-*, койб. *juY*, саг. *чу:-*, якут. *су: й-*, чув. *с'у-* «мыть» можно рассматривать как форму состояния, восходящую к енисейск. *уй-*, *йу-*, *ул'и-*, ср. *у-до* «воду (у) пить», *ул'и-ба* «мокнет это», коми *уль* «сырой», кет. *ул'* «сырой»; 5) уйг. *јат-*, казах. *джет-*, балк. *зет-*, алт. *дъет-*, шор. *чят-*, чуваш. *с'ит-* «достигать» можно рассматривать как форму состояния к кет. *ат-* «(отправиться) за, до»; 6) уйг. *јуY*; венг. *gyűjt-* «собирать»¹¹, кет. *ди-ий-ебет* «собираю это»; 7) туркм. *јувит-*, чагат. *јут-*, алт. *дъут-* «проглотить», чув. *с'ат*, узб. *йут*, башк. *йот-*, казах. *жут-*, азерб. *уд*, венг. *nyel*, хант. *н'ел-*, манс. *н'елт*, зыр. *н'ыл* «глотать» можно рассматривать как форму состояния, соответствующую кет. *у*, *ут*, *лут* «глотать», ср. кет. *д-б-у-ңтаба* «глотаю это», *д-б-у-ңтаңа* «глотаю их», *л'ут-ый* «глотать»; 8) монг. *яду* «бедный», эвенк. *ядаку:*, *дяданг* «бедняк, бедный»; нег. *дяданг*, ороч. ульч. *ядага*, удэ *дёнэку*, якут. *дыдаңы* «бедный», сельк. кет. *т'аң* «нет, не имеющий». Корневой элемент *и-а* представляет форму состояния к презентной основе отрицательного глагола: ср. кет. *ат*, коми *он*, марийск. *ит*, бесермянск. *ед*, юз. *бд*, фин. *et* «ты не есть». Форму действия того же глагола представляет енисейское *а*, *на*, *фа*, *па*, которому соответствует тюрк. аффикс отрицания *ба*, *па*; медиальную форму этого глагола сохранил якутский язык: ср. *сыппаппын* «я не ложусь» < *сыт-пат-пын*, где *пат-* < *-бат-*. Претеритальную основу к этой форме представляет енисейск. *бъ'н*, *бон* < *бо-н* «нет, не существующее это»; 9) туркм. *jo:k*, др.-тюрк. *jok*, чуваш. *с'ук*, якут. *с'уох*, казах. *джок*, балк. *зок*, сары-уйг. *јак* «не, нет», чагат. *јока-* «пропадать» представляют форму состояния претеритальной основы отрицательного глагола. Презентная форма этой основы в кетском *ай*, например: *дийай* < *ди-и-а-и* «погибаю» (здесь первое *и* относится к субъекту — *дий* «становлюсь», второе *и* — к корневому элементу — *ай* «не существующий»; заменив первое *и* фактитивным аффиксом *к*, получим *диYай* «уничтожаю, убиваю»); претеритальная основа имеется в кетском *ко*, *кодең* «умирать, погибать», например: *кодеңабет* «умираю, погибаю постепенно»; 10) алт. *дъат* и т. д. (см. стр. 80); 11) средневеков.-тюрк. *јад*, сары-уйг. *јаз-* «постилать, расстилать», шор. *час-* «разложить», монг. *джда-ју* «быть открытым, распростертым», кет. *та-и* «распростер-

⁷ В. С. Collinder, Comparative grammar of the Uralic languages, Stockholm, 1960, стр. 62; его же, An introduction to the Uralic languages, California, 1965, стр. 79.

⁸ J. S. Sinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Leipzig, 1910, стр. 24; D. Décsy, Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Wiesbaden, 1965, стр. 156; G. Lako, Proto Finno-Ugric sources of the Nungarian phonetic stock, Budapest, 1968, стр. 53.

⁹ А. М. Щербак, Сравнительная фонетика тюркских языков, Л., 1970, стр. 79, 160.

¹⁰ О вариантах *дь* и *с* на месте *ј* в якутском языке см.: Е. И. Убрятова, Опыт сравнительного изучения фонетических особенностей языка населения некоторых районов Якутской АССР, М., 1960, стр. 68.

¹¹ «A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára», I, Budapest, 1967, стр. 1139.

тый»¹²; 12) удм. коми ю «река», фин. *joki*, венг. *jó*, хант. *joYan* можно возвести к *и-о*¹³ «течь, вытекать из земли» (форма состояния претеритальной основы), ср. кет. *сес даYан* < *д-ак-ан* «река течет», тюрк. *ак-* «течь» (презентная основа формы действия), кет. *баңдиl үл док* «из земли вода (*үл*) течет (потекла)» — претеритальная основа того же глагола. Сюда, возможно, относится также алт. *сö-* «подниматься, расти» < *с-ö*, азерб. *öz* < *öy* «источник», *özän* «речка» (по компоненту *ö*).

Енисейский аффикс состояния *и* в конце слова представлен звуком *й*, который может входить в ряды чередований *й ~ j ~ з ~ э ~ с ~ т ~ р*, а также *й ~ н*. Приведем примеры: 13) кет. *д-ой*, *д-уй* «выдалбливаю, поднимаю», туркм. *ой-* «долбить», чагат. *ой-* «выкапывать», казах. *уй-* «выдолбить»; казах. *ой-паң* «низина» (кет. *баң* «место»), чагат. *ой* «яма, выемка», барабинск. *ојук* «яма, дыра»; хакас. *ой-* «выдолбить», *оймак* «яма», ногайск. *оюв* «выдолбить», уйг. *ой* «впадина, выемка», тув. *ой* «низина», *оймак* «прогалина», эвен. *уйлэ:*, эвенк. *оёло* «вверху», ненецк. *т'у:й*, *т'у'?* *уй* «вверху», хант. *той* «верх», кет. *той* «верх», коми *чой* «пригорок»; 14) др.-тюрк. *јүз-*, казах. *дјүс-*, хакас. *чүс-*, кюэр. *сүс-*, азерб. *йэ-*, манс. *уй-*, кет. *с'уй-*, монг. *ојуму-*, эвенк. *ују-*, фин. *uida*, венг. *úszik*, коми. *уял*, калм. *ö:m*, якут. *ус-*, узб. *суз-* «плавать»; 15) кет. XVIII в. *хой-оксе* «сосна», сым. *по:је*, аринск. *п'айд'а*, коми *пожём*, удм. *пужьм*, фин. *petäjä*, морд. *питиәң* «тонет это» (*у* — презентная основа), *уа'дес'* «тонуть» (претеритальная основа *ул'*); 17) чагат., османско-турецк. *ко-* «ставить», алт. *кой-* хакас. *хос-*, чуваш. *хур* «ставь», кет. *кой* «подняться»; 18) тув. *кут*, хакас. *хус*, якут. *кут* «лей», коми *кõtавны* «мокнуть», *кõtöд* «намоченный»; марийск. *вјт*, манс. *ут'*, сельк. *йт* «вода», кет. **у-т* «промокший»; 19) алт. *той*, тув. якут. *тот*, хакас. *тос*, чуваш. *таран* «насыщайся», кет. *тос'* «вскармливать», *той* «поднимать»; 20) кет.-ай «убить», коми *ви* < *вай*, удм., хант. *вел*, *вет*, манс. *алу*, *älu* «убивать, охотиться»; 21) уйг. *көн-*, *көй-* «гореть», средневек.-тюрк., сагайск. *көй-*, алт. *кјүй-*, якут. *көйн-өр* «сварить», кет. *ч°н*, *ч°Yан*, *оYан* < *ок-ан* «вареный», в котором (*h*)*ок* — претеритальная основа от презентной (*h*)*ак* «гнить, вариться, попевать», наличная также в гольд. *пуй-си* «вариться», маньчж. *фуйи*, тунг. *хуйу*, монг. *ййи* «варить», чул.-тюрк. *пыш-* «созреть, испечься».

Если звук слова в изучаемых языках входит в данный ряд чередований, но в одном из этих языков не возводится к *и*, то это слово должно здесь рассматриваться как заимствование, например: 22) алт. *дьыл* «год», балк. *зыл*, казах. *дјыл*, тув. *чыл*, др.-тюрк. *јыл*, кыз. *шыл*, чуваш. *с'ул*, якут. *сыл*, бурят. *јил*, *жил*, халх. *дјил* «год», кет. имб. *с'ил'* «лето», сым. *с'и:р*, *ш'и:р*, ког. *шил* «лето»; 23) чагат. *јат*, *ујат* «стыд», чуваш. *ватан*, хакас. *уят* «стыд», *уятпин* «без стыда», якут. *сат*, кет. *сат-ый* «стыдиться».

В некоторых случаях наблюдаются иные фонетические соответствия между урало-алтайскими языками и енисейскими, например: 24) хант. *јел*, удм. *јел*, коми. *д'ол*, *јол*, *ибл-* «молоко», кет. *мам-чл* «молоко» («сок груди»), фин. *jälsi* «сок дерева», кет. *хилр* «сок» (древесный, ягодный), кот. *фул*, сым. *ус-ыр* «березовый сок»; 25) коми *йир* «грызть, глодать», кя. *jörnö*, фин. *järsiä*, кет. *хыл-се*, *фыл-се* «грызу», кирг. *мјлджү* «грызть», тув. *мөлчү* «эксплуатировать», якут. *мјлүктү:* «грызть». Здесь появление звука *ј* не было связано с формой состояния.

Расхождения в звуковых соответствиях в ряде случаев, вероятно, связаны с различным построением тех же самых слов, например: 26) коми

¹² См.: М. R ä s ä n e n, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türkischen Helsinki, 1969.

¹³ Ср.: В. И. Лыткин, Исторический вокализм пермских языков, М., 1964, стр. 213; W. Steinitz, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus, Berlin, 1964, стр. 45—46; Y. H. Toivonen, E. Itkonen, A. J. Jokki, Suomen kielen etymologinen sanakirja, Helsinki, I, 1955, стр. 118.

дом < **δ*-аң «привязь», кет. *δ*-аң «привязывать»; *дор* «край (предмета), прилегающее к нему место», кет. сым. *δ*-ор-ге «наружу от него»: *дөр* «подкожный жир», кет. *дол'* «жир его», *һол, фол* «жир», *кол'* «ожиревший»; коми *дуль* «слиюна», кет. *дулиң* «его слиюна»; коми *дуль* «пузырь», кет. имб. *һъ°l*, сым. *фъ°р* «пузырь». Тут в коми словах сохранился омертвевший енисейский классный показатель *δ* в функции посессива, ср. коми-зыр. *поль* «пузырь».

В некоторых случаях расхождения связаны с наличием или отсутствием фактивного аффикса *k*, например: 27) туркм. *о:т* «огонь», половецк. чагат. *от*, казах. *ут*, чуваш. *вот*, тув. *од-а* «топить», кет. *k-от-абет* «зажигать огонь». Но иногда, как кажется, можно объяснить появление *k* из гортанной смычки, например: хакас. *ки:*, тув. *хей, хи: le* «дуть», тел. *кай* «воздух, дыхание», кет. *ʔи* «дыхание, воздух»; средневек.-тюрк. *кой*, шор. *койын*, хакас. *хойын*, кет. *ʔой* «пазуха».

В том случае, когда все алтайские языки в общем слове имеют в конце *и*, он является древним аффиксом состояния, относящимся к субъекту действия или носителю признака, например: якут. *аһый* «киснуть» — *аһы:* «кислый», *тымный* «холодеть», — *тымны:* «холодный», *төгүрүй* «становиться круглым» — *төгүрүк* «круглый», *а́дäримсий* «молодиться» — *а́дäримсит* «молодить»; ср. также: бурят. *танай* «твой», *манай* «ваш», кет. *абай* «мой», *уҮый* «твой», классич. монг. *гер-тей* «с юртой». Но во многих случаях это первоначальное значение стерлось, например: хакас. тув. *ой* «низина, выемка», якут. *хо: й* «подмышка», *уой* «полнеть». Для точного определения ряда чередования *й* достаточно знать, что этот формант имеется также в хакасском, тувинском или якутском языке.

При объектной отнесенности енисейского *и* этот формант в словах тюркских языков не сохраняется и входит в ряд чередования *й ~ э ~ з ~ с ~ ~ δ*, например: уйг. *бод* «рост, тело», средневек.-тюрк. *боз*, шор. *пос*, сары-уйг. *поз*, азерб., туркм. *бой*, тув. *боткур* «рослый»; хакас. *хос* «ставь», чуваш. *хур*, алт. *кой*, кет. *кой* «встать (хочу)», *кот* «дорога (хоженное место)»; хакас. *той* «пир», *тос* «насыщайся», чуваш. *таран*, якут. *тот* «насыщайся», кет. *тос* «вскармливать». Такой рефлекс аффикса *и* вызван двумя причинами: а) с переходом на новый тип языка (агглютинативно-суффирующий) полусамостоятельное существование компонентов полисинтетического слова прекращается, б) в связи с этим затемняется значение бывших аффиксов предикации и становится возможным их смешение.

В енисейских языках существовало семь аффиксов предикации с разным значением. Например, глагольная морфема *о* «поднять(ся)» встречалась в вариантах *ой* «поднявшийся», *ос* «наверху находится», *от* «поднять», *он* «поднятым стал», *ок* «раз поднятым стал», *оң* «обычно поднимается», *ол* «раньше поднятым был». Из этих аффиксов чаще всего, по-видимому, смешиваются енисейск. *и* и *т* (вследствие наибольшей близости значения); можно поэтому не возводить весь ряд к пратюркскому *δ* (как это делит М. Ряснен и А.М. Щербак), а рассматривать его как два: *т* (*δ*) ~ *δ* ~ *р* и *ј* ~ *χ* ~ *с* ~ *з*. Н. К. Дмитриев усматривает в этом ряду два процесса, причем он считает *й* конечным результатом¹⁴. Мы считаем *ј* или *т* исходным пунктом развития. В пользу этого предположения говорит географическое расположение членов ряда *ј ~ δ' ~ т' ~ ч' ~ ш ~ с* на древней тюркской территории по р. Чулыму, притоку Оби, которая была заселена тюрками из Минусинской котловины (*ј* — нижний Чулым; *δ', т'* — начало среднего Чулыма, *ч'* — средний Чулым, *ш'* — верхний Чулым, *с'* — истоки Чулыма). Диахроническая последовательность процесса получила в данном случае точное отражение в соответствующей пространственной смежности.

¹⁴ Н. К. Дмитриев, Соответствие *р || δ || т || э || э || й*, ИСГТЯ, ч. I — Фонетика, М., 1955, стр. 326.

А. М. ЩЕРБАК

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

I. Наиболее существенный разграничительный признак вариантов аффикса родительного падежа в тюркских языках — наличие или отсутствие начального *n*, ср. азерб. *atın* (*at-ın*), караимск. *atnïn* (*at-nïn*), узб. *atniñ* (*at-niñ*) «лошади»¹.

Вопрос о соотношении вариантов с *n* и без *n*, представляющий определенный научный интерес, до сих пор остается открытым, хотя изучением его занимались тюркологи нескольких поколений.

О. Бётлингк, считавший вариант без начального *n* более древним, объяснял появление *n* тем, что в древнетюркском языке именные основы оканчивались на *n* чаще, чем в современных языках, и что этот *n* в результате переразложения был отнесен к аффиксу². Эту точку зрения разделяет в одной из своих ранних работ В. Банг (*аслан-иң* → *асла-ниң*)³. Основной довод О. Бётлингка вызвал возражения со стороны В. В. Радлова, отметившего, что в древнетюркском языке именных основ на *n* было не больше, чем в современных языках⁴. Тем не менее, В. В. Радлов поддержал тезис о появлении начального *n* в аффиксе родительного падежа вследствие переразложения («durch falsche Trennung»), сопроводив его своим объяснением. Переразложение, по мнению В. В. Радлова, имело место до того, как аффикс родительного падежа стал вообще присоединяться к именным основам. Вначале он употреблялся только с личными и указательными местоимениями и именно в местоименных формах в восточных и западных диалектах происходило «falsche Trennung»: *а-ниң*, *бу-ниң* [поэтому в основном (именительном) падеже множественного числа — *о-лар*, *а-лар*, *бу-лар*], тогда как в средних диалектах морфологические границы воспринимались в соответствии с действительным положением вещей: *ан-иң*, *бун-иң* (поэтому

¹ О происхождении аффикса притяжательного падежа см.: В. Laufer, Zur Entstehung des Genitivs der altaischen Sprachen, KSz, II, 1901, стр. 133—138; В. Munkácsi, [рец. на кн.:] W. Bang, Vom Köktürkischen zum Osmanischen. I, KSz, XVIII, 1918/19, стр. 138.

² О. B ö h l i n g k, Kritische Bemerkungen zur zweiten Ausgabe von Kasem-bek's türkisch-tatarischer Grammatik..., «Bull. de la Classe historique, philologique et politique de l'Académie Imp. des sciences de St.-Petersbourg», V, 21, 1848, стр. 14—15 (отд. оттиск).

³ W. B a n g, Zur vergleichenden Grammatik der altaischen Sprachen, I, «Wiener Zeitschr. für Kunde des Morgenlandes», IX, 1895, стр. 271; е го же, Zum auslautenden *n* im Altaischen, «Toung Pao», VI, 1895, стр. 216—221.

⁴ W. R a d l o f f, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, N. F., СПб., 1897, стр. 61; е го же, Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türk-sprachen, «Зап. Им. Акад. наук», VIII серия, 1906, VII, 7, стр. 31, 32. В поддержку довода О. Бётлингка, против возражения В. В. Радлова, выступил В. Котвич, который, однако, не привел убедительных примеров, свидетельствующих о широком использовании так называемого номинального *n* в древнетюркском языке (см.: W. K o t w i c z, Contributions aux études altaïques, RO, XII, 1936, стр. 132—142, особенно 139—140).

в основном падеже множественного числа — *ан-лар, бун-лар*). Затем сфера функционирования обеих разновидностей расширилась и охватила именные основы. Приблизительно к такому же выводу пришли позднее В. Банг⁵ и В. А. Богородицкий⁶, причем первый из них изложил свои взгляды на происхождение разновидностей с начальным *н* в виде гипотезы о существовании в тюркском языке двух типов склонения, местоименного и именного, и о влиянии одного из них на другой. Большую древность варианта без *н* первоначально признавал также Ж. Дени, который относил *н* к числу вставочных согласных⁷. Противоположная точка зрения — относительно изначальности полного варианта и последующего выпадения *н* — была высказана К. Грэнбеком, предложившим оригинальную этимологию аффикса родительного падежа (< *нāң* «вещь; нечто»)⁸, впоследствии дополненную Н. А. Баскаковым (< *нэңэ || дэңэ || тэңэ || нэмэ || нэ* «что» < «вещь» < «владение» < «сущность» < «тело»)⁹.

Наличие или отсутствие начального *н* является также разграничительным признаком вариантов аффикса винительного падежа: азерб. *amī* (*am-ī*), караимск. *amī* (*am-nī*), узб. *amī* (*am-nī*) «лошадь».

И в этом случае мнение большинства тюркологов таково, что вариант с *н* относительно поздний и что в появлении его важную роль сыграли именные основы на *н*¹⁰ или местоименные формы. Так, согласно предположению В. В. Радлова, личные местоимения 1 и 2-го лица единственного числа в древнетюркском языке имели две разновидности: *mā* (*bā*), *sā* и *māni*, *sāni*. Последняя, как полагал он, очень рано стала функционировать в качестве формы винительного падежа, благодаря чему выделился аффикс *-ni* с соответствующим значением и образовались по аналогии формы *bunī*, *amī*. В дальнейшем в значении основного (именительного) падежа (у В. В. Радлова: «*Casus indefinitus*») выступают *mān*, *sān*, за формами же с конечным гласным закрепляется функция винительного падежа. Выделение варианта *-i* и присоединение его к именам происходило в южных диалектах, тогда как в восточных и западных сохранилось первоначальное (?) восприятие, т. е. *mā-ni*, *sā-ni*, *a-nī*, *bū-nī*, и к именам присоединялся аффикс *-nī* ~ *-ni*¹¹. П. М. Мелиоранский, В. Банг и другие тюркологи определяли участие личных местоимений в образовании варианта аффикса винительного падежа с начальным *н* несколько иначе: *māni*, *sāni* — древнейшие формы винительного падежа на *-i*, в которых в результате переразложения *н* был отнесен к

⁵ W. B a n g, Vom Köktürkischen zum Osmanischen, Vorarbeiten zu einer vergleichenden Grammatik des Türkischen, 1. Mitteilung: Über das türkische Interrogativpronomen, Berlin, 1917, стр. 5, 6, 12.

⁶ В. А. Б о г о р о д и ц к и й, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, 2-е изд., Казань, 1953, стр. 152.

⁷ J. D e n y, Grammaire de la langue turque, Paris, 1921, стр. 171, 175. В связи с этим В. А. Богородицкий заметил, что для вставки в данном случае нет необходимых фонетических условий (см. «Эволюция окончаний родительного падежа в тюркских диалектах», «Вестник научного общества татароведения», 3, Казань, 1925, примеч. 2 к стр. 13).

⁸ K. G r ö n b e c k, Der türkische Sprachbau, I, Kopenhagen, 1936, стр. 107. Позднее к этой точке зрения присоединился Ж. Дени (J. D e n y, Structure de la langue turque, «Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris», IX, année 1949, Paris, 1950, стр. 31). Напомним, что В. Шотт сопоставлял аффикс *-niң* с маньчжурской частью (относительным местоимением?) *ninggə* (W. S c h o t t, Versuch über die tatarischen Sprachen, Berlin, 1836, стр. 53).

⁹ Н. А. Б а с к а к о в, О соотношении значений личных и указательных местоимений в тюркских языках, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», М., 1952, стр. 135, 137.

¹⁰ См.: O. B ö h t l i n g, Über die Sprache der Jakuten, St.-Pb., 1851, стр. 160.

¹¹ W. R a d l o f f, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, N. F., стр. 78. В более поздней работе В. В. Радлов говорит о причине появления *н* в *-ni* ~ *-ni* то же самое, что и относительно *н* в аффиксе родительного падежа (см.: W. R a d l o f f, Einleitende Gedanken..., стр. 32).

аффиксу¹². Р. Шоу, в отличие от упомянутых тюркологов, возводил аффикс *-ні* к слову *нә* «вещь» и таким образом считал вариант с *н* первичным¹³.

II. Сопоставление различных точек зрения и анализ фактов, привлекавших для их обоснования, не оставляют сомнений в том, что начальный *н* в аффиксах родительного и винительного падежей вторичен. Что же касается изложенных выше гипотез о его происхождении, то они, на наш взгляд, недостаточно обоснованы. Нет доказательств того, что в древнетюркском языке было большое количество имен, оканчивавшихся на *н*, и что впоследствии оно заметно сократилось. Ничто не свидетельствует также о ведущей роли склонения местоимений в процессе формирования падежной парадигмы, причем возможность переразложения местоименных форм *мәни* (*мә-ни* вместо *мән-и*) маловероятна: эти формы соотносились не с *мә*, а с *мән*, так как нельзя было отождествить *мә* с каким-либо значимым элементом. Если все же допустить возможность подобного переразложения и выделения аффиксов *-ниң*, *-ни*, с последующей унификацией на этой основе падежных форм всех имен, то придется столкнуться с другим препятствием, заключающимся в ничем не мотивированной избирательности действия аналогии. Например, в азербайджанском языке в притяжательном склонении аффиксы родительного и винительного падежей начинаются с *н*, в простом склонении основ с конечным согласным *н* отсутствует, ср.

	Азерб.	Караимск.
род.	<i>атинин</i> «его лошади»	<i>атинин</i>
вин.	<i>атини</i> «его лошадь»	<i>атин (и)</i>
род.	<i>атин</i> «лошади»	<i>атнин</i>
вин.	<i>ати</i> «лошадь»	<i>атни</i>

Чтобы найти путь к раскрытию истинной причины появления начального *н* в аффиксах родительного и винительного падежей, необходимо тщательно обследовать обе падежные парадигмы, простую и притяжательную. Первое, что бросается в глаза в ходе предварительных разысканий — присутствие *н* в формах локативных падежей притяжательного склонения, т. е. в тех падежных формах, которые не обнаруживают его в простом склонении, ср. ст.-узб. *ташинда* «его камню», *ташинда* «на его камне», *ташиндин* «от его камня».

Какой же вывод следует из этого?

В. А. Богородицкий, первым обративший внимание на указанный выше параллелизм, дал ему довольно убедительное объяснение: «...корневое *н* личных местоимений, сохраняющееся перед окончанием в местн. и исх., распространилось путем аналогии на членное притяжательное склонение 3-го лица, получившее также *н* перед окончаниями названных падежей»¹⁴.

Мы предлагаем иное толкование, отправным пунктом которого является предположение об исконной связи *н* с притяжательной парадигмой, точнее с формой принадлежности 3-го лица, и о существовании в истории тюркских языков такой ситуации, когда притяжательное склонение играло более важную роль, чем простое, когда склонение многих слов, например, терминов родства, названий частей тела, названий любых предметов, относящихся к другим предметам как часть к целому и т. д., было исключительно притяжательным. Особое положение притяжательной парадигмы

¹² См.: П. М. Мелноранский. Памятник в честь Кюль Тегина, ЗВО РАО, XII, 2—3 (1899), 1900, стр. 28; W. V a n g, Vom Köktürkischen zum Osmanischen, 1, стр. 14; K. G g ö n b e s h, указ. соч., стр. 32; В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание..., стр. 155, 156.

¹³ R. V. S h a w, A sketch of the Turki language as spoken in Eastern Turkistan, pt. I, Lahore, 1875, стр. 12.

¹⁴ В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание..., стр. 153.

способствовало «проникновению» *n* в падежные формы простого (непритяжательного) склонения: по аналогии начальный *n* стал употребляться в аффиксах родительного и винительного падежей, сначала — после основ на гласный (ср. *ташһиң* «его камня», *баланиң* «ребенка»), а позднее — после любых основ, во всех тюркских языках, кроме огузских и чувашского.

Назовем некоторые факты, свидетельствующие в пользу предложенного толкования. Прежде всего следует отметить употребление формы основного падежа с аффиксом принадлежности 3-го лица в значении простой (непритяжательной) формы: гаг. *бурну* «нос», *бојну* «шея»¹⁵; долган. *мунну* «нос»¹⁶; туркм. *бэјни* «мозг»; хакас. *ахси* «рот», *иңни* «плечо», *ибі* «юрта», *чилни* «грива», *көккө* «грудь», *өдди* «желчь», *хиби* «подкладка»¹⁷; шор. *эрди* «губа». В чувашском языке известны случаи, когда локативные формы притяжательного склонения выражают значения простых (непритяжательных) локативных форм¹⁸: *пӗт* «лицо», *пӗтӳнчӗ* «на лице», *пӗтӳнчӗн* «от лица», *лашана* «лошади», *әнәнэ* «корове». В якутском языке простая форма исходного падежа от основ на гласный является по происхождению притяжательной, ср. *ојуртан* «из лесу», *бөрөттөн* «от волка», *киһэттэн* «с вечера» (*n* подвергся ассимиляции)¹⁹.

III. Обильная появление *n* в непритяжательных формах родительного и винительного падежей влиянием притяжательного склонения, естественно, следует ответить на вопрос о том, что представлял собой *n* в притяжательном склонении.

В настоящее время почти единодушно высказывается мнение, что аффиксы принадлежности в тюркских языках восходят к предикативным показателям, а эти последние — к личным и лично-указательным местоимениям. В отношении 1 и 2-го лица справедливость его настолько очевидна, что нет необходимости приводить какие-либо аргументы. Иначе обстоит дело с 3-им лицом. В древнетюркском языке функции предикативного показателя 3-го лица выполняло лично-указательное местоимение *ол*: *ол эвэй бармиш ол* «он отправился домой» (МК I 38), *ол таварин сатыл ол* «он намерен продать его имущество» (МК II 297), *ол тарыз тартыган ол* «он посеял посев» (МК II 319). Будучи первоначально указательным, местоимение *ол* заняло место в одном ряду с местоимениями *мэн* «я» и *сэн* «ты» довольно поздно и не получило широкого распространения в служебном использовании, как предикативный показатель. Поэтому пытаются возвести к нему аффикс принадлежности 3-го лица, подобно тому как аффикс принадлежности 1-го лица единственного числа *-м* возводится к местоимению *мэн* «я», не имеет смысла. Очевидно, существовал другой прототип, использовавшийся значительно шире и входивший в разряд личных местоимений на уровне праязыка или протоязыка.

¹⁵ См.: Л. А. Покровская, Гагаузский язык, «Языки народов СССР», II, М., 1966, стр. 117.

¹⁶ См.: Е. И. Убрятова, Служебное слово *киэнэ* в якутском языке, сб. «Академику В. А. Гордлевскому к его семидесятипятилетию», М., 1953, стр. 291.

¹⁷ См.: Н. К. Дмитриев, Ф. Г. Исхаков, Вопросы изучения хакасского языка и его диалектов, Абакан, 1954, стр. 99; Н. Г. Доможаков, О некоторых особенностях сагайского и хаасского (начинского) диалектов, «Зап. [Хакасского НИИЯЛИ]», IV, Абакан, 1956, стр. 68; Ф. Г. Исхаков, Некоторые предположения о происхождении конечных *т* и *д* в словах *аст*, *уст*, *алд*, *арт* и т. п., сб. «Академику В. А. Гордлевскому...», стр. 125, 126.

¹⁸ См.: J. Benzing, Tschuwaschische Forschungen (I), Das Possessivsuffix der dritten Person, ZDMG, 94, 2, 1940, стр. 255; е го же, Tschuwaschische Forschungen (IV), Die Kasus, ZDMG, 96, 3, 1942, стр. 462.

¹⁹ См.: Л. Н. Харитонов, Современный якутский язык, ч. I, Якутск, 1947, стр. 110. Ср.: W. Radloff, Die jakutische Sprache in ihrem Verhältnisse zu den Türk-sprachen, «Записки Имп. Акад. наук», VIII серия, 1908, VIII, 7, стр. 31; С. В. Яс-т-р-е-м-с-к-и-й. Грамматика якутского языка. Иркутск, 1900, стр. 52.

В древних и современных тюркских языках встречаются наречия и прилагательные, образованные от лично-указательного местоимения **in* ~ **in*²⁰, ср.: др.-тюрк. *inča* ~ *inča* «так, таким образом», *inaru* «туда», *in-çin* «так, таким образом», *indin* ~ *indin* «другой, противоположный», кирг. *nar* ~ *narı* «тот, находящийся по ту сторону»; тув. *indı* «та, другая сторона», *inār* «туда», *inda* «там», *indib* «такой», *inča* «столько, так»; якут. *innä* «туда, там»²¹. К этому местоимению и восходит аффикс принадлежности 3-го лица, праформа которого таким образом должна быть реконструирована с конечным *n*, на что указывали многие тюркологи²² и что подтверждается материалами разных тюркских языков, ср.: др.-тюрк. *urı oblın kü boltı silik kiz oblın küç boltı* «его сыновья стали рабами, а его целомудренные дочери — рабынями» (КТБ₇), *kazanın birläi Suça jında söñüjüdüm* «с их каганом я сразился в Сунгайской черни» (БК₂₇), *anıң көңүлің ичрә* «в его сердце» (Ман. III 22₆). «Форма с *-n* часто встречается в туркменском фольклоре и в классической литературе»²³. В якутском языке аффикс принадлежности 3-го лица с конечным *n* сохранился в многочисленной изафетной конструкции²⁴, ср. *min atađım суола* «след моей ноги», *kini atađın суола* «след ноги человека»²⁵.

Итак, мы рассматриваем начальный *n* в аффиксах родительного и вительного падежей простого и притяжательного склонения и так называемый вставочный *n* в аффиксах локативных падежей притяжательного склонения как составную часть аффикса принадлежности 3-го лица, восходящего к лично-указательному местоимению **in* ~ **in*.

²⁰ См.: O. Böhtlingk, Über die Sprache der Jakuten (Wörterbuch), стр. 36.

²¹ Выполнение местоимением **in* ~ **in* функций предикативного показателя 3-го лица не отразилось в текстах, что объясняется ранней изоляцией формы 3-го лица от предикативных форм 1-го и 2-го лица. В современных тюркских языках предикативные показатели 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа восходят к личным местоимениям, предикативный показатель 3-го лица — к вспомогательному глаголу *тур* (*туруп* ~ *тур* ~ *-m*).

²² См.: Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 65; е. о же, Категория принадлежности, ИСГТЯ, II, М., 1956, стр. 33; А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.—Л., 1956, стр. 49; В. М. Насилов, Язык орхоно-енисейских памятников, М., 1960, стр. 32, 33; Г. Бакниова, Киргизский говор Октябрьского района. Автореф. канд. диссерт., Фрунзе, 1953, стр. 11; К. Каримов, Категория падежа в языке «Кутадгу билиг», Автореф. канд. диссерт., Ташкент, 1962, стр. 13.

²³ «Грамматика туркменского языка», ч. I. Ашхабад, 1970, стр. 95.

²⁴ По вопросу о происхождении элемента *-in* в многочисленной изафетной конструкции якутского языка нет единого мнения. С. В. Ястремский видел в нем аффикс родительного падежа (см. его «Грамматика якутского языка», стр. 87). К. Шрифль, справедливо указывавший С. В. Ястремскому на невозможность отражения в якутском языке общетюркского *n* в *n*, считал *-in* показателем инструментального падежа (K. Schrießl, Der «Genitiv» im Jakutischen und Verwandtes, KSz, XIII, 1912/13, стр. 313). Однако употребление формы инструментального падежа в изафетной конструкции ничем не мотивировано.

²⁵ См.: Е. И. Убрятова, Исследования по синтаксису якутского языка, М.—Л., 1950, стр. 42.

Э. Р. ТЕНИШЕВ

ЗАМЕТКА ОБ УЙГУРСКИХ ЯЗЫКАХ

Четыре языка — два древних и два современных — связаны так или иначе с понятием «уйгурский». Эти языки следующие: 1) язык уйгуров периода пребывания их в Монголии отражен в памятниках тюркско-рунического письма — памятнике в честь Моюн-Чура и памятнике из Карабалгасуна; относится к *d*-языку (*adaq* и *qod*-); 2) язык уйгурских текстов рунического, уйгурского, манихейского и брахми-письма из Восточного Туркестана; относится к *d*-языку (*adaq* и *qod*-); 3) язык сарыг-югуров из провинции Ганьсу; принадлежит к *z*-языку (*azaq* и *qoz*-); 4) язык уйгуров из Восточного Туркестана и Средней Азии, именуемый новоуйгурским, или восточнотуркестанским (Eastern Turki); принадлежит к *j*-языку (*ajaq* и *qoj*-).

Язык сарыг-югуров, можно полагать, представляет собою результат взаимодействия языков уйгуров и кыркызов во время пребывания этих племен в Монголии (предположительно кыркызы говорили на *z*-языке¹).

Язык уйгурских текстов из Восточного Туркестана сформировался на этой территории после переселения уйгуров из Монголии путем контактирования их языка с другими тюркскими и нетюркскими языками.

Оба эти языка — особенно последний, древнеуйгурский, — приняли участие в формировании новоуйгурского языка. Ведущую роль в этом процессе играли язык или скорее языки западнотюркских племен, родственных узбекским племенам, которые и придали новоуйгурскому *j*-основу. Значение сарыг-югурского компонента в формировании новоуйгурского языка выяснилось сравнительно недавно — после записей новоуйгурских диалектов и фольклора сарыг-югуров.

У сарыг-югуров бытует историческая легенда, называемая *Joqur namt'ar* «История уйгуров». Легенда повествует о том, что уйгуры издавна исповедывали буддизм, всего их было немногим более ста тысяч и пришли они в Ганьсу с запада. Выйдя из *Siji-Xaji*, они остановились у гор Куэнь-Лунь и, передвигаясь дальше, достигли местности *Señfutun Vanfusa* — недалеко от территории, где живут теперь. В этой легенде привлекает внимание то, что югуры задержались у гор Куэнь-Лунь, в южной части Восточного Туркестана. Это вполне исторический факт, подтверждаемый данными и новоуйгурского, и сарыг-югурского языков.

В южном диалекте новоуйгурского языка встречается глагольная форма на *-raq* || *-gek*, *-raq* || *-kek*, передающая большей частью действие как состояние и иногда употребляющаяся во временном значении². Та же форма, но в чисто временном значении (действие, которое совершается обычно или регулярно), свойственна сарыг-югурскому языку³. Данная

¹ См.: Э. Р. Тенишев, О языке кыркызов уезда Фу Юй (КНР), ВЯ, 1966, 1.

² См. об этой форме: Э. Р. Тенишев, О диалектах уйгурского языка Синьцзяна. «Тюркологические исследования», М.—Л., 1963, стр. 146.

³ См.: Э. Р. Тенишев, Б. Х. Тодаева, Язык желтых уйгуров, М., 1966, стр. 27.

форма могла войти в новоуйгурский только из сарыг-югурского: ее нет ни в древнеуйгурском, ни в других тюркских языках.

Для сарыг-югурского языка характерен перебой согласных $\check{s} > s$, частично компенсируемый типично кыпчакским перебоем $\check{s} > \check{\delta}$. Примеры: *tas* «камень» вместо *taš*, *pas* «голова» вместо *paš*, *jašyt* «зеленый» вместо *jašyt*, *saž* «волосы» вместо *sač*, *qaš* «сколько» вместо *qač*. Однако наряду с *s*-основами здесь существуют и \check{s} -основы: *paš* «голова», *paštyu* «начальник», *peš* «пить» (в сочетании с числительными, начинающимися на *j*), *jačšu* «хороший; хорошо». \check{S} -основы, очевидно, появились после перехода $\check{s} > s$, иными словами, они были заимствованы. Усвоение сарыг-югурами подобных основ совершилось, следует думать, в тот же период пребывания на южной окраине Восточного Туркестана, когда новоуйгурский язык только складывался. Поэтому есть основания предполагать, что группа \check{s} -основ вошла в сарыг-югурский из древнеуйгурского языка.

Это дает право считать, что фонема \check{s} получила отражение в текстах уйгурского письма — диакритические точки служили не столько для различения *s* и \check{s} или *q* и \check{q} , сколько для отличия зубцовых букв как друг от друга, так и от других букв ⁴. Сделанный вывод подкрепляется еще следующими соображениями: Гератский список «Qutadü bilig», написанный уйгурскими буквами, ставит точки при \check{s} — он отражает язык двух других списков арабским шрифтом, где \check{s} и *s* обозначаются отдельно; те же \check{s} и *s* получают раздельное обозначение в древнеуйгурских текстах манихейской и брахми-транскрипций ⁵.

Итак, тексты уйгурского письма из Восточного Туркестана и из Ганьсу (письменная традиция у них одинакова), если не графически, то фактически различали фонемы \check{s} и *s* — в отличие от уйгурских текстов рунического письма, в которых знаки для \check{s} и для *s* употребляются неопределенно.

Можно предполагать, что язык сарыг-югурских племен, следовавших в Ганьсу через Восточный Туркестан ⁶, в известный период взаимодействовал с тем говором древнеуйгурского языка, который позже вошел в состав южного диалекта новоуйгурского языка.

⁴ См.: С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.—Л., 1951, стр. 106, 125; A. v. Gabaïn, Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1950, стр. 17.

⁵ A. v. Gabaïn, указ. соч., стр. 17, 34; R. Zieme, Die türkischen Josipap-Fragmente, «Mitteilungen des Instituts Orientforschungen», XIV, 1, Berlin, 1968, стр. 46—47.

⁶ E. Pinks, Die Uiguren von Kan-Chou in der frühen Sung-Zeit (960—1028), Wiesbaden, 1968, стр. 61—62.

Э. П. ХЭМП

ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ОБОРОТАХ ТИПА
ПОЛЬСК. *SAMOCZWART*, ЧЕШ. *SÁM ČTVRT*

П. Зволинский в своей работе «Liczebniiki zespolowe typu *samo-trzec*» (Wrocław, 1954) довольно полно воссоздает картину развития этих числовых выражений, для которых он предлагает общую формулу $Y\ samo-Xt = Y + (X - 1)$. Такие выражения засвидетельствованы в польском, начиная с 1393 г. (*samoczwart*). Словосочетание *samodrug* (стр. 35)¹ находит аналогию в русском *сам друг*, чеш. *sám druhý*, словен. *sam(o)drug*, серб. *samodrug*, *sam drugi*. К 1696 г. выражение *samojeden* представлено в структурно параллельной форме, но в плеонастическом смысле *sam* «solus, ipse»; подобное же развитие наблюдается в русском, украинском, чешском и словенском.

Эти формы претерпевали постоянное упрощение своей морфологии в польском языке. В более ранний период своей истории они склонялись по трем родам, но ко второй половине XVI в. осталась лишь форма именительного падежа ед. числа мужского рода. Такое развитие, видимо, продолжает доисторическую тенденцию. Как ясно из рассмотрения материала старославянского (один раз, Супр., 158, 1), сербского (Zak Duš, 93, XVII в.), русского (уже в 1347 г.), украинского и особенно чешского (например, *sám čtvrt*, *sám třetí*, *sám čtvrtý*, 1464 г.), в ранний период развития рассматриваемой конструкции она представляла собой синтагму вида *sám-ъ/ā/o* + порядковое числительное, причем оба компонента были грамматически согласованы. Таким образом, синтаксическая структура изучаемого оборота не совпадает со структурой индийского словосочетания «*ātmanā* (творительный падеж) + количественное числительное», которое, однако, привлекается для сравнения Зволинским. Что касается балтийских языков, то литовские обороты *pàts antras* и *Noe patį ašmą užlajke* (2 Petr. 2,5) правильно рассматриваются Зволинским как обыкновенные кальки из славянского.

Легко заметить, что оборот «*sām* + порядковое числительное» n: « $Y + (n - 1)$ », где *Y* является синтаксическим антецедентом *sām*-, представляет собой пояснительное расширение «*Y ... порядковое числительное*»n. Так, если в греческом в формах, приведенных и сравниваемых Зволинским, строение изучаемого оборота обнаруживает форму «порядковое числительное + $\alpha\tau\acute{o}\varsigma$ » (у Феокрита + $\epsilon\acute{\omicron}\nu\ \acute{\iota}\lambda\omicron\varsigma$), в более древний период эта конструкция явно имеет форму, представленную у Платона (Leg. $\epsilon\beta\delta\omicron\mu\omicron\varsigma$) и Плутарха (Pelop. $\delta\omega\delta\acute{\epsilon}\chi\alpha\tau\omicron\varsigma$), т. е. представляет собой обыкновенное порядковое числительное. Это сразу же напоминает нам о др.-ирл. конструкции типа *hésom triuss* (дат. падеж) — Wb7c8 «он как третий» (буквально: «он третий») и о средневековом уэльском *Trydyd Uedyf unben wyt* (Pedeir Keinc y Mabinogi, 49, 12) «ты — один из трех

¹ *Samowtor* встречается с 1400 г.

вождей, не обладающих крепкой хваткой», или *nawuet a estoues catgamlan* «один из девяти (буквально: девятый), который задумал битву при Камлане». Еще одно уэльское выражение подобного рода *ar y eil marchawc* «с одним рыцарем» (буквально: «на его втором рыцаре»), *ar y drydyd o gristonogyon* «с двумя другими христианами»² представляется, таким образом, более поздним развитием из первоначального грамматически согласованного порядкового числительного. Это произошло благодаря «внедрению» в рассматриваемый оборот предложного сочетания, целью которого было уточнить семантические отношения компонентов (подобно этому в славянском использовался поясняющий оборот анафорического *сам-*).

Все эти выражения, использующие количественные числительные в смысле «тот, кто составляет число *n*», указывают на явное индоевропейское происхождение семантики индоевропейских порядковых числительных, что было установлено Бенвенистом («Noms d'agent et noms d'action en indo-européen», Paris, 1947, стр. 145 и сл.) и упомянуто Уоткинсом (JSLP, 4, 1961, 8), но не замечено Семереньи в его книге «Studies in the Indo-European system of numerals». Как показал Бенвенист, порядковое числительное маркирует элемент, который завершает группу или ряд³. Поэтому общеславянское выражение представляет собой попросту это унаследованное употребление количественного числительного с введением в него согласованной анафоры; в кельтском, с другой стороны, очень долго сохранялось простое количественное числительное.

Зволинский далее привлекает для сравнения немецкие сложные слова на *selb-* + порядковое числительное; он отмечает эквивалентность смысла между *samowtór* «пьяный» и нем. диалектн. *selbander*. Он далее заключает (стр. 82): «наличие категории групповых числительных можно было бы поэтому считать весьма любопытной особенностью, связывающей славянские языки с германскими и отделяющей их от балтийских языков, которые можно было бы добавить к списку, составленному Лер-Сплавинским в его работе «O pochodzeniu i praoczyźnie Slowian». Однако имеются по крайней мере два возражения против такого заключения.

Немецкие образования на *selb-* слишком ограниченно представлены в пределах германской семьи языков, чтобы их с полным правом можно было бы отнести к обще- (или пра-) германскому. В древнеисландском, видимо, использовалась только конструкция типа *með tolfja mann*, *með fimta mann* (= «в качестве пятого человека») и т. д., что напоминает некоторые из уэльских конструкций, приведенных выше. Можно ли усмотреть здесь кельтско-норвежское влияние? В самом немецком языке рассматриваемое словосочетание достаточно хорошо известно. Беглое ознакомление со словарем Гримма (X, 1, стр. 423—428) обнаруживает, кроме *selbander*, большое количество таких сочетаний, как *er kam selbdritt(er)*, а также *selbviert*, *-fünfft*, *-sechst*, *-siebent*, *-acht*, *-neunt*, *-zehnt*, *-zwölft*, *-dreizehnt*, *-zwanzigt*. Подобные же формы проникли в нидерландский: *self-zulfander*, *zelf-sulfderde*, *sülfjöfte*. Трудно сказать, что именно означает пробел в *selb dreyzehend* (Nürnb., 1427), но вряд ли можно усомниться в том, что в более ранний период свободно использовалась флективная конструкция, не являющаяся сложным словом (Wörterbuch, X, 1, стр. 427) и представленная сочетанием типа *selbe vierden*, что особенно наглядно демонстрируется

² См.: D. S. Evans, A grammar of Middle Welsh, Dublin, 1964, стр. 48.

³ Поразительно, что, хотя Э. Бенвенист приводит факты из ведического, иранского, гомеровского и классического греческого, из латыни и один пример из древнерусского, он совершенно не упоминает ясных фактов кельтского, не говоря уже об изучаемом явлении в славянских и германских языках, обсуждаемых в настоящей статье.

инверсией в конструкциях *vierda selbe* (Nibel. 416, 4) или *er sechster selb und sieben* (= «selbdreizehnt»), хотя последняя носит явно поэтический и стилизованный характер.

В различных ветвях самого славянского сложное слово развилось сравнительно недавно, чтобы его с полным основанием можно было отнести к общеславянскому. В самом деле, сложное слово легко выводимо из более комплексного словосочетания, связанного грамматическим согласованием, которое довольно рано появляется во всех без исключения ветвях славянского; как мы только что заметили, это словосочетание можно, естественно, понимать как простое синтаксическое расширение известного индоевропейского «стыка» семантики с морфологией (словообразованием). Поэтому, если отвлечься от инноваций, то вряд ли можно допустить, что-либо общее между указанной конструкцией в славянском и германском, рассматриваемыми как целое. Вместо этого в славянском мы, видимо, имеем преобразованный реликт архаической индоевропейской конструкции.

Действительно, при ближайшем рассмотрении фактов немецкого и славянских языков можно, как мне кажется, увидеть развитие изучаемой конструкции в совершенно ином свете. Немецкая конструкция на *selb-* распространена по всему немецкому языковому ареалу и даже вклинивается в нидерландский. Но из всех германских языков этот континуум является территориально ближайшим к славянской языковой зоне. Что же касается немецкой конструкции, то, хотя сложное слово стало преобладать в последнее время, не подлежит сомнению, что в более ранний период было широко распространено синтаксическое словосочетание (*phrased*) с согласованием компонентов. Как мы уже видели, для славянского в более ранний период было типично словосочетание с согласованием и лишь в сравнительно недавнее время стало преобладать сложное слово. Более того, интересна география распространения указанной конструкции в пределах славянского: сложное слово наиболее распространено в польском, украинском (который испытывал влияние со стороны польского), в словенском и частично в сербско-хорватском. Все эти языки находятся на периферии немецкой языковой зоны и обнаруживают значительное влияние немецкого языка. Русский язык, с другой стороны, сохраняет согласованное словосочетание. В чешском находим оба типа; кажется вероятным, что сохранение согласованного словосочетания представляет собой лишь еще один из известных преднамеренных консервативных славизмов, которые мы часто обнаруживаем в чешском.

Таким образом, славянский унаследовал индоевропейское употребление порядкового числительного в значении «тот, кто составляет группу или ряд» и в ранний период своего развития как отдельный диалект расширил изучаемую конструкцию посредством **sám-* с согласованием. В ранний период развития немецкого языка эта конструкция была заимствована путем распространения из соседних славянских языков; это произошло достаточно рано, чтобы немецкий эквивалент мог распространиться по всему немецкому языковому континууму вплоть до Нидерландов. Постепенно в немецком рассматриваемая синтагма была превращена в сложное слово с фиксированным порядком компонентов; это было облегчено тем обстоятельством, что в обеих конструкциях некоторые формы *selb* постоянно выступали без какого-либо явного окончания. Впоследствии, на повороте тысячелетия, славяне в тесном контакте с немцами начали заимствовать конструкцию со сложным словом, что особенно проявилось в польском и словенском.

Резюмируя сказанное, можно сказать, что перед нами унаследованная индоевропейская конструкция, которая впоследствии в различные периоды истории распространилась в двух направлениях.

В. У. ДРЕССЛЕР

К ПРОБЛЕМЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ АНАФОРЫ¹

§ 1. Под эллиптической анафорой мы понимаем, коротко говоря, пропуск обязательного дополнения при предикате, возможный благодаря референционному тождеству этого последнего с дополнением предшествующего предложения в пределах того же текста. Таким образом, мы не имеем в виду эллипсис в диахроническом смысле².

Основу этого определения составляет теория синтаксической зависимости³, согласно которой каждый предикат требует определенного количества обязательных дополнений, которые классифицируются по различным морфологическим и в отдельных случаях семантико-синтаксическим категориям (падежные и предложные дополнения, локальные, дирекционные и предикативные дополнения). Эта модель может быть истолкована с точки зрения теории семантической зависимости К. Хегера⁴, а также в свете порождающей семантики⁵; она находит объяснение в свете выдвигаемой представителями порождающей грамматики концепции синтаксического членения⁶, а также в свете формального языка логики предикатов, которая противопоставляет друг другу предикат и аргументы⁷. Количество необходимых облигаторных дополнений называется валентностью глагола⁸; можно различить авалентные, моновалентные, бивалентные, тривалентные глаголы. Кроме того, один и тот же глагол может обнаружить различные валентности; так, например, новогреч. δίδω является тривалентным в значении «кто-то дает кому-то что-то», бивалент-

¹ Сокращения даются по «Bibliographie linguistique» (Utrecht — Antwerpen). Выражаю сердечную благодарность своим информантам: по словацкому языку — доктору М. Ивановой-Шалинговой, И. Зеленаку, по литовскому языку — проф. А. Климасу и И. Тининису, по албанскому языку — З. Некаю, Р. Малики, Г. Романо, по новогреческому — доктору Г. Бабаиотису.

² Ср., например: В. Делбрюк, *Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen*, III, Straßburg, 1900 («Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen», 5, 3), стр. 127—130.

³ L. Tesnière, *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, 1959. Критику см.: К. Вайнгартнер, *BSI*, 5, 1965, стр. 31 и сл.; Э. Патаян. Предмет и основные понятия структурального синтаксиса, Ереван, 1968, стр. 57. Новая система содержится в кн.: Н.-Ж. Негингер, *Deutsche Syntax*, Berlin, 1970, и «*Theorie der deutschen Syntax*», München, 1970, ср.: *ZDS*, 23, 1967, стр. 13 и сл. 24, 1968, стр. 122 и сл.

⁴ *ZRP* 82, 1966, стр. 138; ср.: К. Вальдinger, *CLex* 8, 1966, стр. 3 и сл.

⁵ Ср. литературу в кн.: Н. Кренн — К. Мюллер, *Linguistische Berichte*, 1, 5, 1970, стр. 85—106.

⁶ N. Chomsky, *Aspects of the theory of syntax*, Cambridge (Mass.), 1965, Ср.: H. Seiler, «*Lingua*», 20, 1968, стр. 337—367; J. J. Robinson, *JoL* 6, 1969, стр. 57—80.

⁷ См.: Н. Рейхенбач, *Elements of symbolic logic*, New York, 1947.

⁸ Эта концепция используется также в математической лингвистике в СССР и в США. См. например: Л. Н. Иорданская, *ВЯ*, 1963, 4, стр. 102 и сл.; И. А. Мельчук, Л. Н. Иорданская, *Автоматический синтаксический анализ*, 1, Новосибирск, 1963, стр. 12 и сл.; D. C. Наяс, «*Language*», 40, 1964, стр. 511—525; J.-J. Robinson, «*Language*», 46, 1970, стр. 259—285.

ным в значении «кто-то отдает деньги» и моновалентным в значении «ходить с» (при игре в карты).

В глубинной структуре предложения пустоты в схеме валентностей должны обязательно быть заполнены предикатом и теми или иными облигаторными дополнениями. По иному обстоит дело с поверхностной структурой. Так, например, под действием «conjunction reduction» (по терминологии порождающей грамматики) в одном из двух придаточных предложений (clauses) может отпасть общее дополнение, как это имеет место в отношении дополнения в именительном падеже (субъекта)⁹ в предложении *Er ißt und (er) trinkt* или в отношении дополнения в винительном падеже (прямое дополнение): *Er sieht (sie) und er hört sie*. В этих случаях опущенное дополнение в зависимости от обстоятельств может восстанавливаться в сознании слушающего.

Подобная восстановимость (recoverability) выходит за пределы предложения; таким образом мы переходим от синтаксиса предложения к синтаксису текста, в области которого и проявляется эллиптическая анафора¹⁰. Следовательно, она представляет собой факультативную синтаксическую трансформацию свертывания в пределах текста, превращающую семантико-синтаксическую глубинную структуру в конечную цепь поверхностной структуры. Мы ограничимся здесь рассмотрением облигаторных дополнений, так как факультативные дополнения могут пропускаться и в пределах синтаксической структуры предложения, независимо от синтаксических закономерностей текста.

§ 2. В с л а в я н с к и х я з ы к а х анафорический эллипсис часто используется особенно в ответах. Ср. серб.-хорв. *Jesi li kod kuće?* — *Jesam*. «Ты дома?» — «Я есть (дома)» или *Nisam* «Я не есть (дома)». Здесь серб.-хорв. *biti* означает «находиться где-либо» и является бивалентным, т. е. *biti* здесь требует облигаторного номинативного и локального дополнения. В то время как субъект выражен также и в глаголе и соответственно элиминируется референционным эллипсисом в отношении говорящего или слушающего в 1 и 2-м лицах, анафорический эллипсис локального дополнения появляется только при ответах.

В словacom находим битекстему «вопрос — ответ»: *Otvorili ste dvere?* — *Nie, ale otvorim*. «Вы открыли дверь? — Нет, но я (ее — дополнение в вин. падеже) отворю». В чешском предложении *Dávate dětem tu úlohu?* — *Ano, dávám* «Вы даете детям это задание? — Да, я даю (его им)» пропущены два облигаторных дополнения.

В примерах, приводившихся до сих пор, пропущенные дополнения всегда были определенными; однако эллиптическая анафора возможна и в отношении неопределенных дополнений, ср. словацк. *Máte zápalky?* — *Mám* «у Вас есть дрова? — У меня есть (какие они)». Эта неопределенная именная фраза может носить как специальный, так и неспециальный характер, т. е. могут иметься в виду как определенные, так и совершенно неопределенные индивидуумы¹¹.

Эллиптическая анафора возможна также в ответах на императивные предложения: словацк. ((*Zo*) *budite priateľia!* — *Ano, zobudim* или *Už som zobudil* или *prebudil* «Разбудите друга! — Да, я (его) разбужу (уже

⁹ В настоящей работе не приводятся примеры анафорического эллипсиса субъекта, ибо это явление представляется банальным для всех тех индоевропейских языков, в которых анафорическое подлежащее, не выраженное существительным, не требует местоимения.

¹⁰ Ср.: P. Hartmann, R. Harweg, H. Isenberg, «Replik», 1, 2. 1968; W. Dressler, Papers from the Sixth regional meeting of the Chicago Linguistic Society, 1970, стр. 202—205.

¹¹ В связи с этой парой противопоставлений см.: L. Karttunen, What do referential indices refer to?, Bloomington, 1968.

разбудил)». В обратных вопросах после повествовательных предложений также допустима эллиптическая анафора: *Budem dávať deťom úlohu — Budeš ozaj dávať?* «Я дам детям (какое-то неопределенное) задание — ты (его) действительно дашь?» (отметим неспециальное употребление слова «задание» и специальное употребление «его»).

Решающей предпосылкой существования этого типа эллиптической анафоры является тождество предиката в поверхностной структуре обоих предложений, причем тождество глагольной основы является вполне достаточной; префиксы же могут заменяться друг другом или нулем (ср. выше словацк. *budite — zobudim, zobudite — prebudim*). Возможны изменения категорий аспекта и вида (ср. также замену простой основы фреквентативной: словацк. *Prosilí ste priateľa? — Ano, úpenlivo som prosieval* — «Вы просили друга? — Да, (его) настойчиво просил»).

Если глагольные основы не идентичны, то анафорический эллипсис невозможен: словацк. *Predali sme knihu. — Kto ju kúpil?* — «Мы продали книгу — Кто ее купил?». Здесь в словацком анафорическое местоимение *ju* не может быть пропущено. Ограничение возможности использования эллиптической анафоры наблюдается в словацком в следующем типе диалога: *Predali sme knihu. — Komu ste ju predali?* — «Мы продали книгу. — Кому Вы ее продали?» Здесь также информанты отрицали возможность пропуска *ju*. В словацком эллипсисы возможны еще в связанном тексте одного и того же высказывания¹².

§ 3. Подобные же отношения наблюдаются в балтийском, что можно проиллюстрировать примерами из литовского языка.

В паре предложений *Ar duodi vaikams obuolių? — Duodu* «Дашь ты детям яблоки? — Я даю [их (какие они)]» имеются два эллипсиса, независимо от того, являются ли пропущенные дополнения определенными или неопределенными, специальными или неспециальными. В случае, когда дательный падеж или разделительный генитив эмфатически выделяются при вопросе, они могут пропускаться при ответе.

Чередование грамматических аспектов можно наблюдать в следующих парах предложений: *Duok man knygą — Taip, ra-duosiu* — «Давай (несовершенный вид) мне книгу! — Да, я (ее тебе) дам (совершенный вид)». *Pa-duok man knygas — Taip, duosiu*. «Поддай (совершенный вид) мне книги! Да, я (их тебе) дам (несовершенный вид)»¹³. С другой стороны, чередование префиксов, сопровождаемое изменением лексического значения, наблюдается в случаях: *Ar uz-darėte duris? — Ne, ati-dariau* «Вы открыли дверь? — Нет, я (ее) закрыл».

Хорошим доказательством того факта, что мы действительно имеем дело с тождеством глагольной основы, является следующий пример с усеченным предикатом: *Ar buvot susirinkę? — Bu.* «Вы собрались? — Да». Здесь в ответе мы находим лишь чистую глагольную основу вспомогательного глагола «быть». Подобно этому, но в несколько другой плоскости, усечение предиката в примере *Ar pamatė Jonas Mariją? — Pa.* — «Иоган видел Марию? — Да», где в ответе содержится лишь префикс совершенного вида *pa* (русск. *по-*)¹⁴.

По данным информантов, анафорический эллипсис возможен не только в ответах или в обратных вопросах, но и в едином, связанном высказывании, состоящем из нескольких предложений; однако основной предпосылкой возникновения эллипсиса и здесь является тождество глагольной

¹² Ср. примеры в кн.: J. O r l o v s k ū, *Slovenská syntax*, Bratislava, 1965, стр. 187—190.

¹³ Ср.: A. S e n n, *Handbuch der litauischen Sprache*, I, Heidelberg, 1966, стр. 187—190.

¹⁴ Ср.: V. R ū k e-D r a v i ŋ a, «Linguistics», 47, 1969, стр. 103 (с литературой).

основы. Это условие тем не менее нарушается в следующем примере ¹⁵: *Man reikia tavo raudono pieštuko.* — *Gerai. Gali imti.* «Мне нужен твой красный карандаш. — Хорошо, ты можешь (его) взять».

В противоположность этому информанты считают, что в литовском, как и в словацком, анафорический эллипсис невозможен в следующем предложении: *Mes pardavėme knygą.* — *Kam (ją) pardavėte?* «Мы продали книгу — Кому Вы (ее) продали?». По данным информантов эллипсис *ją* возможен лишь в очень фамильярной разговорной речи. В этой связи возникает трудная проблема стилевой нормы (ср. ниже § 9).

Нам представляется, что закономерности, наблюдаемые в балто-славянских языках, довольно точно отражают положение в индоевропейском языке-основе. Как мы покажем в следующих примерах, в одних индоевропейских языках существует больше ограничений использования эллиптической анафоры, а в других меньше. Значительное ограничение этого явления обнаруживается в албанском языке (как в тоскском диалекте, так и в гегском). Здесь существование анафоры в определенных именных фразах значительно ограничено. На вопрос *A(e) ke humbë ti nji libër?* — «Ты потерял книгу?» возможны следующие эллиптические ответы: *Po, e kam humbë* «Да, я ее потерял», где повторяется проклитическое местоимение, но не неопределенная именная фраза; или *Po, kam humbë nji libër* «Да, я потерял книгу», где повторяется неопределенная именная фраза, но не проклитическое местоимение. Предложение **Po, kam humbë* невозможно. При ответе на вопрос с определенной именной фразой *A e ke humbë ti librin?* «Ты потерял (определенную) книгу?» местоимение *e* не может быть пропущено.

По крайней мере в албанском языке противопоставление специально-го и неспециального связано с категорией времени. Именная фраза, содержащая неопределенный артикль *nji/një*, не может, по-видимому, быть полностью неспециальной в пределах предложения, в котором используется прошедшее время, в связи с чем возможности эллиптической анафоры ограничены (ср. выше). Иначе обстоит дело при использовании будущего времени *A do të lexoni ju sot nji libër?* — *Po, do të lexoj* «Вы сегодня будете читать книгу? — Да, я буду (какую-то) книгу читать». Здесь неспециальная неопределенная именная фраза в ответе может быть пропущена, причем ни вопрос, ни ответ не содержат проклитического местоимения. Ответ *Po, do t'a lexoj* (с проклитическим местоимением) означал бы «Да, я ее прочту» (т. е. определенную книгу). Ответ в специальном значении невозможен в случае, когда именная фраза стоит во множественном числе: *A do të lexoni ju sot libra?* — *Po, do të lexoj*, но никогда *do t'i lexoj!*

Именные фразы носят ярко выраженный неспециальный характер в случае, когда они не содержат неопределенного артикля *nji/një*: *A more letër prej vllait?* — *Po, mora* «Ты получил письмо от брата? — Да, я получил»; *A keni ngrënë (hângër) bukë?* — *Po, kam ngrënë (hângër)* «Ты ел хлеб? — Да, я ел (хлеб)»; *Po, e kam ngrënë* означало бы определенный хлеб. Аналогично *A keni pirë ujë?* — *Po, kam pirë* «Ты пил воду? — Да, я пил (воду)».

Мнение наших информантов расходилось относительно возможности анафорического эллипсиса при тривалентных глаголах. Здесь при ответе, по крайней мере частично, может быть пропущено дополнение с определенной именной фразой: *A ia keni dhënë ju librin mikut?* — *Po, $\left. \begin{matrix} ia \\ e \\ i \end{matrix} \right\} kam$*
dhënë «Ты дал книгу другу? — Да, я (ее ему) отдал».

¹⁵ Приводится по кн.: L. Dambriunas — A. Klimas — W. Schmalstieg, Introduction to modern Lithuanian, New York, 1966, стр. 87.

В качестве перехода к «conjunction reduction» можно привести два примера на эллипсис в пределах предложения¹⁶: *Unë kam durim, por ata nuk kanë* «У меня есть терпение, а у вас (его) нет»; *Na ishim miq e jemi* «Wir waren Freunde und sind (es)».

§ 5. Систематическое исследование мертвых индоевропейских языков очень осложняется тем обстоятельством, что частотность интересующего нас явления в текстах очень невелика.

Для древнеиндийского языка можно указать на пример из комментария Панини (3, 2, 121): *Akārṣiḥ kaṣam Devadatta? — Aham nva-kārṣam* «Ты сделал (определенную или неопределенную) цыновку, о Девадатта? — Я (ее) сделал».

В хеттском анафорический эллипсис в пределах связного высказывания засвидетельствован почти исключительно в более ранний период развития языка, а также в архаизирующих текстах. В древнехеттском Ритуале КБо XVII, 1¹⁷ можно найти примеры типа 1, 36: *LUGAL-uš ERIN^{MEŠ}-an III-Š [U alla] ppaḥhi SAL. LUGAL-aš-a III-SU all [app] aḥhi* «Король трижды плюет на войска, а королева также плюет (на них) трижды». Здесь перед нами тождество предиката. Это, однако, не является необходимым, ср. там же 1, 27—79: *DUMU. E. GAL-iš ḡhant [aš] epan LUGAL-i kiššari dai teššummin-a pai* «Вельможа кладет (деревянное) божество Хантасепа в руку короля и дает (ему) кубок».

Как заметил уже И. Фридрих¹⁸, анафорическое местоимение часто отсутствует после архаического союза *ta*, а также в хеттских законах, например, § 22, КБо VI, 2 i 48: *takku IR-aš huwai nan appa kuiški uwatezzi takku maninkuanepzi...* «Если раб бежит и кто-то его возвращает обратно, если он (его) ловит на небольшом расстоянии», ср., например, § 71, 90. Как мы увидим в § 6 и далее, и в других языках эллиптическая анафора типична для архаизирующего языка законов.

§ 6. В древнегреческом языке анафорический эллипсис очень широко распространен, хотя, как правило, и не принимался во внимание филологами и лингвистами¹⁹. Большинство примеров можно почерпнуть в диалогах и особенно в стихомитиях в драматической литературе, а также в тех диалогах Платона, которые подражают разговорному языку.

В качестве примеров можно привести ответы на вопросы (*Entscheidungsfrage* или *Doppelfrage*) с определенными дополнениями: Platon, Phd 64-e: *τοὺς ἄλλους καλλῶπις μοῦς... πῆτερον τιμᾶν δοκεῖ σοι ἢ ἀτιμᾶζειν ...; Ἀτιμᾶζειν ἔμοιγε δοκεῖ* «Считаешь ли ты, что другие украшения следует ценить или ими надо пренебречь? — (Ими) надо пренебречь, так кажется мне во всяком случае»; Aristophanes, Eq. 163: *τὰς στίχας ὄρας...; — ὄρω* «Ты видишь ряды? — Я вижу их»; ср. Menander, Dys. 349, Sophokles, Oed. Rex 1156 и сл.; Platon, Phd. 77a; Lysias 12, 25 (*ἡἀντέλεσθον*). Вместо спрошенных у Эврипида отвечает хор: Tro 1289—1291: *τάδ'... δέδορακα; — δέδορακα* «Ты это видел? — Он (это) видел».

Неопределенная именная фраза пропускается в примере: Sophokles, Oed. Rex 1475: *λέγω τι; — λέγεις* «Я что-то говорю? — Ты (что-то гово-

¹⁶ Приводится по кв.: M. C a m a j, Lehrbuch der albanischen Sprache, Wiesbaden, 1969, стр. 9 и 18.

¹⁷ StBoT 8, ed. by H. Otten — V. Souček, Wiesbaden, 1969, стр. 89—91. Другие примеры см.: F. S o m m e r — A. F a l k e : s t e i n, Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattušili, I, München, 1938, стр. 109.

¹⁸ «Hethitisches Elementarbuch», 2 Aufl., Heidelberg, 1960, стр. 131.

¹⁹ Собрание примеров с особым вниманием к произведениям Гомера дают Р. Кюнер и Б. Герт: R. K ü h n e r — B. G e r t h, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, II, 2, Hannover, 1904, стр. 561 и сл. (под рубрикой «брахилогия», где анафорические эллипсисы не отделяются от других видов эллипсисов).

ришь)», ср. Aristophanes, Nubes 90; с отрицанием. Platon, Phd. 80b: ἔχομεν τι; — οὐκ ἔχομεν «У нас что-то есть? — Мы (этого) не имеем».

Пропущенная явная анафора представляет собой accusativus cum infinitivo у Платона: Phd. 74a: φῶμεν τι εἶναι ἢ μὴδέν; — Φῶμεν μέντοι «Мы говорим, что что-то имеется или ничего нет? — Мы (это) говорим!», ср. там же 65d.

Примеры ответов на императивные предложения находим у Софокла: El. 1228—1230: ὄρατ' Ὀρέστῃ... — ὄρωμεν «Смотрите на Ореста! — Мы видим (его)». У Эврипида (Hipp. 243—250) приказание μου κρόψον κεφαλὴν в стихе 245 повторяется в качестве эллиптического варианта κρόψτε «Накройте мне голову! ... Накройте (ее)!», на что следует ответ κρόψτω «Я накрываю (ее)»; ср. Aristophanes, Ach. 348, Eq. 170 и сл.; 970 и сл.

Примеры ответов на повествовательные предложения: Euripides, Hipp. 1395 и сл.: ὄραξ με... — ὄρω «Ты видишь меня... — Я вижу (тебя)», ср. Platon, Phaidon 61e. Однако antecedent может стоять и в придаточном предложении, например, Platon, Phd. 105b: εἴπερ... καὶ συνδοκεῖ σοι οὕτως. — Πάνυ σφοδρὰ καὶ συνδοκεῖ «Если тебе действительно так кажется. — Очень кажется (мне)»; ср. Sophokles, El. 1044 и сл.; Euripides, Hipp. 334 и сл. Antecedent может стоять также и в причастной конструкции, как в Aristophanes, Ed. 1254 и сл.

Примеры на обратные вопросы: Aristophanes, Ach. 914—917: καὶ σέ γε φανῶ... — ἐπειτα φαίνεις δῆτα διὰ θραυλλίδα «Ich werde dich anzeigen... — Dann zeigst du (mich) wegen eines Dochtes an?» и с чередованием валентности (увеличением валентности). Aristophanes, Pl. 1073: καὶ μὴν κατηγορεῖ γέ σου. — τι κατηγορεῖ «И он тебя обвиняет. — В чем он (меня) обвиняет?», ср. Sophokles, El. 1211 и сл.

Если вопрос повторяется, то повторение может носить эллиптический характер, например, Menander, Dysc. 409—411 τίς δ' ἑώρακεν ἐνόπμιον; — τίς εἶδεν «Кто видел сон? — Кто видел (его)?»; ср. Platon, Crat. 386b (ἔδοξαν).

Анафорический эллипсис в одном и том же высказывании обнаруживается, например, в надписи на кипрской бронзовой табличке из Идалиона²⁰: 1, 11 и сл. (ср. 24 и сл.): ἡ καὶ τις Ὀνασίλων ... ἐξ τῶν χώρων τῶνδε ἐξουόζη, ἰδέ και, ὁ ἐξουόζη, πείσει «Если кто-нибудь выгонит Онасилоса (и других) из этой страны, то те, которые (их) выгонят, должны расплачиваться за это»; ср. аргивийскую надпись SEG 11, 314, 1, 10 (χρῶνθω).

Анафорический эллипсис обнаруживается также при изменении, утрате или приращении глагольного префикса, например, Aristophanes, Ed. 95 и сл.: ἀλλ' ἐξ — ἐνεγκέ μοι ταχέως οἶνον χάα ... ἀλλ' ἐνεγκ' «Принеси мне быстро меру вина! Принеси же (ее)!»; ср. Sophokles, El. 395 и сл., а также Oed. Rex 566 и сл. ἀλλ' οὐκ ἐρευνᾶν τῷ κτανόντος ἔσχετε — λαρέσσομεν, πῶς δ' οὐχί «Разве Вы не разыскивали убийцу? — Конечно, мы (его) разыскивали, как же иначе?» Одна и та же именная основа повторяется в аркадийской надписи 41, 66 и сл.: [εἰ τυ]νὰ Γέσχοι ζτηραῖον λῶπος. [ἱερῶ]ν ἦναι ταῖ Δάματρι θεομοφόροι. [εἰ δὲ] μὴ ὄν-ιερώσει «Если женщина одевает пестрое платье, то оно должно быть освящено Д. Т. Если она (его) не освящает»; ср. там же 1,6 (ἀπάτητοι).

Эллипсис обнаруживается, однако, при употреблении совершенно различных глагольных корней: по крайней мере у Аристофана мы находим синонимы: Pl. 143: τί λέγεις; — φῆμ' ἐγῶ «Что ты говоришь? — Я утверждаю (это)». Однако и здесь мы имеем дело с *verba dicendi*, в которых подчеркивается справедливость предшествующего утверждения, хотя анафорически на это ясно не указывается. Ср., например, там же: 96, 214, 222, 395; Ach. 736; Eq. 131; Aves 67, 1212; Platon, Crito 49b (φαμέν ἢ οὐ;) Aischylos, Persae 350.

²⁰ O. M a s s o n, Inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, 1961, № 217.

Примеры эллипсиса при изменении глагола (без синонимии) находим в ответах у Аристофана: Ach. 764 и сл.: $\tau\acute{\iota}$ δαὶ φέρεις; — χοίρωσ ἐγωνυγὰ μωστικάς. — καλῶς λέγεις' εὔδειξον, ср. Eq. 947 и сл.; 957. Aves 1214; Platon, Phd. 95a (ἐξευρίσειν). В придаточном предложении того же высказывания у Эврипида использован эллипсис: Tro 464 и сл.: ἢ μεθρησέτ' ἡραῖαν παροῦσαν; αἶρετ' εἰς' οὐθὺν δέμας «Или Вы оставите в беде упавшую старуху? Вставайте и выпрямитесь!» Ср. Euripides, Hipp. 1086 и сл., аркадийскую надпись IG V, ii 3 (καταλάσση) лаконскую надпись IG V, i 1317 (ἀνιστάμεν), аргивийскую надпись SEG II, 314. 1.11 (σίγκιτο).

Очень часто использование эллипсиса при причастии²¹, например, Batrachomyomachia, 13: ξεῖνε, τίς εἶ; ... τίς ὁ φόβος «Чужестранец, кто ты? Кто тот, который (тебя) создал»; ср. Platon, Phd. 62e (ἀκούσας), Aischylos, Ag. 1542; Sophokles, El. 319, 1200; Aias, 1127 и сл., Aristophanes, Aves, 325.

Особенно распространена эллипсическая анафора в архаическом языке законов, что видно из небольшого количества примеров, подчеркнутых из первых трех табличек законов Гортина²². Уже первое предложение содержит эллипсическую анафору без тождества глаголов: «Ὁς κ' ἐσοῦθ' ἔρωι ἢ δόλωι μέλλη: ἀντιμολῆν про δίκας μὴ ἀγεν «Кто хочет судить свободного человека или раба, не должен (его) задерживать до суда». Второе предложение содержит анафорический эллипсис как с тождеством глагола, так и без такого тождества: αἰ δὲ κ' ἀγῆι, καταδικασάτω «Если он (его) задержит, то должен (судья задержанного) судить». Это предложение содержит также и референционный эллипсис²³, который показателен для древних индоевропейских законов: в то время как субъект глагола ἀγῆι: анафорически пропускается, при субъекте глагола καταδικασάτω не встречаются никакие анафоры, ибо судья не был еще назван. В принципе эллипсис носит «пресуппозиционный» характер, т. е. с самого начала предполагается, что никто другой, кроме судьи, не может объявить приговор. С лингвистической точки зрения в глубинную структуру должна быть введена figura etymologica * ὁ δικαστὴς καταδικασάτω, в связи с чем субъект этой figura etymologica ликвидируется в результате пресуппозиционной трансформации²⁴. Подобное же положение находим в примере 1, 27 и сл.: αἰ δὲ κ' μὴ λαχάσῃ ἢ μὴ ἀποδοῖ, δικασάτω νικῆν... στατήρακς «Если он (подсудимого, т. е. свободного или раба) не отпускает на волю, или не отдает, он (судья) должен вынести решение, что (выигравший) получает х статов». Ликвидированный субъект глагола νικῆν, а именно τὸν νικῶντακς может легко восстанавливаться в сознании (recoverability).

Интересен случай III, 24: αἰ δὲ κ' ἀτεκνὸν καταλίπηι, τὰ τὲ Fα αὐτῆς ἔχει «Если (мужчина женщину) оставляет бездетной, (она) должна иметь свое». На основе возвратного объекта τὰ Fα αὐτῆς в сознании однозначно восстанавливается субъект αὐτῆς; в придаточном предложении мы находим два анафорических эллипсиса, однако вопрос о том, кто кого оставляет, разъясняется не путем грамматического параллелизма или подобными грамматическими средствами, а скорее предполагается из предварительного знания читателя. Таким образом, мы подходим к социо-исторической обусловленности эллипсисов в законе Гортина: содержа-

²¹ Основная масса примеров собрана в кн. R. Kühner — B. Gerth, указ. соч. II, 2, стр. 561 и сл.

²² Недавно издано в кн.: R. F. Willets, The law code of Gortyn, Berlin, 1967.

²³ Ср. об этом также: J. Fillmore, Types of lexical information, Mimeo, стр. 22 и сл.

²⁴ Ср. у Гомера: ὄθεν τέ περ αἰνοχέεται (т. е. ὁ αἰνοχέας), Odyssee 20, 142, «откуда (виночерпий) также разливает вино».

ние закона было настолько хорошо известно через устную юридическую традицию, что стали возможными эллипсисы, напоминающие сокращения в индийских сутрах. Интерпретации эллипсисов в законах Гортина могла бы быть посвящена специальная работа.

§ 7. В л а т и н с к и х грамматиках можно найти примеры эллиптической анафоры, приводимые обычно вместе с другими явлениями, известными под общим названием «брахилогия»²⁵. Что касается ответов, то в грамматиках можно найти примеры «повторения слова, на которое падает ударение»²⁶.

Особенно много примеров на анафорический эллипсис в ответах находим в древнелатинских комедиях. Так, определенная именная фраза пропускается у Плавта. Rudens 719 и сл. *Suntne illae ancillae tuae? — Sunt*, ср. брачную формулу: Plautus, Trinummus, 1157 и сл.: *Sponden ergo tuam gnatum uxorem mihi? — Spondeo et mille auri Philippum dotis* «Обещаешь ли ты выдать за меня свою дочь? — Я обещаю (ее) и 1000 золотых филиппов в качестве приданого», ср. там же, 1162 и сл. и *Captivi*, 898 (в 899 следует реплика *respondeo*).

С определенной именной фразой используются личные местоимения: Plautus, Rudens, 723 и сл. *Mihi non liceat? — Non licet* «Не следует ли мне разрешить это? — Это (тебе) не разрешено» или там же 846—850; *Quis illas nunc illic servat? — Is nunc cum servis servat* «Кого вы теперь охраняете там? — Он охраняет (их) теперь с рабами», ср. *Curculio* 173.

Пропущенная именная фраза у Плавта является неопределенной: *Asinaria*, 432 и сл.: *Ecquis pro vectura olivi rem solvit? — Solvit* «Кто-нибудь платил деньги за перевозку масла? — (Деньги) заплатили»; ср. *Trinummus*, 330; *Seneca*, *Epist.* 47 (*habebis* носит специальный характер).

У Теренция в разговоре трех лиц находим ответ, совмещенный с обратным вопросом и содержащий эллиптическую анафору собственного имени: *Phormio*, 510 и сл.: *Pamphilam meam vendidit. — Quid? vendidit? — Ain? vendidit? — Vendidit* «Он продал мою Памфилу. Что, он продал (ее)? — Действительно? Он продал (ее)? — Он продал (ее)».

Неспециальный характер носит и пропущенная именная фраза в обратном вопросе у Плавта: *Rudens* 720 и сл. *Tange utramvis digitulo minimo modo — Quid si attigero?* (с прибавлением префикса при глаголе) «Не тронь никого из двух даже кончиком пальца! — Что, если я (кого-нибудь) трону?». В связи с изменением префиксов ср. *Mostellaria* 261: *Tum tu igitur ce-do purpurissum — Non do*. «Тогда отдай пурпур! — Я (его) не отдам» и стих 349: *Ecquis hic est? — Ad-est* «Есть кто-нибудь здесь? — (Кто-то) есть».

В латинском также возможен анафорический эллипсис без тождества глагола в одном и том же высказывании, например, *Caesar*, *B. G.* 3, 67: *cohors... ad legionem Pompei castraque minora duplici acie eduxit. neque eum prima opinio fefellit, nam et pervenit* (т. е. *eo*) «Он направил когорты к легионам Помпея и к малому лагерю двойными шеренгами. И его первое предположение не обмануло его, ибо он прошел (туда)», ср. *Livius* 5, 46, 6 (*admonebat*), *Accius* 491 (*paenitet*); *Horatius*, *epod.* 11, 7 (*pudet*), *sat* 1, 9, 68 (*memini*), *Ovidius*, *epist. ex ponto* 1, 1, 59 и сл. (*paenitet*), *Cicero Verr.* 4, 16, 35 (*emisse*)²⁷.

²⁵ Например: R. Kühner — S. Stegmann, *Ausführliche Grammatik der Lateinischen Sprache*, II, 2, Hannover, 1914, стр. 555 и сл.

²⁶ R. Kühner — S. Stegmann, указ. соч. стр. 531 и сл., ср.: H. Menge, *Repetitorium der Lateinischen Syntax und Stilistik*, Leverkusen, 1953, стр. 275, § 411.

²⁷ Другие примеры эллипсиса у отдельных авторов см.: I. Nye, *Sentence connection illustrated chiefly from Livy*, Weimar, 1912, стр. 72—76; R. Frobenius, *Die Syntax des Ennius*, Nördlingen, 1910, стр. 29, Примеры эллипсиса при причастии см.: W. Dressler, *RPh*, 44, 1970, стр. 32, § 3.3.8.

Для арахаизирующего языка законов характерен как референционный, так и анафорический эллипсис. Примеры на последний случай можно найти в Законах на двенадцати табличках: 1, 6 и сл. *rem ubi pacunt, orato ni·pacunt, ... caussam coniciunto* «Если (стороны) улаживают спор, об этом должен (претор) говорить» (два референционных эллипсиса). «Если они не улаживают (спор), они должны... рассмотреть дело в судебном порядке». III, 2: *Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito... secum ducito, vincito* «Тогда происходит арест (должника). Кредитор (референционный эллипсис) должен должника отвести в суд... (его) отвести и заковать в кандалы». Ср. Aulus Gellius, IV, 3, 3 (*tangit*).

§ 8. В качестве последней индоевропейской семьи языков мы рассмотрим кельтские языки. В ирландском до наших дней существует анафорический эллипсис в ответе. Ср. в древнеирландском *Vita Tripartita S. Patricii* 116, 18 и сл.: *In· fail naill con· desta?* — «*Fil*, ol *Pátraic* «Есть ли что-то еще, в чем ты нуждаешься? — Есть (что-то), сказал Патрик»; Lebor na *Huidre* 5167: *Ni·chumci són...* — *Cumcim écin* «Ты это не можешь... Я могу это, конечно». Эти формы ответов носят прототонический характер²⁸.

В качестве примера единого связного высказывания можно привести *Táin Bo Froích*²⁹ § 20: *Tbcabar immach la sodain ocus berair ciccú* «Тогда вытащили (Фройха) и привели (его) к нему», а также Murphy,³⁰ № 46, строфа 17 (65) *gonaid, marbaid, airligid* «Убей, умертви, уничтожь (человека, упоминавшегося в строфе 16)!».

Таким же образом можно объяснить, очевидно, относительные придаточные предложения в глоссе *Wb 6 c 17: ní lanech atchí sed fide* «es ist nicht bei einem, der (es) sieht, sed fide». Р. Турнайзен³¹ объясняет леницию *ad·ci* «он видит» (к *ad·chi*) тем обстоятельством, что здесь инфигированное местоимение среднего рода в 3-м лице ед. числа представлено в форме, которую оно имело бы в главном предложении, но эта форма не подходит для относительного придаточного предложения. Возникает вопрос, нельзя ли здесь допустить существование относительного придаточного предложения с леницией без инфиксации местоимения?

Эллиптические формы ответов можно найти в кимрском языке, например *A welí di y ty?* — *Gwelaf* «Ты видишь дом? — Я вижу (его)»³².

В новобретонском языке анафорический эллипсис в некоторых формах ответа является облигаторным, в фамильярной же устной речи это явление в некоторых случаях возможно (факультативно), в некоторых очень ограниченно³³.

В среднебретонском языке анафорический эллипсис обоих типов был широко распространен. Для кимрского аналогичные формы ответов отмечает П. Лёру³⁴, например: (68) *A c'hui promet...?* — *Gran* «Вы обещаете? — Я (это) обещаю».

Некоторые примеры эллисиса, встречающегося в предложениях, не носящих характера ответов, собраны Р. Хемоном³⁵ под заголовком «Пропуск местоимения третьего лица», например, *aman ez laquaer en prison*

²⁸ Примеры см.: М. Драак, «Eriu», 16, 1952, стр. 74—78.

²⁹ «Die Romanze von Froech und Findabair», hrsg. von W. Meid, Innsbruck, 1970.

³⁰ «Early Irish lyrics», Oxford, 1956.

³¹ «Handbuch des Altirischen», II — Texte mit Wörterbuch, Heidelberg, 1909, стр. 57, № 43.

³² J. Pокорну, «Sprache», 5, 1959, стр. 154, ср.: D. S. Evans, A Grammar of Middle Welsh, Dublin, 1964, стр. 176, § 197.

³³ Ср.: W. Dressler, Skizze einer bretonischen Textsyntax, § 6.2.; «Donum Indogermanicum. Festschrift A. Scherer», Heidelberg, 1971.

³⁴ «Le verbe breton», 2-me éd., Rennes — Paris, 1957, стр. 452.

³⁵ «Celtica», 2, 1954, стр. 241 и сл.

«здесь ее берут в плен». В связи с тем, что в примерах Р. Хемона глагольная часть всегда представлена в форме *ez*, но не *e*, он считает, что *-z* в *ez* может представлять собой остаток инфигированного местоимения. Анафорический эллипсис в среднебретонском не является столь редким.

В «*Mystère breton de saint Crépin et de saint Crépinien*»³⁶ читаем (стих 625); *Comanset da daillan, me biscoas na meus groet* «Начните резать, я никогда (этого) не делал», ср. стихи 226, 1078, 1707, 1912, или стих 1730: *Ret eo dach eur veach cafet fin d-o bue, a laquat d-ar maro* «Вам необходимо поставить предел своим жизням и (их [мн. число]) довести до смерти». Ср. «*La vie de sainte Nonne*»³⁷, стихи 240, 673, 1688. Особенно част здесь императив типа *credet* «верь (в это)!»: стихи 29, 214, 440, 442, 737, 746, 750, 877, 943, 1062, 1447. Подобным же образом в «*L'ancien mystère de Saint Gwénolé*»³⁸, стихи 151, 299 (ср. 265, 311, 315, 353, 983), ср. там же стих 1029 *pa ez requadaf* «если я (это от тебя) требую» и стихи 155, 440.

§ 9. Во французском языке анафорический эллипсис представляется невозможным, а в немецком и английском возможен лишь только при эмфазе³⁹, подобно тому, как это имеет место в новогреческом. В ответе на вопрос *Του τό 'δωσας?* «Дал ли ты это ему?» — *Ναι, του τό 'δωσα* «Да, я это ему дал» дополнение непрямого объекта (*του*) может быть пропущено лишь в случае, если налицо эмфаза.

Мы наблюдаем здесь интересное параллельное развитие. Как мы видели, возможности анафорического эллипсиса ограничивались в следующих языках и языковых семьях в процессе их исторического развития: в хеттском, в латыни и романских языках, в бретонском и в греческом. Из остальных современных языков в албанском наблюдаются большие ограничения существования интересующего нас явления. В балто-славянских языках также обнаруживаются ограничения и в этом отношении они более точно отражают индоевропейское состояние, чем современные языки типа французского, бретонского, албанского, новогреческого.

При исследовании эллиптической анафоры в индоевропейских языках следовало бы: 1) проанализировать другие языки и ветви языков; 2) более подробно изучить механизм интересующего нас явления в балто-славянских языках, где оно наиболее близко праязыковому типу, а также 3) исследовать процесс исторического отмирания эллипсиса. Здесь, однако, возникает важный теоретический и методологический вопрос. В обычном языке эллипсисы обычно намного более частотны, чем в письменном⁴⁰. Таким образом, механизм анафорического эллипсиса различен в зависимости от стиля. При формализованном рассмотрении этого явления можно, видимо, утверждать, что эллипсис порождается трансформацией свертывания, регулируемой социолингвистическими факторами, как это было предложено В. Лабовым⁴¹. Исследование исторических эпох развития языка, следовательно, осложняется новыми трудностями.

Перевел с немецкого М. М. Макоевский

³⁶ «*Revue Celtique*», 25, стр. 299 и сл., 420 и сл.; 26, стр. 96 и сл., 200 и сл.; 27, 19 и сл.

³⁷ «*Revue Celtique*», 8, стр. 230 и сл., стр. 405 и сл.

³⁸ «*Ann Bret*», 41, 1934, стр. 104 и сл., стр. 318 и сл.

³⁹ Ср.: W. Dressler, *Commentationes societatis linguisticae Europae*, 3, 1970, стр. 68 и «*Folia linguistica*», 4, 1970, стр. 46.

⁴⁰ Ср. § 3 (конец) и R. Karsen, *Studies in the connection of clauses in current English*, Bergen, 1959, стр. 308 и сл.; R. Gunter, «*Lingua*», 12, 1963, стр. 140—142; W. Havers, *Handbuch der erklärenden Syntax*, Heidelberg, 1931, стр. 26, 27 и сл., 53; J. B. Hofmann, *Lateinische Umgangssprache*, Heidelberg, 1926, стр. 167 и сл.; А. В. Федоров, Н. Н. Кузнецова, Е. Н. Морозова, И. А. Цыганова, *Немецко-русские языковые параллели*, М., 1961, стр. 119 и сл.

⁴¹ «*Studium Generale*», 23, 1970, стр. 42 и стр.

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

В. М. НАСИЛОВ

ЯЗЫК СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ ПАМЯТНИКОВ
УЙГУРСКОГО ПИСЬМА

Знаком живых и мертвых тюркских языков Средней и Центральной Азии В. М. Насилов (1893—1970), пользующийся во всех тюркоязычных республиках заслуженной славой педагога, вырастившего не одно поколение тюркологов, известен также как автор очерков по истории письменных тюркских языков старшего периода — «Язык орхон-суйсейских памятников» (М., 1960) и «Древнеуйгурский язык» (М., 1963). Незадолго до смерти В. М. Насилов подготовил для печати завершающую монографию этого цикла — «Язык средневековых тюркских памятников уйгурского письма»; при этом очерк «Древнеуйгурский язык» рассматривался им как своего рода «введение к материалам, которые подвергаются анализу в данной работе».

Ниже публикуется извлечение из очерка «Язык средневековых тюркских памятников уйгурского письма», который в полном виде будет выпущен в свет Издательством восточной литературы.

В этой монографии подбор малонисследованных уйгурописьменных сочинений XI—XV вв., над языком которых велись наблюдения, осуществлялся прежде всего с точки зрения лингво-исторической их ценности и сонастоянности. Для анализа были взяты два произведения караханидского периода — близкие друг к другу по языку «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского (XI в.; далее — КБ, венская рукопись — КБВ) и «Атабэт-ул-хэкаик» Адиба Ахмела Югнеки (XII в.; далее — АХ). Это «образцы литературного языка, слагавшегося под влиянием исламской культуры, распространявшегося на восточный и западный Туркестан и получившего далее свое развитие и изменение в Хорезмо-золотоордынском государстве».

Для того чтобы представить эти «последующие звенья в развитии литературного языка в Средней Азии», были исследованы сочинение Наспр-эд-дина ар-Рабғузи «Қыссас-эл-энбийэ» (1310; далее — РБҒ.) и гератские памятники уйгурского письма XV в. Последние В. М. Насилов относил «к так называемому „чагатайскому“, восточнотюркскому языку»; среди этих памятников особенно в «Тэзкэрэ-и-эвлийэ» («со всей рельефностью выступают характерные черты литературного языка Средней Азии XV в. с преобладающими грамматическими формами „чагатайского“ периода, особенно разнообразными для спрягаемых форм глагола»). Проследившая основные линии фонетического и грамматического строя языка изучаемых произведений, В. М. Насилов по необходимости совершал также экскурсы в словарь Махмуда Кашгарского «Дивану-л-Луғат ат-тюрк» (далее — МК): «словарь этот важен не только своими обширными сведениями о лексической базе тюркских диалектов языковой системы, господствовавшей в караханидский период, но и тем, что он позволяет охарактеризовать живой и письменный язык того времени с точки зрения фонетической».

Для нынешнего состояния изучения истории тюркских письменных языков представляется чрезвычайно важным, что при анализе (на отдельных примерах) здесь вполне отчетливо дифференцировались «два структурных типа речи», отразившиеся в изучаемых памятниках: «стихотворный в „Кутадгу-билиг“ и „Атабэт-ул-хэкаик“ и прозаический повествовательный в произведениях „Қыссас-эл-энбийэ“, „Тэшхис-ул-нисан“, „Мираж-намэ“ и „Тэзкэрэ-и-эвлийэ“» (два этих структурных типа принимались в расчет при изучении синтаксиса простого предложения). Одновременно (тоже спорадически) учитывались жанровые и стилистические отличия изучаемых произведений. Так, говоря о «преждепрошедшем повествовательном» на *-мыш(-миш) арди*, В. М. Насилов подчеркивал: «Совершенно естественно, что в двух поэмах дидактического характера „Кутадгу: билиг“ и „Атабэт-ул-хэкаик“ форма данного структурного образования глагола отсутствует».

Примечательно также, что ученого привлекал и историко-культурный аспект изучения подобранных письменных памятников: «... мы не можем оставить без внимания то, — писал В. М. Насилов, — что между содержанием произведений буддийско-манихейского мировоззрения и глубоким гуманизмом в идеях „Кутадгу билик“ и „Атабэт-л-хэкаик“ (относимых обычно к памятникам мусульманской идеологии) существует органическая преемственная связь, расширяющая идейное значение этих памятников далеко за рамки мусульманской идеологии».

Условия журнальной публикации не позволили широко представить материалы В. М. Насилова; прежде всего пришлось опустить обстоятельное описание использованных ученым рукописей и изданий некоторых из них. Опуская также сведения по графике и наблюдения над фонетикой анализируемых письменных памятников, равно как и объяснение автором принципов транскрибирования их, мы уделили основное внимание ливго-исторической концепции В. М. Насилова, в частности — его пониманию динамики морфологического развития, которая стала одним из главных объектов исследовательской деятельности ученого, начиная еще со времени создания им «Грамматики уйгурского языка» (М., 1940), и интерес к которой непрерывно поддерживался его многочисленными работами по истории тюркских письменных языков старшего периода.

Г. Ф. Благова

С введением в 960 г. в Караханидском государстве ислама как официальной религии был принят и арабский алфавит как официальное письмо. Однако уйгурское письмо не только сосуществовало с арабским, но оказалось долговечным на очень обширной периферии вплоть до Герата — обе формы письма в Центральной Азии уживались вплоть до XV в. Тем, что в Средней Азии долго существовал не только книжный, но и живой разговорный язык *д*-группы, поддерживалась письменная традиция на уйгурском алфавите. Однако трансформация языка под влиянием все более распространяющихся с запада «мусульманских» форм письма, замена *д*-группы *й*-группой языка обуславливает постепенное вытеснение уйгурского письма.

В обзор данной работы входит комплекс таких литературных образцов, которые представляют собою как бы звено между памятниками древнеуйгурского языка буддийского и манихейского содержания и деловых юридических документов, с одной стороны, и памятниками так называемого мусульманского содержания, с другой. В этой фазе исторического развития, которое происходит под влиянием арабо-иранской исламской культуры, литературные произведения продолжали хранить традиции древнеуйгурских языковых памятников и в то же время отражали новые лексические и грамматические явления, слагавшиеся под интенсивным воздействием арабоиранских литературных образцов.

Нам представляется, что интеграция языковых особенностей исследуемых литературных произведений в нашем очерке должна послужить предпосылкой к пониманию многих языковых явлений в произведениях на тюрки и так называемом чагатайском языке, из которого слагались формы узбекского литературного языка средних веков.

Хотя образцы, язык которых анализируется в данном очерке, принадлежат различным авторам, представителям различных этнических групп, однако традиция и приемы литературного стиля в достаточной степени позволяют установить единый аспект для исследований и в то же время помогают дать интеграцию грамматических и лексических явлений в сводке, которая может послужить звеном в определении и оценке тех или иных форм в литературном языке тюркских народов.

Характерные особенности древнеуйгурского языка преемственно встречаются в языке «Кутадгу билиг» (XI в.) Юсуфа Баласагунского, «Атабэт-ул-хэкаик» Адиба Ахмеда Югнеки (XII в.), «Қыссас-эл-эвбийэ» хорезмийца Рабгузи (XIV в.) вплоть до таких литературных образцов XV в., появившихся в Герате, как «Тэзкэрэ-и-эвлийэ» (1436) и «Мираж-намэ»

(1437), а также манускрипт «Тэшхис-ул-инсан» (текст последнего чрезвычайно удобно сопоставлять с «Мираж-намэ»).

Выбранные нами памятники дали возможность проследить (конечно, относительно) лексико-грамматические изменения, завершившиеся в XV в. становлением конгломератного языка тюркь, впитавшего караханидско-уйгурскую, хорезмо-золотоордынскую и восточно-тюркскую (так называемую «чагатайскую») типологию.

В текстах литературных произведений, столь различных по времени и месту написания, мы стремимся выделить, с одной стороны, то общее, что объединяет их в языковом отношении в сфере литературной традиции, а с другой — отметить также то, что является специфическим в формах языка отдельных произведений, констатируя таким образом явления, присущие этническим особенностям языковой среды, к которой принадлежал автор. Нам думается, что тем самым данная работа служит двум направлениям исследований в области истории тюркских литературных языков — как свидетельство неразрывности уйгурской литературной традиции и как предпосылка к изучению отдельных произведений в аспекте диалектных особенностей их языка и этнической принадлежности их создателей. Кроме того, выполненный нами сопоставительный анализ грамматических форм и частично лексики исследуемых произведений позволяет более расширенно воспринять смысловые модуляции отдельных слов в определенных контекстах, уточнить их значения и дифференцированно расшифровать семантику грамматических форм, которая часто не бывает идентичной в разных контекстах.

Влияние языковых закономерностей огузской, юго-западной группы, имеющей тенденцию редуцировать и спирантизировать небные (гutturальные) κ/κ , ε/ε , выражается в языках приводимых памятников в редукции этих фонем в падежных и словообразовательных аффиксах. Поэтому своеобразная в караханидских памятниках форма винительного падежа, с аффиксом *-ыг/-иг*, характерная для древней типологии, начинает уступать место формам не только с широко употребляемым аффиксом *-н*, *-ын/-ин*, *-ны/-ни*, но также и с аффиксом *-ы/-и* (что особенно характерно для турецкого языка). В «Кыссас-эл-энбийэ» в винительном падеже ффикс *-г/-г* уже не употребителен совершенно, и присущими являются *-н*, *-ны/-ни*, *-ын/-ин*. В гератских памятниках «Тэшхис-ул-инсан», «Тэзкэрэ-и-эвлийэ» и «Мираж-намэ» винительный падеж имеет две формы аффикса *-н* и *-ны/-ни* — для обозначения определенного объекта.

Воздействие огузской языковой группы сказывается и в том, что в дательном падеже наряду с формантами *-жа/-кэ*, *-га/-гэ* иногда используется аффикс *-а/-э* (адама «человеку»), особенно после аффиксов принадлежности — *башыма* «моей голове», *сөзүмэ* «моему слову», *айагына* «его ноге», *бойнуца* «на твою шею», хотя в этом случае закономерной является аффиксация *-га/-гэ* (*айагыга*, *көзигэ* и т. д.). Дательно-направительный падеж личных местоимений в караханидских памятниках имеет две формы — *маңа*, *маңар* «мне», *саңа*, *саңар* «тебе».

Аффикс местного падежа *-да/-дэ*, *-та/-тэ* в караханидских памятниках продолжает хранить двойственное значение: локатива и аблатива. В аблативном значении эта форма встречается довольно часто. Примеры: *Иэрде қоп-* (МК) «встать с земли»; *Кишидэ талула бу ики кишиге* | *Аңар утру бэргил бу ики ишиге* (КВ) «Выбирай из людей этих двух человек. И затем давай им (аңар) эти два дела»; *Нэчэ'алим 'урди, нэчэ фэйлэсуф* | *Қаны бу күн олар миңиндэ бири* (АХ) «Сколько было ученых, сколько философов, | Где они теперь, [хоть] один из тысячи».

В гератских памятниках в противоположность караханидским местный падеж моносемантичен и значения аблативности не имеет. Для пере-

даци аблативности стабилизировался только исходный падеж, который имеет то же значение в караханидских и хорезмском памятниках.

При склонении личных и указательных местоимений в караханидских памятниках встречается соединение двух падежных аффиксов: притяжательного и косвенного падежа. Например: *Сэниңдин отәлсү саңа сөз һағы* (КБВ) «Пусть мне будет выполнено твое слово (тобою), | Пусть тебе будет выполнена мною награда (моя)»; *Битип қолмаса эрди билгә бөгү* | *Бизиңдә озагыг ким эрди тәгү* (КБН) «Если бы мудрый герой не оставил писание, | (То) кто мог бы сказать (видимо, „необходимое“? — В. Н.) прежде нас». Такой двойной падеж, как видно, выражает косвенный объект, принадлежащий определенному лицу. Уже в «Қыссас-әл-әнбийә» двойной аффикс при склонении местоимений в косвенных падежах исчезает.

Глагольные имена в силу своего развития и обогащения из различных этнических источников проявляют себя в исследуемых литературных памятниках в большем разнообразии морфологических и семантических особенностей, чем в памятниках древнеуйгурского языка, с грамматическими категориями которого они тесно связаны. Среди них еще продолжают встречаться формы, присущие грамматическому строю орхоно-енисейских памятников. Это особенно заметно в таких произведениях, как «Қу-тадғу-билік» и «Атәбәт-уі-хәқайқ». Часто наблюдаемое в исследуемых памятниках сосуществование и иногда параллельное употребление древнеуйгурских, огузских и кыпчакских глагольных имен можно рассматривать как проявление состояния, предвещающего новую формацию литературного языка Средней Азии — так называемого тюрки и восточно-тюркского, так называемого чагатайского языка, легших в основу старобузбекского литературного языка.

Отдельные формы глагольных имен в развитии литературного языка убывают и деградируют в своем употреблении и наоборот, другие приобретают новые синтаксические функции, развивается и изменяется их лексическое значение. К числу деградирующих в употреблении форм в исследуемых памятниках принадлежат глагольные имена с аффиксами *-тачы/ /-тәчи* (*-дачы/-дәчи*) и *-дуқ/-дүк* (*-туқ/-түк*).

Характерна для караханидских памятников (КБ, АХ) и уже исчезает в других исследуемых нами произведениях форма глагольного имени с аффиксом *-ғлы/-ғли*, например: *бақығлы* «наблюдающий, наблюдатель» (АХ), *тоғуғлы* «урожденный» (КБВ). В КБ и АХ довольно рельефно выступают глагольные имена на *-дачы/-дәчи*, *-тачы/-тәчи* и на *-дуқ/-дүк*, *-туқ/-түк*. Даже и в караханидских памятниках наряду со становящимися менее актуальными глагольными именами на *-ғлы/-ғли*, *-тачы/-тәчи*, которые в адъективной функции приобретают семантику причастия, в определительных словосочетаниях довольно часто появляется глагольное имя на *-ған/-гән*. В текстах хорезмо-золотоордынского памятника встречается глагольное имя на *-дуқ/-дүк* и отсутствуют глагольные имена на *-дачы/-дәчи*, *-ғлы/-ғли*. Форма на *-дачы/-дәчи*, *-тачы/-тәчи* встречается в гератской рукописи касыды, посвященной эмиру Джелал-эд-дину (первая половина XV в.); в других гератских памятниках — «Мираҗ-намә», «Тәшхис-уі-инсан» и «Тәзкәрә-и-эвлийә» — на протяжении большого количества текстов эта форма уже не встречается.

Глагольное имя на *-мыш/-миш*, имеющее широкое употребление в древнеуйгурских памятниках в функциях и значениях, эквивалентных глагольному имени на *-дуқ/-дүк* орхоно-енисейских памятников, в исследуемых памятниках имеет еще достаточно выразительную грамматическую сущность. Оно выступает в субстантивном, адъективном, адвербиальном и предикативном значении. В функции обстоятельственных членов глагольное имя

на *-мыш/-миш* в исследуемых памятниках встречается редко, на смену ему приходит форма глагольного имени на *-ган/-гэн*.

Воздействие кыпчакских групп тюркских языков сказывается в том, что глагольное имя на *-ган/-гэн* получает очень широкое отражение в самых различных литературных памятниках до-«староузбекского», чагатайского периода; оно выступает в однородных грамматических функциях с глагольными именами на *-дуқ/-дук*, *-мыш/-миш* и др. Юсуф Баласагунский в XI в. употребляет это глагольное имя в своей поэме как уже органично вошедшую в язык форму наряду с бытующими с древних времен глагольными именами *-дуқ/-дук*, *-мыш/-миш*. Предикативная функция этого глагольного имени стабилизируется главным образом в памятниках Золотой Орды и частично в староузбекских памятниках, что и отличает их от других синхронных с ними литературных памятников старого периода. Таким образом, единство литературного языка, именуемого в науке тюркӣ, как некоего субстрата среднеазиатского книжного койне теряет свое основание даже и по только что указанному признаку.

Формы настоящего-будущего времени, характерные для орхонских и древнеуйгурских памятников, еще в очень широком употреблении встречаются в памятниках карахандидского периода — «Қутадғу билик» и «Атэбэт-ул-хэкаик». Однако при движении языковой культуры в сторону юго-запада литературные памятники начинают впитывать в себя типологические черты языка других этнических групп, в которых формы *verbum finitum* имеют свой собственный генезис. Это способствует обогащению и развитию традиционных спрягаемых форм литературного языка, дополняет их структуру новыми морфологическими элементами и аффиксальными морфемами, содержащими полноценную семантическую значимость (*турур*). В синтезе с глагольной формой, содержащей корневую смысловую морфему, *турур* образует более дифференцированную смысловую сущность спрягаемой формы в отношении категории времени.

Форма настоящего-будущего времени, образованного из слитного деепричастия и формантного глагола *тур-* — *турур*, очень редко употребляется в «Қыссас-эл-энбийэ», но преобладает в «Мираж-намэ» и «Тэзкэра-и-эвлийэ». В памятниках чагатайского литературного языка заметна редукция форманта *турур* или его стяжение в *тур/дур*, далее в *дыр/дир* (с редукцией *-р* в современных среднеазиатских языках). В «Қыссас-эл-энбийэ», несмотря на достаточную архаичность его языка, проскальзывает много чагатаизмов, являющихся более поздними проникающими кыпчакскими элементами, например, в настояще-будущем определенном времени встречаются редуцированные формы: *йыглаймэн* «я плачу» (вместо распространенного *йыглай-турур-мэн*), *ишитмэйсиэ* «вы не слышите». Вообще мы готовы были бы принять распространенное мнение тюркологов, что современная форма настоящего-будущего времени узб. *бараман*, уйг. *баримэн*, татар. *барам* и проч. есть, действительно, редуцированная чагатайская форма *баратурумэн*, однако в представителе огузской группы — старотурецком языке — существовала форма настоящего-будущего времени типа *верем* «я даю, дам», *гелем* «я прихожу, я приду», что наводит на мысль о древней тенденции слитного деепричастия обладать семантикой проявления действия в настояще-будущем времени; не в этом ли его очень древняя тенденция выражать образ протекания основного действия, например, *олу йитү кэлти* «пришли в состоянии полного изнеможения» в памятниках рунического письма.

Форма прошедшего результативного, которая также часто встречается в современных среднеазиатских языках, была образована из соединительного деепричастия на *-н* + спрягаемая форма глагола *тур-турур*. Например, у Рабгузи: *қамуглары саңа күзүп* (т. е. *күтүп*) *турурлар* «Все

они ожидают тебя», хотя иногда здесь же наблюдается *бэрип мэн* (вместо *бэрип турур мэн* «я дал уже»). В гератских памятниках встречается и редуплицированная форма (подобная современной): *кэрүпмэн* «уже увидел я; вот и вижу», *бэрипмэн* «я дал уже».

По мере движения литературного языка к западу возникает ряд форм *verbum finitum*, которые затем широко развиваются и получают широкое использование не только в литературных памятниках чагатайского периода, но и в новых среднеазиатских языках. Одна из них — преждепршедшее совершенное — образуется из соединительного деепричастия (на *-п*, *-ип/-ип*) и формы вспомогательного глагола *эрди*, например: *Ба'зы бир эрини бир, шижэ, нэб қылып эрди* (РБр.) «Он некоторых из своих людей назначал (назначил) на какую-либо работу». Эта форма констатирует фактическое регулярное действие в прошлом.

В отрицательной форме настояще-будущего неопределенного времени вместо *-мас-мэн*, *-мэс-мэн* употребляется иногда стяженная форма аффикса *-ман/-мэн* (*барман* «я не хожу» вместо *бармасман*). Но все же это явление довольно редкое.

Форма на *-гай/-гэй*, *-қай/-кэй* (в караханидских памятниках — часто *-га/-гэ*) в исследуемых текстах выступает всегда с аффиксами сказуемости. Употребление этой формы в исследуемых памятниках в сравнении с употреблением в памятниках древнеуйгурского языка буддийско-манихейского содержания¹ — очень обширно, независимо от места их происхождения. Это показывает, насколько эта форма в качестве *verbum finitum* стабилизировалась в литературном языке для передачи определенных смысловых модуляций. Если в древнеуйгурских рукописях форма на *-га/-гэ*, *-гай/-гэй* выражала будущее время, то уже в огузо-кыпчакском памятнике Рабгузи она встречается с семантикой долженствования. А ее спрягаемые формы с вспомогательным глаголом *эр*- создают различные значения долженствования, необходимости и сослагательности действия, особенно богатые и разнообразные в приводимых гератских памятниках, на которых кыпчакское влияние сказалось очень интенсивно.

Простая форма условного наклонения образуется аффиксами *-са/-сэ* и личными аффиксами принадлежности. Этим она отличается от огузской формы орхоно-енисейских и древнеуйгурских памятников, имевших характеристическими аффиксами *-сар/-сэр* и личные аффиксы сказуемости. Аффиксы сказуемости при условной форме на *-са* продолжают употребляться в языке «Қутадғу билик»: *қыйнасасэн* «если ты накажешь», *йазсамэн* «если я согрешу», *миң йазуқ қылсамэн* «если я тысячу грехов совершу» (КБВ). Рудимент аффикса сказуемости сохраняется иногда в 1-м лице мн. числа (т. е. вместо *-к/-к* употребляется *-мыз/-миз*) в «Қыссас-эл-энбийэ»² и в других анализируемых произведениях. Видимо, изменению древней аффиксации условной формы способствовало взаимодействие между огузскими и кыпчакскими типологическими явлениями, которое оказало доминирующее влияние на древние аффиксальные формы и привело к стабилизации указанных морфологических изменений.

В синтаксическом плане в сочинениях Юсуфа Баласагунского и Ахмеда Югнеки много общего с памятниками манихейско-буддийского содержания в структурах словосочетаний, но в то же время наличествуют черты, которые, возникая под влиянием проникающих новых этнических факторов, часто приходят на смену существовавших ранее языковых моментов. Таково, например, использование в качестве предикативного фор-

¹ См. наш очерк «Древнеуйгурский язык», М., 1953, стр. 75—78.

² Арханцеская форма 1-го лица мн. числа прошедшего категорического времени также наблюдается в «Қыссас-эл-энбийэ»: *йығладымыз* «мы плакали», *кәлдимиз* «мы пришли».

манта в именных предложениях глагола *тур*-(*турур*) вместо глагола *эр*-(*эрур*) в 3-м лице для настоящего времени; появление (довольно частое) в определительных и обстоятельственных словосочетаниях глагольного имени на *-ган/-гэн*.

Для хорезмо-золотоордынского памятника Рабгузи «Қыссас-эл-энбийэ», который является как бы переходным между караханидскими памятниками уйгурского и арабского письма и памятниками так называемого языка тюрки, характерны синтаксические структуры такого же типа, которые наблюдаются в гератских памятниках уйгурского письма «Тэшхис-ул-инсан» и «Тэзкэрэ-и-эвлийэ» и арабского письма «Мираж-намэ», откуда можно перекинуть мост и к более поздней типологии литературного языка, в который вносится много диалектных особенностей со стороны тюркских этнических групп, постепенно создающих дифференциацию литературного языка.

Анализируя памятники в отмеченных трех по времени градациях: караханидские, хорезмо-золотоордынские и чагатайские, мы стремились проследить историческую динамику, главным образом, в развитии и изменении грамматических форм. И, хотя подбор произведений, язык которых в его характерных чертах мы пытались описать, конечно, не является достаточным для интегрирующих лингвистических и исторических выводов и обобщений, в основном нам удалось показать, как постепенно под влиянием этнической среды установившиеся в определенный период формы литературного языка тюркоязычного населения по мере своего распространения и проникновения в иную диалектную среду тюркоязычного населения трансформируются, сходят на нет и заменяются формами иной типологии.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Западное Полесье — прародина славян (По поводу сборников: «Полесье». — М., изд-во «Наука», 1968. 302 стр.; «Лексика Полесья». — М., изд-во «Наука», 1968. 476 стр).

Полесье, являясь живой стариной, интересно во многих отношениях и дает богатый материал и для диалектологического и сравнительно-исторического изучения славянских языков, и для периферийных лингвистических дисциплин, к которым принадлежит ономастика, в том числе топонимия и гидронимия, а также и для смежных с лингвистикой наук: этнографии, этнологии, социологии, истории культуры, политической истории, археологии, антропологии.

Полесье играет важную роль в славянском этногенезе. Как известно, сторонниками теории полесской прародины славян были Я. Ростафинский, Я. Пейскер, Г. Улашин и особенно М. Фасмер. По В. В. Мартынову, «лингвогеографическое изучение Припятского Полесья сулит большие возможности для решения проблемы этногенеза славян»¹. «В зависимости от того, какой из двух гипотез о локализации прародины славян (днепровско-припятской или висло-одрской) оказывается предпочтение, Припятское Полесье может рассматриваться либо как часть славянской прародины, либо как район первой славянской миграции. Во всяком случае западная часть Полесья является, по-видимому, своеобразным мостом, по которому проходило древнейшее переселение славян. С востока на запад или с запада на восток? Решение этой дилеммы, очевидно, следует поставить в зависимости от создания лингвистического атласа Припятского Полесья с тремя его частями (фонологической, семантической и топонимической). Такого рода лингвистический атлас мог бы оказаться сопоставимым с археологическим»².

Рецензируемые сборники, обобщающие

итог работы пяти полесских лингвистических экспедиций, предпринятых в 1962—1965 гг., представляют собой первый шаг к созданию атласа полесских говоров и большого областного полесского словаря.

Здесь будут рассмотрены те статьи сборников, которые важны для локализации славянской прародины. Это статьи Н. И. Толстого «О лингвистическом изучении Полесья» (сб. «Полесье») и «Об изучении полесской лексики» (сб. «Лексика Полесья»), Ю. В. Кухаренко «Полесье и его место в процессе этногенеза славян (по материалам археологических исследований)» (сб. «Полесье») и В. А. Никонова «Две волны в топонимии Полесья» (сб. «Полесье»).

Ю. В. Кухаренко, приводя хронологическую схему смены археологических культур в разных районах Полесья и пользуясь семью картами археологического атласа Полесья, пишет: «Одинаковая в общем картина для всего Полесья наблюдается только в древнейший период его истории. Позже, начиная примерно с середины неолитического времени и вплоть до средневековья, Полесье резко делилось на две самостоятельные культурно-исторические области: западную и восточную... Границей между ними на протяжении многих столетий являлась линия, идущая примерно по рекам Ясельде, Припяти (на участке от устья Ясельды до устья Горыни) и Горыни. Большая часть этой археологической границы почти в деталях совпадает с границей расселения балтов и славян в древности, установленной по языковым данным. Позже Ясельда и Припять стали границей между украинцами и белорусами» (стр. 35—36).

Н. И. Толстой на основе атласа белорусских говоров³, охватывающего большую часть полесских говоров, приходит

¹ В. В. Мартынов, Проблема славянского этногенеза и методы лингвогеографического изучения Припятского Полесья, «Советское славяноведение», 1965, 4, стр. 81.

² Там же, стр. 70.

³ «Дзяля лекталагічнага атласа беларускай мовы», Мінск, 1963. В книге В. Н. Топорова и О. Н. Трубочева «Лингвистический анализ гидронимов»

к выводу, что «...установленная археологами граница Восточного и Западного Полесья, граница культур, прослеживаемая от древних доисторических времен вплоть до эпохи Киевской Руси — по Ясельде до впадения в Припять, по Припяти до впадения в нее Горынь и по Горыни — иногда почти до деталей, иногда с известными отклонениями совпадает с современной диалектной границей, с линией, где проходит основные фонетические и морфологические изоглоссы...» (сб. «Полесье», стр. 8).

В другом месте своей статьи Н. И. Толстой указывает, что ряд лексических изоглосс проходит по той же линии Ясельда — Припять — Горынь (стр. 11). «Следует отметить, — пишет Н. И. Толстой, — ...лингвистическую неоднородность самого Полесья. Наибольшее число внутриволостских изоглосс проходит по линии, уже известной в качестве границы археологических культур, — Ясельда — Припять — Горынь...» (стр. 10). Таковы результаты сопоставления археологических данных Полесья с лингвистическими.

Иставленный В. В. Мартыновым вопрос о том, является ли Припятское Полесье частью славянской прародины или представляет собой район первой славянской миграции с востока (из Преднепровья) или с запада (из Привисленья), также освещается в статьях Ю. В. Кухаренко и Н. И. Толстого.

Ю. В. Кухаренко поддерживает мнение В. В. Мартынова, являющегося сторонником гипотезы о висло-одрской прародине славян. Ю. В. Кухаренко считает, что древнейшее переселение славян с запада на восток, из Повисленья в Приднепровье происходило в западных районах Полесья (стр. 45—46). Н. И. Толстой полагает, что Полесье было зоной, примыкающей к славянской прародине (стр. 8—9). Таким образом, и Ю. В. Кухаренко и Н. И. Толстой поддерживают точку зрения В. В. Мартынова на проблему славянского этногенеза.

Но В. В. Мартынову, «для изучения славянского этногенеза наиболее существенным оказывается славяно-германское лексическое взаимопроникновение древнейшей поры. Оно является одним из важнейших доводов в пользу гипотезы о висло-одрской прародине славян, так как предполагает в качестве необходимого условия длительную географическую смежность славян и германцев. Протезивные гипотезы выдвигали как основной лингвистический аргумент тезис о предполагаемом отсутствии славянизмов

в прагерманском. В последнее время удалось обнаружить достаточное число надежных примеров славяно-германского лексического взаимопроникновения древнейшей поры (середина I тысячелетия до н. э.)»⁴. Не оспаривая наличия славяно-германских взаимопроникновенных древнейшей поры и существования славянизмов в прагерманском, отражающих тот факт, что славяне вместе с германцами и балтами образовали в пределах индоевропейских языков самостоятельную группу, так называемую североиндоевропейскую, все же считаю необходимым признать преимущество славяно-балтийских связей над славяно-германскими. Поместить прародину славян в бассейне Вислы и Одры и считать западную часть Полесья мостом, по которому происходило древнейшее передвижение славянского населения, направляющегося с запада на восток, из Повисленья в Приднепровье, можно было бы только лишь в том случае, если бы языковые связи между славянами и германцами были более близкими, чем связи славян и балтов. Но ведь, как известно, языковые связи славян и балтов были теснее, чем с германцами. Преимущества славяно-балтийских связей над славяно-германскими следует принять и в случае допущения балто-славянской языковой общности, и в случае отказа от такого допущения — в последнем случае следует предполагать, что славянские языки возникли из балтийских⁵.

Вероятнее всего нужно отбросить предположение о существовании в древности балто-славянской языковой общности и считать, что североиндоевропейская языковая общность, выделяющаяся из общиндоевропейской языковой общности, с течением времени распалась на две самостоятельные общности: западную — германскую и восточную — балтийскую. Балтийская языковая общность затем сохранила свой балтийский облик, подвергаясь только лишь незначительным изменениям, а на другой территории до такой степени изменилась, что превратилась в совершенно новую языковую общность — славянскую. Первое проис-

⁴ В. В. Мартынов, указ. соч. стр. 73.

⁵ Ср.: В. В. Иванов, В. Н. Топоров, К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков, М., 1958, стр. 38—39. См. также: «Исследования по славянскому языкознанию», М., 1961, стр. 303. Здесь предполагается, что древнейшие состояния балтийских и славянских языков нельзя отнести к одной временной плоскости, поскольку древнейшее состояние, установленное для славянского, следует считать результатом преобразования древнейшего состояния, установленного для балтийского.

Верхнего Поднепровья» (М., 1962) показано, что граница Ясельда — Припять — Горынь является одновременно юго-западной границей балтийских гидронимов бассейна Припяти.

ходило в Восточном Полесье, второе — в Западном.

Итак, для изучения славянского этногенеза наиболее существенными являются не славяно-германские лексические взаиморозножковения древнейшей поры, как считает В. В. Мартынов, а славяно-балтийские языковые контакты. Мы считаем, что Западное Полесье является прародиной славян, представляя собой западную часть древней балтийской территории. Отсюда славянская колонизация распространилась на запад, и районом первой славянской миграции было Повисленье.

В пользу западнополесской прародины славян свидетельствует длительная географическая смежность славян и балтов, которая так ярко отражена в археологических данных, представленных в статье Ю. В. Кухаренко. Эта смежность длилась очень долго: начиная примерно с середины III тысячелетия до н. э., т. е. с середины неолитического времени, и кончая рубежом IX—X вв. н. э., когда Полесье стало целиком славянским: в районах, расположенных к северу от Припяти, вместо балтов в это время живет уже славянское племя дреговичей.

Ю. В. Кухаренко считает, что о славянах и балтах можно говорить только начиная примерно с середины бронзы (стр. 45); однако мы полагаем, что смежность славян и балтов началась гораздо раньше — примерно с середины неолита, т. е. тогда, когда Полесье, до этого времени в археологическом отношении неделимое (культура гребенчатой керамики), подверглось распаду на две самостоятельные области: западную — славянскую и восточную — балтийскую.

Проблема древнего славяно-балтийского Полесья — это не только проблема славянской, но и балтийской прародины. Следует согласиться с мнением Д. А. Телегина, что племена культуры гребенчатой керамики нужно отождествлять с балто-славянами, с той, конечно, оговоркой, что, говоря о балто-славянах, приходится иметь в виду балтов, живущих в эпоху, когда славяне еще не существовали.

Вот что пишет об этих племенах Ю. В. Кухаренко: «Племена культуры гребенчатой керамики, как известно, некоторыми исследователями рассматриваются как какая-то крупная этническая группировка, существовавшая на этой территории с мезолитической эпохи (т. е. с эпохи, когда в Полесье появились наиболее древние поселения. — Л. О.), и даже отождествляют ее с балто-славянской языковой общностью (Д. А. Телегин). Если последняя не мифическое понятие, то перед нами завершающий этап ее существования. Последний, поскольку позже мы уже не встречаем археологических культур, общих для областей, занятых

исторически известными балтами и славянами. И это, кстати сказать, более чем наглядно видно на примере Полесья, занимающего как раз пограничную между балтами и славянами территорию» (стр. 37).

Итак, превращение западнобалтийских племен в славянские привело к распаду древней балтийской территории на две области: славянскую (Западное Полесье) и балтийскую (Восточное Полесье). Этот распад завершился примерно в середине III тысячелетия до н. э., и именно с тех пор начинается длительное смежное развитие славян и балтов, заканчивающееся в X в. н. э., когда Полесье стало полностью славянским и резкое деление Полесья на две области — западную и восточную — исчезло. Как справедливо замечает Н. И. Толстой, «представление о древнем Полесье как о некоем незаселенном или малозаселенном оазисе с непроходимыми болотами и лесами, разделявшим балтийские и славянские племена, оказывается лишним основанием» (сб. «Полесье», стр. 8). Полесье не только не разделяло балтов и славян, но, напротив, объединяло их, будучи занятым балтами (Восточное Полесье) и славянами (Западное Полесье), а в более древние времена являясь исключительно балтийской территорией.

В свете рассматриваемой здесь гипотезы о западнополесской прародине славян и о Повисленье как районе первой славянской миграции предположения о днепровско-припятской или висло-одрской прародине славян вызывают серьезные сомнения. Мы не рассматриваем здесь других гипотез, касающихся локализации прародины славян, поскольку они являются еще более сомнительными. Прежде всего нужно отбросить гипотезу о днепровско-припятской прародине славян, поскольку, благодаря книге В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья», установлено, что «территория Верхнего Поднепровья в I тыс. — первых веках II тыс. н. э. была заселена племенами балтийского происхождения»⁶, «начиная с самой отдаленной древности, доступной лингвистическому контролю»⁷.

Говоря о Верхнем Поднепровье как о территории, занятой балтами, В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев не имеют в виду западной части бассейна Припяти, т. е. Западного Полесья. Обнаруживая следы балтийских гидронимов к югу от Припяти, авторы добавляют: «Обращает на себя внимание, что балтийские гидронимические следы сосредоточены в восточ-

⁶ В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья, М., 1962, стр. 236.

⁷ Там же, стр. 232.

ной части правобережной Припяти (по Уборти, Славечне и Ушу), тогда как в западной части (по Горыни) они нами не найдены⁸. О. Н. Трубочев, анализируя гидронимы на территории, расположенной к югу от Припяти и Десны, показывает распространение балтийских гидронимов, которые южнее Припяти доходят только до Горыни, не появляясь на запад от этой реки⁹.

Таким образом, юго-западная граница балтийской гидронимии бассейна Припяти, идущая по линии Горынь — Припять — Ясельда, совпадает, с одной стороны, с наибольшим числом внутриполюесских изоглосс, с другой — с границей археологических культур, существующих примерно с середины неолитического времени и вплоть до средневековья. Эта граница отделяла славянское Западное Полесье от балтийского Восточного Полесья. В свете приведенных данных гипотезу о днепровско-припятской прародине славян (если не иметь в виду западную часть припятского бассейна) нужно отбросить окончательно. Следует добавить, что Т. Лер-Сплавинский, рецензируя книгу В. Н. Топорова и О. Н. Трубочева, пришел к выводу, что прародина славян не могла лежать на Днестре или на Волыни¹⁰.

Гипотеза о висло-одрской прародине славян также вызывает серьезные сомнения. Слабой стороной этой гипотезы является то, что ее главный представитель Т. Лер-Сплавинский в связи с отсутствием в период его научной деятельности археологических данных, касающихся Полесья эпохи бронзы и раннего железного века, вслед за археологом Т. Сулмирским полагал, что после периода относительно высокой плотности населения Полесья в конце неолитической эпохи в результате изменения климата в начале эпохи бронзы наступает затопление этой территории, которое вынуждает местное население покинуть ее. Этим объясняется отсутствие археологических данных Полесья эпохи бронзы и раннего железного века. Только с улучшением климата в начале нашей эры происходит новое заселение Полесья с запада, т. е. с территорий, которые Т. Лер-Сплавинский считал прародиной славян¹¹. Таким образом, локализация прародины славян в Полесье, согласно этой теории, невозможна. Полесье следует считать

лишь районом первой славянской миграции с запада на восток.

В настоящее время благодаря исследованиям Ю. В. Кухаренко эпоха бронзы и начала железного века в Полесье археологически настолько изучена, что Ю. В. Кухаренко имеет основание отказаться от мнения о длительном перерыве в заселении Полесья, продолжавшемся от начала эпохи бронзы и вплоть до нашей эры, в связи с его затоплением. По утверждению геологов (М. М. Цапенко), затопления действительно имели место в Полесье, но даже последнее затопление, вызванное отступлением ледника и наступившее в позднеледниковый период, предшествовала мезолиту, при котором в Полесье впервые появился человек (если не считать позднеледниковой самой древней стоянки у дер. Юревичи в пределах Мозырской гряды, единственного палеолитического поселения в Полесье).

Ю. В. Кухаренко пишет: «Несмотря на сильную заболоченность, Полесье сравнительно густо заселено теперь и, как показали исследования последних лет, почти столь же густо, притом без каких-либо длительных перерывов, было заселено и в древности. Относительно низкая урожайность почв Полесья компенсируется и, конечно, еще в большей степени компенсировалась в древности почти неограниченными возможностями для выпаса и содержания скота. В сочетании с другими формами хозяйства этого было вполне достаточно для прокормления населения Полесья. Одним словом, условия для жизни в Полесье были несколько не хуже, а в некоторых отношениях даже лучше, чем в соседних с ним районах. Вот почему Полесье никогда не пустовало» (стр. 20). Итак, археологические исследования Ю. В. Кухаренко доказывают непрерывность заселения Полесья с эпохи мезолита до наших дней. Отпадает самый важный аргумент против локализации прародины славян в Полесье. Районом первой славянской миграции с востока являлось Повисленье, о чем свидетельствует непрерывность заселения польских земель в древности, доказанная археологом Ю. Костшевским.

В свете приведенных данных следует окончательно отбросить гипотезу о висло-одрской прародине славян. Т. Лер-Сплавинский, хотя и отстаивает эту гипотезу, в то же время правильно пишет о зарождении славянской этнической группы на западно-балтийской территории. «Я рассматриваю генезис праславян,— пишет он,— как результат отсечения западного, меньшего ареала от восточной части древнего протобалтийского (балто-славянского) комплекса»¹². Из гипотезы

⁸ Там же, стр. 232—233.

⁹ «Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация», М., 1968, стр. 284—285, карта 16.

¹⁰ Т. Лер-Сплавинский. О северо-восточных окраинах праславянского языка, ВЯ, 1964, 1, стр. 136.

¹¹ T. L e r - S p ł a w i ń s k i, O p o c h o d z e n i u i p r a o j c z y Ź n i e S ł o w i a n, P o z n a ń, 1946, стр. 211—212.

¹² Т. Лер-Сплавинский, указ. соч., стр. 136.

Т. Лер-Сплавинского о зарождении славян на западнобалтийской периферии, как и из гипотезы В. В. Иванова и В. Н. Топорова о возникновении славянских языков из балтийских, также следует признание западнополюсской локализации прародины славян и одновременно отказ от ее висло-одрской локализации, поскольку балтийские племена никогда не находились между Вислой и Одрой.

*

Всю историю Полесья, если применить к ней гипотезу о возникновении славянских языков из балтийских, можно представить следующим образом. С самых древних времен, когда славяне еще не существовали, Полесье и Верхнее Поднепровье, в том числе и западная часть бассейна Припяти, были заселены балтами. В археологическом отношении в это время, согласно мнению Ю. В. Кухаренко, на всей территории Полесья была распространена одна лишь культура — гребенчатой керамики. С течением времени только часть территории, занятой балтийскими племенами к востоку от линии Ясельда — Припять — Горынь, сохранила свой балтийский облик; на этой территории языковая система и лексика не подверглись значительным изменениям. В западной части балтийской территории вследствие значительных изменений в языковой системе и лексике старые балтийские наречия приобрели новый, уже славянский облик. Этот распад Полесья возник в середине неолитического времени, т. е. примерно в середине III тысячелетия до н. э. С тех пор и вплоть до средневековья, т. е. на протяжении многих столетий славяно-балтийский облик Полесья сохранялся. В археологическом отношении в это время, согласно мнению Ю. В. Кухаренко, на месте культуры гребенчатой керамики появляются последовательно различные культуры, отделявшие Западное Полесье от Восточного — воронковидных кубков, шаровидных амфор, затем стижовская, тишинецкая, луницкая и поморская культуры. Восточное Полесье характеризовалось иными культурами: среднеднепровской, сосницкой и милоградской.

Итак, прародина славян возникла на территории западного Полесья примерно в середине III тысячелетия до н. э. (середина неолита). Повисленье было районом первой славянской миграции с востока, поскольку в остальной части Полесья жили по-прежнему балты.

Следующее превращение балтов в славян происходило на территории, находящейся к востоку от Горыни и к югу от Припяти. В статье Ю. В. Кухаренко показано, что после древнейшего распада Полесья на западную и восточную области Восточ-

ное Полесье распалось на две части: северную и южную, с границей, идущей по Припяти; южная часть Восточного Полесья в археологическом отношении прикнула к Западному Полесью. Зарубинецкая культура была первой культурой, объединившей на время западные районы и южную часть восточных районов Полесья в одно целое. Эта культура, появившаяся в конце II в. до н. э., была связана с предшествующей ей славянской поморской культурой и носители зарубинецкой культуры были славянами.

В более позднее время, а именно во второй половине VI в. н. э., как об этом сообщает Ю. В. Кухаренко, появляются славянские памятники пражского типа, которые, выступая на территории, занятой раньше памятниками зарубинецкой культуры, в свою очередь, свидетельствуют о том, что, кроме западных районов Полесья, и южная часть восточных полесских районов была славянской. Эти два распада нашли свое яркое отражение в сравнительной хронологической схеме смены археологических культур в разных районах Полесья.

Они оставили след и в полесской гидронимии, как об этом свидетельствует книга В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева. Противоречиво на первый взгляд утверждение книги о том, что Припять не являлась границей между балтами и славянами, ибо и на юг от Припяти встречаются гидронимы балтийского происхождения¹³ и в то же время она все-таки отделяла балтов от славян¹⁴, легко объясняется, если учесть хронологию. А именно, в древнейший период балты жили по обе стороны Припяти, тогда как в более позднее время они находились только к северу от этой реки.

Итак, история населения Полесья характеризовалась двумя распадами, из которых один, более древний, касался всего Полесья, а другой, более позднего происхождения, — Восточного Полесья. Благодаря первому распаду возникли две самостоятельные области: западная — славянская и восточная — балтийская, с границей, идущей по линии Ясельда — Припять — Горынь. Благодаря второму распаду возникли две части Восточного Полесья: южная — славянская и северная — балтийская, с границей, идущей по Припяти.

Гипотеза В. В. Иванова и В. Н. Топорова о возникновении славянских языков из балтийских подтверждается и в книге В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья», где говорится, что «балтийское население Верхнего Поднепровья в своей основной массе не отступало к северо-западу в условиях

¹³ В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, указ. соч., стр. 232—233.

¹⁴ То же, стр. 244.

распространения славян на этой территории и было постепенно ассимилировано последними¹⁵.

Славяне, находясь на территории, расположенной к востоку от Горыни и к югу от Припяти, конечно, очутились и на Днепре. Эти славяне (здесь можно уже говорить о восточных славянах), согласно мнению В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева, начали продвигаться вверх по Днепру, заняв сначала территорию, расположенную к востоку от его верхнего течения. Об этом свидетельствует распространение древнего и непродуктивного гидронимического форманта *-ля* и форманта *-ка*, продуктивность которого сохранялась в течение гораздо более длительного времени. Подавляющее большинство гидронимов с этими суффиксами выступает к востоку от Днепра¹⁶. Таким образом, как об этом сообщают оба автора, «западная часть Верхнего Поднепровья лежала в стороне от основных магистралей, по которым осуществлялось восточнославянское продвижение»¹⁷.

С течением времени восточные славяне, осевшие к востоку от верхнего течения Днепра, начали распространяться на смежные с ними территории, осваивая прежде всего правобережье Днепра к северу от Припяти¹⁸. Следует согласиться с мнением В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева, что «анализ славянских речных названий к северу от Припяти и вплоть до верховьев Немана делает почти бесспорной мысль о том, что восточные славяне, осваивавшие эту территорию, пришли сюда с востока, с днепровского левобережья, и лишь потом, уже на глазах истории, стали распространяться к северу, вытесняя или ассимилируя более древнее население»¹⁹. По поводу хронологии распространения славян к западу от верхнего течения Днепра и к северу от Припяти Ю. В. Кухаренко пишет, что в V—VIII вв. н. э. на этой территории жили еще балты, а в X в. н. э. уже славянские племена дреговичей.

Племенная дифференциация Полесья в X—XIII вв. н. э. (рис. 8 статьи Ю. В. Кухаренко) хорошо отражает все этапы его славянизации. Вольняне и их предшественники дулэбы, жившие в западном Полесье, т. е. на территории прародины славян, образуют самый древний пласт славянского населения в Полесье. Древяне, находившиеся в южной части Восточного Полесья, принадлежат уже к более новому пласту славянского населения. Дреговичи, обитатели северной части Восточного Полесья, представляют самый новый пласт славянского населения в Полесье, и, наконец, ятвяги, зани-

мающие северо-западный угол полесских земель, являются последним следом древнего балтийского населения Полесья.

Для решения проблемы славянского этногенеза наряду со статьями Н. И. Толстого и Ю. В. Кухаренко большое значение имеет статья В. А. Никонова. Несомненно, Н. И. Толстой прав, считая, что «сбор материала по топонимике Полесья, создание картотеки, а затем и топонимического атласа — задача очень важная», ибо «топонимика Полесья, хранящая ценные сведения по истории края, способна дать новый материал для решения этногенетических проблем восточных славян и всего славянства в целом, еще ждет своего собирателя, систематизатора и исследователя» (стр. 14).

Статья В. А. Никонова, как скромно замечает автор, «не больше, как нащупывание путей» (стр. 197). Это слишком скромная оценка. Перед нами ценный фрагмент полесской топонимики. В статье рассматриваются ареалы древних формантов *-ичи*, *-овичи* и *-овцы*, *-инци*. «Формант *-ичи*, — указывает В. А. Никонов, — один из старейших во всей славянской ономастике, в том числе и топонимии. Если бы не было других доказательств его древности, неопровержимый документ — сама его ономастическая универсальность: *-ичи* известно всем группам славянских языков, выступая в этнонимии (лютичи, кривичи, вятичи, дреговичи и др.), и в антропонимии (древнерусские Ольговичи — потомки князя Олега Святославича), и в топонимии (еще до 947 г. — Лаврентьевская летопись упоминает с. Ольжичи близ устья Десны, владение княгини Ольги)» (там же).

Территориальное размещение форманта *-ичи*, установленное В. А. Никоновым подтверждает предположение о том, что Западное Полесье являлось прародиной славян, а Повисленье было районом первой славянской миграции с востока. В. А. Никонов сообщает: «Самый большой массив *-ичи* охватывает западнославянские земли, а на восточнославянской территории Белоруссию и Полесье Украины» (стр. 201). И далее: «Массив названий на *-ичи* связывает Белоруссию с восточнославянскими территориями, но не с Россией и Украиной, где занимает только узкую полосу, пограничную с Белоруссией и Польшей» (стр. 204).

Бассейн Припяти, по В. А. Никонову, является южным флангом сплошного распространения названий на *-ичи*, а граница между *-ичи* и *-овцы* в Украинском Полесье, как сообщает В. А. Никонов, совпадает с границей между полесскими и подольскими говорами, с этнографической границей двух видов свитки.

В. А. Никонов ставит вопрос «...с какой стороны шло распространение *-ичи* или *-овцы*? Пришли ли те и другие в Полесье с отдаленных территорий и столк-

¹⁵ Там же, стр. 236.

¹⁶ Там же, стр. 20.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же, стр. 244.

¹⁹ Там же.

нулись тут? Или наоборот — именно Полесье было их очагом, где возникли оба форманта, разошедшиеся оттуда в двух направлениях?» (стр. 202). Исходя из предположения о том, что Западное Полесье являлось славянской прародиной, а Повисленье, — районом первой славянской миграции с востока, мы считаем, что Полесье, а именно западная его часть, являлась территорией, на которой появился этот формант, и отсюда он распространился сначала на западославянские земли, а потом на остальную часть Полесья и на Белоруссию.

Хронологическая последовательность распространения форманта *-ичи* связана с тем, что, появившись в Повисленье, он не мог одновременно распространиться на остальную восточную часть Полесья и на Белоруссию, так как эти земли в то время были заняты балтийскими племенами. Но с течением времени, когда эти племена постепенно стали превращаться в славян, формант *-ичи* мог занять и Восточное Полесье и Белоруссию. Это мнение основывается на исследованиях гидронимии Полесья В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева. В. А. Никонов справедливо замечает, что «гидронимы в массе гораздо старше, чем названия населенных пунктов, и поэтому позволяют проникнуть в более глубокие времена» (стр. 196).

Наконец, в пользу предположения о том, что Западное Полесье являлось прародиной славян, а Повисленье было районом первой славянской миграции с востока на запад, свидетельствуют лексические соответствия, о которых пишет Н. И. Толстой в статье «Об изучении полесской лексики». Н. И. Толстой справедливо считает, что ближайшими лексическими соответствиями являются полесско-подляские и полесско-мазовецкие. Лексические же параллели полесско-кашубские, полесско-псковские и полесско-севернорусские являются более отдаленными. Западное Полесье было славянской прародиной, и это позволяет устанавливать наличие полесско-карпатско-южнославянской и даже полесско-южнославянской лексики. На эти соответствия Н. И. Толстой приводит ряд интересных примеров (стр. 12—18).

Остальные статьи, напечатанные в сборниках «Полесье» и «Лексика Полесья», касаются преимущественно вопросов изучения лексики, в том числе составления тематических словарей. В сборнике «Лексика Полесья» публикуются два словаря, отражающих специфическую областную лексику, и девять тематических словарей, отражающих материальную культуру полешуков.

В сборнике «Полесье» помещены две статьи, посвященные фонологии, и одна статья, в которой рассматриваются древние белорусские (в том числе и полесские) тексты, писанные арабским письмом.

Какое значение имеют эти статьи (их двадцать) для проблемы локализации прародины славян и для изучения славянского этногенеза? Следует особо подчеркнуть, что ни в одной из этих статей мы не нашли материала, который бы каким-либо образом опровергал наше предположение о западнополесской прародине славян и о Повисленье как районе первой славянской миграции с востока на запад; напротив, некоторые из них свидетельствуют в пользу этой гипотезы.

Так, А. С. Соколовская в статье «Опыт определения лексической близости диалектов (на материале названий одежды и обуви Припятского Полесья)» пытается применить постулаты В. В. Мартынова, который предлагает при обследовании лексики Полесья сначала определить степень лексической близости говоров друг к другу внутри изучаемой диалектной зоны (первый постулат), а затем — степень лексической близости говоров исследуемой диалектной зоны к смежным зонам (второй постулат), считая, что таким образом могут быть определены, в целях выяснения славянского этногенеза, основные направления славянских миграций. А. С. Соколовская устанавливает в соответствии с первым постулатом, что для всех полесских говоров общей является лексика, характерная для востока Припятского Полесья, тогда как на западе Припятского Полесья выступает более специфическая лексика; в связи со вторым постулатом — что лексика Западного Полесья характеризуется наибольшей близостью к лексике неполесских смежных территорий. Связь западнополесской лексики прежде всего с лексикой неполесских смежных территорий, а не с восточнополесской лексикой следует рассматривать как след древнего распада Полесья на две области: восточную — балтийскую и западную — славянскую; смежные с Западным Полесьем территории, не занятые балтийскими племенами, были районом первой славянской миграции с западнополесской землей. Следями древнего деления Полесья на восточную и западную части являются лексемы, обозначающие земельные участки, характерные только для восточной или только для западной части Полесья. О них пишет Л. Т. Выгонная в статье «К системному описанию полесских названий земельных угодий».

Наконец, следы древнего славяно-балтийского Полесья можно проследить по статье В. А. Москвича «Из полесской терминологии цветообозначений». В. А. Москвич пишет: «...специализированные системы цветообозначений состоят из двух наборов лексем: прилагательных — названий мастей и существительных — кличек животных по масти. Первоначальное состояние специализированных подсистем хорошо сохранилось в литовских говорах, где субстантивированные

прилагательные — названия цвета служат кличками животных. Такое же состояние наблюдается и в говорах Полесья, где исконная славянская лексика представлена в наиболее чистом, свободном от иноязычного влияния виде» (стр. 158). Речь идет, очевидно, о литовско-полесской параллели, в которой сохраняется до наших дней след древнего славяно-балтийского Полесья.

Остальные статьи сборников содержат материал, хорошо отражающий сохранившуюся до наших дней архаическую и достаточно примитивную культуру коренного полесского населения и важный для изучения славянского этногенеза. Тематические словари, помещенные в сборниках, свидетельствуют о древности материальной культуры полешуков. Здесь представлены названия одежды, обуви, пищи, терминология пчеловодства (в том числе и бортичества), гончарства, ткачества, рыболовства, транспорта и, наконец, земледельческая, строительная (хата и хозяйственные постройки), ботаническая и орнитологическая терминология.

Авторы двух фонологических статей, напечатанных в сборнике «Полесье», также подчеркивают древность полесских говоров относительно явлений, которые они рассматривают. Так, М. И. Лекомцева и С. М. Толстая в статье «Фонологический комментарий к полесским диалектам» пишут: «Полесье дает представление об особенностях функционирования диалектов в условиях, которые в настоящее время следует признавать достаточно архаическими, если учесть интенсивный процесс нивелировки современных диалектов» (стр. 47). Т. В. Назарова в статье «Некоторые особенности вокализма украинских правобережнополесских говоров» показывает, что по причине архаичности и стабильности украинских правобережнополесских говоров в них существует структурная связь между артику-

ляционной стойкостью этимологического *i* (отсутствие украинской тенденции к его повышению и расширению) и отсутствием нового *i*, возникшего из старого *ě* (ят) и из гласных *o*, *e*, выступающих в новых закрытых слогах. «Правобережное Полесье,— пишет Т. В. Назарова,— представляется одним из наиболее стабильных в лингво-этническом отношении районов, изоглоссы которого могут отражать чрезвычайно древние диалектные отношения» (стр. 97).

В. А. Москович дает следующую характеристику Полесья: «Полесье представляет собой своеобразную лингвистическую область. Интенсивность языковых контактов здесь намного ниже, чем в карпатском ареале. Этим, в частности, объясняется необычайная близость семантики полесских говоров на фоне других славянских говоров. Языковые контакты менее всего исказили реальную картину первоначальных взаимоотношений этих говоров, и этим самым намного повышается важность полесского диалектного материала для реконструкции предшествующих этапов развития славянских языков. Наше исследование иллюстрирует это наличием стойких полесско-карпатско-балканских изолекс — названий мастей животных» (стр. 160—161).

Таким образом, материалы рецензируемых сборников вполне отчетливо подтверждают положение о том, что Западное Полесье было прародиной славян, а Повисленье — районом первой славянской миграции с востока на запад. Работа полесских лингвистических экспедиций, появление сборников «Полесье» и «Лексика Полесья», а в будущем атласа полесских говоров и большого областного полесского словаря приобретают особенно важное значение для современного словяноведения.

Л. Оссовский

А. В. Десницкая. Албанский язык и его диалекты. — Л., изд-во «Наука», 1968, стр. 380.

А. В. Десницкая, без сомнения, является одним из лучших современных знатоков албанского языка. Следует считать удачей для албанистики то, что А. В. Десницкая взялась за написание этой книги, которая содержит чрезвычайно много сведений и завершается превосходным общим обзором. Книга, бесспорно, останется на долгие годы пособием *kat' e'zoXy* по албанистике, к сожалению, за пределами Албании очень мало разработанной.

В интересах такого рода исследований желательно, чтобы скорее появились и переводы книги на какой-либо один из западных языков, например, немецкий. Ему мы бы предложили предпо-

слать превосходную статью «Албанский язык в истории сравнительного языковедения (определение принадлежности албанского к индоевропейской лингвистической семье и начало его изучения)», появившуюся в книге под редакцией самой А. В. Десницкой «Балканская филология» (Л., 1970) на стр. 38—61.

Книга А. В. Десницкой делится на две части: в первой (стр. 8—38) кратко описывается современный албанский язык в главах «Общие сведения», «Морфологическая структура», «Литературный язык»; вторая часть дает тщательное описание самих диалектов, рассматриваемых со стороны их наиболее характерных особенностей. Она состоит из вводной первой

главы: «Общие вопросы албанской диалектологии» и двух основных глав: 2. «Северноалбанская (гегская) диалектная область» (стр. 64—219) и 4. «Южноалбанская (тоскская) диалектная область» (стр. 231—369), кратким приложением к этим главам является глава 3 «Полоса переходных говоров» (стр. 220—230) и 5 «Тоскские говоры албаноязычных поселений Греции, Болгарии, Украины и Италии» (стр. 370—377). Была бы желательна в качестве дополнения к этому описанию по крайней мере одна геолингвистическая карта, которая наглядно показывала бы распределение и сферу распространения наиболее значительных изоглосс.

Вторая часть является прежде всего описательной, но сопровождается замечаниями исторического характера и уточнениями отдельных фактов (например, полезная дискуссия о природе тоскских «дифтонгов» *ua, ue, ie* на стр. 268 и сл., примеч. 89); она заслуживает всяческой похвалы за качество собственных наблюдений автора (А. В. Десницкая побывала в Албании в 1956 и 1959 годах) и за глубокое знание использованной обширной литературы, которая, где это необходимо, подвергается острой критике. Здесь мы остановимся на некоторых пунктах первой части, которые дают материал для более глубокого понимания определенных понятий общего характера.

На стр. 45—49 очень хорошо описано возникновение различных диалектных групп и особенно двух современных «диалектов» — гегского и тоскского, формирование и противопоставленность которых, как утверждает А. В. Десницкая, следуя Р. Зойзи и, особенно, Э. Чабей, — явление относительно недавнее. Но этот факт и причины, его вызвавшие, ставят вопрос: не таким ли образом произошло и формирование самого албанского языка? Мы имеем, естественно, в виду не литературный язык, но общеразговорный язык с его различными региональными вариантами, а ту совокупность изоглосс, общих различным диалектам, которые дают основание рассматривать эти диалекты как составные элементы одного языка. Поэтому надо четко разъяснить то, что часто забывается из-за укоренившегося у нас папного антиисторического и антинаучного мнения, согласно которому диалекты — результат «порчи» языка. Язык, общий определенной территории, хронологически возникает позднее отдельных диалектов, на которых говорят в различных частях этой территории, и в известной мере является продуктом этих диалектов или потому, что нормы одного из этих диалектов распространились и стали все более и более преобладать над местными различиями, поглощая то там, то здесь более или менее заметные черты, или же потому, что различные диалекты все более и более сближались между со-

бой. Вряд ли нужно останавливаться на тех процессах, которые происходят в этой связи в албанском языке: превосходные примеры приводятся в самой рецензируемой книге, но мы должны уточнить, какие последствия это может повлечь.

Исторические причины, т. е. причины политического, экономического, а также религиозного и культурного порядка, вызывающие перегруппировку диалектов, о которых говорилось выше. Таким образом, может возникать большее количество языков, соответственно центрам, которые в конечном счете распространяют модели, преобладающие в определенной области. Таково было формирование совокупности «французских» диалектов на месте более древних средневековых групп в результате все большей концентрации. В Германии X в. можно четко выделить по меньшей мере три диалектных типа там, где в современной Германии совокупность «немецких» диалектов, охватывающих баварско-австрийскую, алеманскую, франконскую и саксонскую области, противопоставляется «голландским» диалектам, слившимся в один литературный национальный язык, продолжающий древнесаксонский и франконский и т. д. В Италии мы говорим об итальянских диалектах, начиная с пьемонтского и кончая сицилианским, так как жители полуострова приняли в качестве общенационального суперрегиональный тип языка, восходящий к латинскому *Umgangssprache* высших классов имперской эпохи и связанный с письменным латинским; язык этот, однако, был сильно вульгаризован и в определенный момент распался регионально, обусловив появление нескольких «итальянских» диалектов. Тем не менее в конечном итоге этот язык сформировался в значительной мере под влиянием примера великих тосканских писателей триченто; но пьемонтский, например, мог бы гораздо легче примкнуть к французскому, если бы политические условия, а частично и экономические, не вовлекли бы Пьемонт в итальянский ареал. Понятно, что, консолидировавшись, национальный язык действует все более и более на свои диалекты, которые употребляются говорящими наряду с ним, и все больше и больше развивает их общие черты. Таким образом, группа «итальянских» диалектов стала все более четко отличаться от группы «французских» и других романских диалектов. Но это означает, что когда мы говорим об «албанском языке», имея в виду различные албанские диалекты, мы должны всегда помнить, что речь идет об определенном количестве изоглосс, наличествующих во всех этих диалектах, о которых мы не можем сказать, что они (т. е. изоглоссы) распространились¹ на все эти диалекты в более

¹ О способе распространения изоглосс можно получить представление на осно-

древнюю эпоху; следовательно, мы не можем думать об едином исходном пункте — о «протоязыке». Когда мы говорим об «иллирийском» как источнике албанского, мы должны иметь в виду известное количество родственных диалектов индоевропейского типа, которые когда-то из Северного Эпира распространились вдоль всего далматинского побережья, и может быть, даже далее на север и восток; в дальнейшем при появлении на этой территории носителей вульгарной латыни, а затем славянской и др., в значительной части рассматриваемого ареала роль указанных диалектов была сильно ослаблена. Но, конечно, различия должны были быть довольно значительными и часто не меньше тех, которые разделяли каждый из этих диалектов в отдельности, в том числе и те, которые мы называем фракийскими. Это был процесс конвергенции, вызванный прежде всего политическими причинами, процесс, приведший к распространению и укреплению изоглос и давший основание говорить об «албанских диалектах». То обстоятельство, что, наряду с этим процессом, происходили другие процессы, процессы дивергенции и, в частности, образование «*ghegherian*», т. е. изоглос, с недавнего времени отделяющих гегский от тоскского, это естественно и вполне отвечает диалектике развития. Но это не значит, что не существовали и другие объединения диалектов и мы не могли бы подписаться под словами Э. Чабей (цитированными на стр. 50), по мнению которого, «албанский язык в дописьменную эпоху... имел более единообразный характер, чем в настоящее время». Это утверждение основывается на самых древних памятниках, начиная с Бузуку; однако следует заметить, что в этих памятниках, составленных духовными лицами, т. е. лицами, принадлежавшими к узкой касте, легко различить традицию, на которую диалекты других авторов не имели влияния, как это всегда бывает при наличии литературной традиции, претендующей на авторитет. Это имело, например, место в итальянской литературе, начиная с XVII в., где авторы не желали *ex professo* и по другим причинам писать на местном диалекте.

На стр. 11 находим утверждение: «нет никаких оснований говорить об албанском языке как о „смешанном языке“». Конечно, ни о каком языке нельзя сказать, с определенной точки зрения, что он «смешанный язык», потому что он, в каждый момент, является независимым творением индивидуумов, которые говорят на нем и которые в процессе этой деятельности (*energeia*) основываются на материале (*ergon*), полученном ими,

вании соображений автора о влиянии, оказываемом в этом отношении базарами, праздниками, экзогамией и др. (стр. 54 и сл.).

с другой стороны, мы не можем упрекнуть Шухардта, находившего, что все языки смешанные и, в частности, что их материал состоит из изоглос различного происхождения или идущих во всех направлениях вследствие активности двуязычных и многоязычных индивидуумов (мы имеем в виду лиц, говорящих хорошо или плохо — скорее плохо, чем хорошо, — на двух или более языках). В то же время всеми признается, что свойственное территории современного албанского языка двуязычие всегда стояло на повестке дня: латинский, романский (особенно итальянские, далматинские, румынские диалекты), греческий (античный и византийский), а также и новогреческий), славянский, турецкий веками являлись средством общения албанцев (не только высших классов, но может быть и больше всего, пастухов, солдат, торговцев и т. д.) с народами, вступавшими с албанцами в контакт.

Естественно, что в этих условиях не только явления местного порядка, но и факты внешнего характера давали материал для деятельности отдельных носителей языка как с той, так и с другой стороны.

Наивными националистическим тщеславием является утверждение, что определенный народ в языковом отношении или какими-либо другими сторонами своей духовной и материальной жизни должен быть непосредственно связан только с тем или другим народом, который принято рассматривать в качестве его предка. Самое большее, что возможно (или должно) установить — это то, что конститутивные элементы данного языка или другие рассматриваемые явления в какой-то мере представляют более или менее древнюю стратификацию в географическом смысле (т. е. в отношении территории, где обитает народ, являющийся предметом изучения). В этом смысле, может быть, можно сказать, что иллирийские диалекты, которыми пользовались на той территории, где находятся в настоящее время албанские диалекты, представлены в этих последних больше, чем другие языковые традиции: это прежде всего не языки (представляющие собой чистейшие абстракции), которые смешались друг с другом, а скорее отдельные факты различного происхождения, которые постепенно при содействии говорящих объединились и интегрировались в то, что мы называем сегодня «албанским» языком.

Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что миф о «языке» как о чем-то живом и реальном («естественный организм» Шлейхера), имел результатом стремление свести албанский материал непосредственно к индоевропейскому (понятие, также возникшее в результате сложения общих элементов, наличествующих в большом числе языков). При этом не учитывалось, что часть этого материала различного происхождения или прошла через латинский

или греческий, и неизменно проводилось различие между унаследованным и заимствованным. Такое преувеличение характерно при изучении фактов фонетики и морфологии и особенно в отношении системы², а в области лексики доводится до смешного.

Восемьдесят процентов этимологий Йокля повторяются до сих пор; например, этимология М. Цамай в его «Албанском словообразовании» (см. мою рецензию в «Paide a», XXIV, 1969, стр. 340 и сл.) выведены по этой системе. Определенное понятие, например, «albero» может быть обозначено прилагательными со значением *alto, verde, ombroso, freseo, frozuto* и т. д. и т. д. В одном из обычных словарей ищется индоевропейский корень, с которым плохо ли, хорошо ли можно было бы связать один из этих спланификатов; и этимология «albero» считается установленной. Отсюда легко сделать разного рода выводы относительно фонетики и, пожалуй, морфологии и даже этнического происхождения албанцев, вплоть до «несмешанного» характера

a) Настоящее время *jam* «есмь» (общиндоевропейское: санскр. *asmī* и т. д.)

b) *Kam* «имею» (от* *khab-mi*: лат. *habēō*, гот. *haban*, др.-в.-нем. *habēn*)

c) 1. *bie* «ударяю» (лат. *feriō*, др.-сев. берия и т. д.)

d) 2. *bie* «несу» (общиндоевропейское: санскр. *bharāmi*, лат. *ferō* и т. д.)

e) *shoh* «вижу»⁴ из *sēq^u-skō*: гот. *saihwān*, ирл. меднум *ar-secha* «следовало бы ему увидеть нас»

f) *vij* «прихожу» (кажется заимствованным из лат. *veniō*)

g) *ha* «ем» (из **gzh-*: санскр. *ghasudhva*, др.-в.-нем. *ja-k̄s-i-ti* «он ест», р. р. *ja-gdha-*)

² Например, подчеркивается, что глагольная система в албанском такая же, как и в итальянском; в обоих языках имеется (ср. стр. 21 и сл.), настоящее, имперфект, аорист (итал. *passato remoto*), плюсквамперфект II (итал. *trapassato remoto*), будущее I (итал. *futuro semplice*) и будущее II (итал. *futuro composto*); и в обоих языках первые три времени, — как простые, или синтетические, так и аналитические, ибо будущее простое I в итальянском, как и во французском и испанском, является результатом соположения настоящего времени глагола «avege» и инфинитива: *apriro* из *aprire ho*, так же, как в гегском *kam me hapē*. Здесь следует подчеркнуть, что «perfetto» в итальянском и в других романских языках не является продолжением латинского перфекта, а калькой перифрастического времени, сложившегося в греческом после исчезновения старого перфекта (ἐῶν δεῦρο вместо δέδεχα), что позволило, следуя греческой модели, употреблять как *passato remoto* латинский

из языка. Однако в иллирийском, как и в латинском, греческом и других языках, наряду с элементами индоевропейского происхождения, должны существовать многие «средиземноморские» элементы, т. е. элементы свойственные неиндоевропейским народностям, заселявшим территорию современной Албании. Именно эти народности (а не носители индоевропейских элементов) с антропологической точки зрения, несомненно, составили в значительной мере костяк современной албанской нации.

Не для того чтобы дать историю различных изоглос, образующих албанский язык (для этого надо было бы написать огромную книгу!), но только в качестве примера различных связей, которые может иметь албанский язык с другими языками в своей стратификации, приведу здесь небольшой образец сопоставлений, пришедших мне в голову при чтении книги А. В. Десницкой³. Начну со списка глаголов с супплетивным спряжением, который находим на стр. 24. Среди них встречаются:

аор. *qeshē*, прич. *qēnē* (: арм. *linim*, Pedersen KZ, 36, 341)

pata, pasur (доричск. *πίσασθαι*, перф. *πέπασται* «владеть»: сопоставимо с *κλέω* и т. д.)

rashē, rēnē (ст.-слав. *raziti*)

prura, prurē (*pr-un-*: арм. *unim* «имею»)

pashē, parē (санскр. *paç-* «видеть», лат. *speciō* «вижу», др.-в.-нем. *spehōn* и т. д.)

erdha, ardhur (: греч. *ἔρχομαι* Pedersen KZ, 36, 335, SLS, стр. 119)

n̄ra (n-гта: греч. *γράω* «ем», имперф. *γράφει*, санскр. *ras-* «есть»)

перфект (откуда *dussi* из *dixi*, эквивалентное албанскому аористу *fola* «сказал»). Тосское будущее I образовано как в современном греческом (а в дальнейшем и в других балканских языках) с глаголом «volere» плюс сослагательное наклонение *do të hap*, как *θα* (< *θέλω* *inv*) *οἴγυω*.

Этим я и не хочу сказать, что албанский взял у итальянского его систему времен, но только то, что та и другая системы являются результатом распространения одной изоглос, появившейся, вероятно, еще в первые века нашей эры. Но не следует отбрасывать и предположение, что албанская глагольная система была лучше фиксирована в письменном языке теми писателями (обычно, духовными лицами, стоявшими во главе римской конгрегации *Propaganda fide*), которые в литературном итальянском языке находили образец, достойный подражания.

³ Для более древних периодов ср. то, что я уже указывал в своих статьях: «L'albanais et les autres langues indo-européennes», в «Mélanges Grégoire», II,

Мы видим, что албанский язык постепенно соприкасался с теми или другими индоевропейскими языками, или со всеми, или почти со всеми. В последнем случае, как и в случае соответствия с санскритом и вообще с арийскими языками, встает вопрос об общем происхождении из «протосанскрита», т. е. языка, который, по нашему мнению, был принесен в Европу различными группами завоевателей, пришедших с юго-востока и давших вместе с местными языками, на которые он наложился, начало лингвистической общности, которую мы называем «индоевропейским» (ср.: ВЯ, 1966, 4, стр. 3 и сл.; V. P i s a n i, *Lingue e culture*, 1969, стр. 21 и сл.); в других случаях перед нами уже контакты не с «иллирийским» или с теми или иными языками, а с отдельными изоглоссами, распространившимися внутри указанной лингвистической общности, каждая со своей областью и временем распространения. Или перед нами может быть случай, когда указанное лингвистическое соединение распалось и образовавшиеся диалекты снова самыми различными путями вступили в контакты между собой (ср. SLS, стр. 133 и сл.).

На стр. 25 А. В. Десницкая (следуя Йоклю) возводит к *-ono-* суффикс *-un/-ur* причастия. Он соответствует таким образом санскритскому *-ana-* атематического спряжения (например, *avis-āna-* «ненавидимый» с *ā*, по «закоу Бругмана»), и *-ana-* германского причастия прошедшего времени сильных глаголов (например, гот. *bund-ān-s* «связанный»); здесь вероятно «прасанскритское» происхождение.

Переходя к другой категории, отрицающую утверждение на стр. 26: «Помямо суффицированного артикля, служащего для выражения грамматической категории определенности⁵, в албанском языке имеется второй тип артикля, также местоименного происхождения, но употребляющийся отдельно как служебное слово. Основная функция этого артикля—

стр. 519 и сл., «*Lexikalische Beziehungen des Albanesischen zu den anderen indogermanischen Sprachen*» (*Jahrb. für Kleinasiatische Forschung*), III/4, стр. 147 и сл.), которые перепечатаны в моей книге: «*Saggi di linguistica storica*», Milano, 1959, стр. 96 и сл. и 115 и сл.

⁴ Только в этом языке находим **seq^u* «видеть»; не имеет значения, тот же ли это корень, что в *seq^u* «следовать». Семантическая инновация, если таковая имела, является общей только для германского, ирландского и албанского.

⁵ Ср. мою краткую заметку в «*Studia Albanica*», 1969, 1, стр. 129—131: «иллирийский» национализм вызвал реакцию больше, чем у одного албанского лингвиста, как можно видеть из цитированного выпуска.

связывать определение с определяемым, например, *djali i urtë* «умный мальчик», *biri i partizanit* «сын партизана», *vafza e urtë* «умная девочка», *bija e partizanit* «дочь партизана». Бросается в глаза сходство с персидской конструкцией, в которой существительное связывается при помощи *i* (из относительного местоимения др.-иран. *ya-*) либо с прилагательным, либо с другим существительным, которое находится от него в зависимости, подобно гентиву в русском языке: *mard i chüb* «добрый человек» (собств. «человек, который добрый»), *biradar i mard* «брат человека». Соответствие почти полное, даже употребляется то же местоимение, так что трудно предположить чистую случайность; но я затрудняюсь объяснить этот переход из одного языка в другой в сравнительно недавнюю эпоху, потому что персидское явление относится к «среднеиранскому периоду»; ограничиваюсь лишь постановкой вопроса, оставляя решение его другим.

Древнегреческие явления, проникшие в албанскую языковую традицию, толковал А. Тумб в его достойной внимания статье в 36 томе «*Indogermanische Forschungen*». Более недавние связи греческого и южноалбанского (тоскского) могут быть признаны в явлениях, описанных А. В. Десницкой на стр. 45, где отмечаются два «основные грамматические различия» между гегским и тоскским: «1) В гегском есть специальная форма инфинитива *me hap(ë)* „открывать“, *me luftue (me luftä)* „бороться“⁶. В тоскском соответствующие значения передаются с помощью форм сослагательного наклонения. Ср. гегск. *due më luftue* (= *dū me luftü*) „хочу бороться“ — тоск. *dua të luftof...* 2) Различие обнаруживается в образовании форм будущего времени. В гегском представлен так называемый западороманский тип: аналитическое сочетание форм настоящего времени вспомогательного глагола *kam* „имею“ с инфинитивом — *kam me luftue (luftä)*, *ke me luftue* „буду, -ешь бороться“ и т. д. В тоскском — „балканский тип“, аналитическое сочетание форм сосл. накл. наст. вр. спрягаемого глагола с частицей *do* (застывшая форма глагола *dua* „хотеть“) — *do të luftof, do të luftosh* и т. д. Так, субституция инфинитива частицей *plux* настоящее время представляет собой явление, свойственное народному греческому, распространяющееся также на итальянские диалекты Калабрии, северо-восточной Сицилии и Земли Отранто (ср.: Rohlfs, *Historische Grammatik der italienischen Sprache*, § 717).

Не сомневаюсь, что мы имеем здесь изоглоссу, распространившуюся, вероятно, с греческой территории. А. В. Десницкая предполагает, что распростра-

⁶ «Состоящая, — сказано на стр. 25, из предлога *me* „с“ и краткого причастия»

нение ее в албанском недавнее, потому что находит в тоскском следы инфинитива. Возможно, однако, что наличие *domet-hëne* («это значит», собств. «хочу сказать») может базироваться на заимствовании из чегского или еще скорее из литературного языка, и, может быть, это относится также и к некоторым герундиальным формам, таким, как *duk me punuar* («лавогаю») и т. д. Что касается будущего времени с глаголом «volere», то оно распространено, как справедливо замечает А. В. Десницкая, на всем Балканском полуострове и наверняка проникло с греческой территории, где можно проследить его формирование (ἑλθών) вплоть до античного периода. Нельзя считать абсурдом предположение, что оба тоскских явления восходят, как и соответствующие явления в южноитальянском и в балканском, к изоглоссе, распространеннейшей в первые века нашей эры⁷. К этой эпохе мы бы отнесли также и соответствие албанского и романских языков, которое устанавливается на стр. 25: «Албанское причастие имеет страдательное значение для переходных и активное для непереходных глаголов», ср. итал. *ferito*, франц. *blessé* «раценный», но *andato*, *allé* «шедший». Что касается другой особенности причастия («оно играет очень большую роль в построении аналитических форм»), то она может быть греческого происхождения, проникла также в романские, германские и славянские языки и представляет собой одну из главных современных европейских изоглосс.

Мы отметили (примеч. 2) совпадение итальянского и албанского в системе глагольных времен; здесь укажем, что переход гетского *mb, nd* в *m, n* — недавний и еще не везде завершённый (стр. 32 и 44), имел место в наших среднеюжных диалектах (где он осекско-умбрского происхождения) и входит в пучок изоглосс, которые распространились с одного берега Адриатического моря на другой, в то время как ротацизм с рефлексами, которые кое-где привели к замене *l* древним *r* (ср.: Н. М. Olberg, «Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie J. Pokorny gewidmet», стр. 57 и сл.), представляет собой явление, распространенное в большинстве итальянских диалектов и спорадическиходящее до Франции.

⁷ Не знаю, какое значение можно приписать факту, что частица *te*, которая в гетском предшествует так называемому инфинитиву (*te karë*) довольно близко напоминает частицы *ti, mi, ma*, которые в Калабрии и Сицилии предшествуют настоящему времени при замене им инфинитива, например *vogghiu tu mangiu* «voglio mangiare, хочу есть». Если верно (ср.

Интересно высказывание на стр. 26: «...так называемый изолированный артикль обычно ставится...перед терминами родства, если они не имеют при себе притяжательного местоимения... например: *i ati* „отец“ (какого-то определенного лица), *e motra* „сестра“ (но *im ati* „мой отец“, *ime motra* „моя сестра“). Ср. итал. *il padre*, но *mio padre*, франц. *le père*, но *mon père*. Здесь также можно было бы говорить о недавнем влиянии со стороны итальянского.

Румыно-албанские схождения включаются в более общие рамки балканских изоглосс и здесь не место о них говорить. Есть, однако, явление, которое мне кажется достойно того, чтобы его отметить: «Формы род. и дат. падежей совпадают во всех случаях, что как будто дает основание говорить о единой форме род.-дат. падежа. Однако значения этих форм вполне дифференцированы» (стр. 28). То же самое можно было сказать в отношении румынского, который наряду с «прямым» падежом (номинатив-аккузатив) имеет «косвенный» падеж, который грамматисты определяют как два падежа — генитив и датив, хотя формально мы имеем здесь дело с одним падежом, в то время как сигнификаты различаются (и для ограничения генитива от датива можно употребить предлог *la*). В этом отношении я сделал бы одно замечание: «косвенный» падеж, не определенный в румынском, всегда равен «прямому», за исключением отдельных форм женского рода, оканчивающихся на *-e*: отсюда «прямой» *fată* «девушка», «косвенный» *fate* «девушки, -ке». Это *-e* обычно возводят к латинскому *-ae* генитива и датива; но эта точка зрения вызвала критику (ср.: Gazdaru, «Romania», 1, 1968). Албанский номинатив-аккузатив *vajze* «девушка» имеет в генитиве-дative *vajze*; если учесть, что *-ë* в албанском *п* *-a* в румынском представляют собой один и тот же звук, то соответствие поразительно: чистая случайность?

Этим кончаем ряд замечаний, целью которых было дать читателю по возможности полное представление об обилии информации и соображений, содержащихся в прекрасной книге А. В. Десницкой.

В. Пизани

Перевела с итальянского Н. А. Катагощина

примеч. 6), что *te* означает «с», было бы допустимо видеть в этой частице сокращенную форму греч. *τέτα*, которая в итальянском языке, помимо *ti*, превратилась в *ti* и *ta* по примеру *si* и *sa* (<*quod, quia*), одинаково употребляемых.

E. H. Lenneberg. Biological foundations of language. — New York — London — Sydney, 1967. XVI+489 стр.

Профессор Мичиганского университета Э. Леннеберг известен как автор многочисленных статей, разнообразных по своему содержанию, но тематически связанных стремлением использовать психологические знания и методы для изучения вопросов языка и речи. Свои выводы и заключения Э. Леннеберг, как правило, обосновывает солидными экспериментальными данными, применяя экспериментальный путь исследования даже тех проблем, которые «традиционно» решаются умозрительным путем, — например, при рассмотрении проблемы влияния структуры языка на нормы мышления и поведения (так называемая теория «лингвистической относительности», наиболее полно сформулированная в гипотезе Сепира — Уорфа). Научное творчество Э. Леннеберга характеризуется также попытками уклониться от проторенных дорог в исследовании, и это его качество находит свое выражение в почти программном наименовании книги, вышедшей под его редакцией — «Новые направления в изучении языка»¹ (1964). Рецензируемая монография Э. Леннеберга посвящена исследованию биологической базы языковой способности человека.

В предисловии к книге (стр. VII—IX) Э. Леннеберг со всей категоричностью отмечает, что он мыслит ее не как учебник или обзорную работу, а как теоретическое исследование. Таким образом, с самого начала достаточно недвусмысленно подчеркивается оригинальный характер книги, хотя автор и оговаривается, что содержание ее «скорее следует понимать как дискуссию, нежели как изложение биологических основ языка». Впрочем, в заключительной главе в суммарном виде все же представлена точка зрения, которая «когда-нибудь в будущем может превратиться в основание для новой теории языка». Во исполнение этой задачи автор «стремится восстановить концепцию биологической базы языковой способности и при этом представить свои конкретные положения настолько эксплицитно, чтобы они могли быть подвергнуты эмпирической проверке» (стр. VIII).

Монография Э. Леннеберга сопровождается двумя статьями, которые выполняют определенные функции. Одна из них принадлежит О. Марксу и носит название «История биологической базы языка». Она призвана придать рассматриваемой проблеме историческую перспективу и представляет собой довольно ясный и поверхностный обзор разных точек зрения от фараона Псамметиха до

В. Вундта. По поводу этой статьи можно заметить, что читатель с большим интересом прочел бы о работах, имеющих более непосредственное отношение к проблеме и, в частности, об упоминаемых в предисловии книгах: В. Naunyn, *Die organischen Wurzeln der Lautsprache des Menschen*, München, 1925; C. L. Meader, J. H. Muyskens, *Handbook of biolinguistics*, Toledo, 1950.

Другая статья — «Формальная природа языка» — написана Н. Хомским, концепция которого о порождающих грамматиках в настоящее время находится в центре внимания лингвистов. Собственно о порождающей грамматике говорит Н. Хомский и в данном случае, но излагает ее основные положения в определенном аспекте.

Поскольку рассматривать язык в биологическом плане значит изучать его как лингвистически универсальное явление, постольку явилась потребность теоретически обосновать универсалистский подход. Этой цели и служит статья Н. Хомского, которая излагает также формальные принципы такого подхода к изучению языка, укладываемые в теорию порождающих грамматик. Таким образом, статья Н. Хомского представляется в данном случае весьма уместной. Однако следует отметить явную логическую несогласованность между целями изучения в биологической концепции языка и в теории порождающих грамматик. В первом случае изучается биологический механизм, обеспечивающий деятельность языка. Иными словами, когда изучается биологическая база языковой способности, то внимание исследователя направляется на деятельность определенного вида, в которой и находит свое воплощение данная способность. А теория порождающих грамматик делает строгое различие между «знанием языка» (knowledge или competence) и «деятельностью» или «использованием» языка (performance или use), и занимается она первым, а не вторым. Говоря словами самого Н. Хомского, «порождающая грамматика не является моделью для говорящего или служащего. Она стремится охарактеризовать в возможно более нейтральных терминах знание языка, которое создает основу для конкретного использования языка слушающим или говорящим»². Таким образом, деятельность языка как таковая (относящаяся к теории использования языка) фактически оказывается вне внимания исследователя. Интересно отметить, что Э. Леннеберг не только не замечает этой

¹ «New directions in the study of language», ed. by E. Lenneberg, Cambridge (Mass.), 1964.

² N. Chomsky, *Aspects of the theory of syntax*, Cambridge (Mass.), 1955, стр. 9.

несогласованности целей, но в главе седьмой пытается обернуть ее в пользу своей теории.

Монография Э. Леннеберга состоит из девяти глав, из которых первые восемь содержат предпосылки для формулирования теоретических выводов, излагаемых в девятой главе.

В первой главе — «Структура концепции» — автор излагает методологические принципы, которые он кладет в основу своего исследования. Очевидно, первое что необходимо было сделать в этой главе, это — определить объект своего исследования — язык. Э. Леннеберг уклоняется от этого. Он лишь констатирует, что «наше понимание механизма языка все еще бедно. Мы интуитивно не знаем, что из себя представляет язык объективно и каким образом мы общаемся друг с другом. Единственный способ установить, в какой мере экспериментальная модель имеет какое-либо отношение к естественному языку, заключается в проведении исследования природы, структуры и истории естественных языков и затем выяснения того, действительно ли эмпирически определенные принципы, лежащие в основе языка, оказываются представленными в экспериментальных моделях. Отсюда следует, что биологическое исследование языка должно изучать не только организм, который говорит, но и само поведение — язык — совершенно таким же образом, каким зоолог, изучающий барсука, должен изучать не только его физическую структуру, но и его замашки, чтобы получить общую картину этого животного. Именно по этой причине некоторые разделы этой монографии касаются биологического аспекта человека, а другие — биологического аспекта языка» (стр. 3).

Из этой предпосылки следует основной тезис книги, заключающийся в том, что поведение является неотъемлемой частью конституции животного. «Поведение следует рассматривать как неотъемлемую часть органического целого; оно находится в связи со структурой и функцией, при этом одно есть выражение другого... По моему мнению, существуют доказательства того, что поведение обладает той же историей, имеет то же происхождение, как и форма и физиологический процесс. И действительно, разграничение между физиологической функцией и поведенческой функцией есть производное от нашей точки зрения на животное, в то время как эти функции переходят друг в друга и таким образом объективно нераздельны» (стр. 3).

Изложенный символ веры принимает форму своеобразного структурального бихевиоризма, требующего исследования поведения в терминах конкретного биологического вида. Он едва ли будет встречен с симпатией правоверными бихевиористами. Но в концепции Э. Леннебер-

га он выполняет весьма существенную роль, давая возможность установить, почему данный вид обнаруживает поведение, уникальное в животном царстве. В контексте данного исследования он должен дать ответ на вопрос, почему только человек может научиться говорить на естественном языке. С точки зрения указанной взаимосвязи и проводится дальнейшее исследование, до предварительно в данной главе рассматриваются еще некоторые общие вопросы: форма и функция в онтогенезе, поведенческая спецификация и проблема приспособляемости, генетические основания поведения и отношение между формой и поведением. Разбор методологических предпосылок монографии заключается общим выводом, в соответствии с которым «знание одной лишь структуры не может привести к точному формулированию поведенческих моделей (общего образа жизни), но если мы знаем поведенческие модели, мы можем понять и объяснить определенные морфологические специализации» (стр. 27). Применительно к проблеме языка это значит, что язык, как и другие виды поведения, в значительной степени определяется биологическими потенциями. В последующих главах последовательно рассматриваются различные аспекты этого общего методологического принципа.

Глава вторая в сравнительном плане трактует о «Морфологических коррелятах»: периферических анатомических компонентах (лицо, губы, ротовая полость) и о центральной нервной системе. Автор при этом сосредотачивает внимание на спецификациях и инновациях периферической анатомии человека сравнительно с другими приматами. Все они, однако, не объясняют существования возможного приписать той или иной специфической нейроанатомической структуре способность к языку. Впрочем, эта способность может быть обусловлена структурными инновациями на мускулятором уровне. Возможно, язык обуславливается тем специфическим способом, каким разные части мозга осуществляют совместную работу, или, иными словами, свойственной ему функцией» (стр. 72).

Третья глава посвящена «Некоторым физиологическим коррелятам». Здесь рассматриваются дыхание, речеобразование, проблемы, возникающие в связи с темпом движений и порядком моторных действий, и ритм как организующее начало. Эта глава носит наиболее «обзорный» характер, и центральное место здесь, естественно, должно было бы занимать речеобразование. К сожалению, наиболее беден именно этот раздел, достаточно компетентное изложение которого трудно представить себе ныне без учета работ Л. А. Чистович и ее сотрудников. Не

слишком большую долю вносит эта глава и в концепцию Э. Леннеберга. Эта доля сводится к гипотезе, что временные модели, на которых основывается нейромускуляторный автоматизм, своим источником имеют физиологический ритм, состоящий из периодической смены «состояний» со скоростью в 6 ± 1 смен в секунду. Видимо, и сама артикуляция отражает этот основной ритм.

Значительно больший интерес представляет следующая глава «Язык в контексте роста и возраста», — охватывающая широкий круг вопросов.

Глава в основном посвящена поискам ответа на вопрос, почему ребенок начинает говорить на определенной возрастной стадии, а именно между 18 и 28 месяцами. Ответ можно искать либо в изменении окружения ребенка (в частности, в изменении к нему отношения общества и родителей), либо в возрастных изменениях. Э. Леннеберг в своем рассмотрении этого вопроса исходит из предположки, что наиболее важные различия между доязыковой и послезыковой фазами развития обуславливаются растущим индивидуумом, а не внешним миром или изменениями стимулов. «Язык не может начинать развиваться пока не будет достигнут определенный уровень физической зрелости» (стр. 158). Затем автор рассматривает отдельные возрастные биохимические и нейрофизиологические изменения и приходит к достаточно осторожному выводу: «Возникновение способности к усвоению языка нельзя приписать непосредственно тому или иному возрастному процессу, изучавшемуся до сих пор. Однако важно знать, каково физическое состояние мозга до, во время и после критического периода усвоения языка. Это является необходимым условием для установления более специфических нервных феноменов, лежащих в основе языкового поведения» (стр. 179).

Еще в предисловии к своей книге Э. Леннеберг указывал на значение систематического изучения патологических явлений (разного вида нейрологических расстройств) для исследования биологической основы языковых способностей. Идея о важности патологии для изучения норм, как известно, восходит к И. П. Павлову. Э. Леннеберг реализует ее в главе пятой — «Нейрологические аспекты речи и языка», — возвращаясь к ней эпизодически в главах седьмой и восьмой.

Вся пятая глава посвящена описанию разного рода афазии и лежащей в ее основе патологии. Можно согласиться с автором, что литература по афазиологии почти безгранична и ее трудно объять, но все же нельзя отделаться от чувства разочарования, когда видишь, что в данном случае фактически остаются неиспользованными чрезвычайно богатые данные для исследования как раз тех вопросов, которыми занимается монография.

В частности, оказались обойденными работы, содержащие лингвистическую интерпретацию явлений афазии (например, известные работы Р. Якобсона)³. Это просто непонятно. Ведь в афазии можно видеть самой природой поставленный грандиозный и безжалостный эксперимент, при котором последовательно выключаются отдельные блоки того механизма, которые обеспечивает языковую деятельность. Это дает возможность делать выводы о деятельности всего механизма в целом и, конечно же, о связях, существующих между многообразными аспектами функционирования языка и биологическими факторами разного порядка. Можно назвать не мало работ, весьма успешно проводящих исследование в этом направлении и приведенных к пересмотру клинической практики. В этой связи в первую очередь хочется назвать труды А. Р. Лурия. Но все это прошло мимо внимания Э. Леннеберга. Заключение по этой главе вполне тривиальное. Впрочем, вполне созвучными новым веяниям, стремящимися представить в терминах точных наук давние естественных и гуманитарных наук, кажутся следующие суммирующие слова: «Представляется полезным думать о нервном сообщении, релевантном речи и языку, как о закодированном во времени сигнале... Внутренний механизм понимается как нейрологический (neurological) аналог автомата, который может быть приведен в действие многообразными стимулами (их источник находится либо вне, либо внутри индивидуума). Механическая точка зрения позволяет ожидать больших ограничений видов операций такого механизма, чем это дает диапазон потенциальных стимулов» (стр. 222—223). Но всегда ли переформулирование в терминах одной науки данных другой науки дает искомый эффект?

Шестая глава рассматривает «язык в свете эволюции и генетики». По поводу этой проблемы было сказано много, но мало что в этом сказанном можно признать хоть сколько-нибудь бесспорным. К этому немногому надо причислить мысль, которую разделяет и автор, что все, что относится к происхождению и эволюции языка, и в том числе биологическая история языка, носит «скрытый» характер. Они скрыты от нас временем и серией структурных и функциональных трансформаций, которые происходили в процессе формирования современного человека. Выводы Э. Леннеберга в сущности представляют вариации на эту малоутешительную тему. Он пишет: «Биологическую историю языка нельзя раскрыть посредством случайных сравнений с ком-

³ Мимолетное упоминание его имени, конечно, нельзя считать за такого рода использование.

музыкальной животных, в особенности, если база для сравнения оказывается прагматической или «логической» и проводится оно без учета филогенетических отношений животного к человеку. Сравнение языка с коммуникацией животных вне порядка приматов опасно ввиду явления конвергенции. Реконструкция происхождения языка невозможна, за исключением самых простых констатаций (стр. 265). К числу такого рода констатаций, видимо, следует отнести утверждение, что «нет ничего небилософского в признании языка уникальным видом поведения в царстве животных; эта уникальность объясняется эволюционным процессом, так же как и генетическим механизмом» (стр. 266).

В лингвистике XIX в. разбираемые в данной главе проблемы были чуть ли не самыми излюбленными, но решались они исключительно умозрительным образом. Затем на них было наложено вето. Но в последнее время они опять всплыли на поверхность и стали предметом совместного изучения лингвистов, биологов, психологов и семантиков. При этом очень широко стал привлекаться материал, полученный при исследовании «языков» животных. Такое изучение оказалось необходимым в первую очередь ради познания природы или «рабочих возможностей» человеческого языка, что достаточно исчерпывающе можно сделать, лишь выйдя за его пределы. Это изучение обычно проводится пофункционально (наиболее полный набор функций включает эмотивную, фатическую, познавательную, когнитивную, поэтическую и металингвистическую функции). Подобное пофункциональное изучение оказалось перспективным и весьма поколебало правомерность антропоморфического подхода к изучению «языков» животных. Оно показало чрезвычайную важность изучения коммуникативной деятельности в конкретном видовом биологическом контексте. Оно же дает основания для нехитрого заключения, что, например, у дельфинов или обезьян макак, конечно же, нет человеческого языка, но есть своя коммуникативная система, которая набором своих функций значительно отличается от человеческого языка и которую поэтому и не обязательно именовать языком. Тем самым уникальность человеческого языка приобретает статус неоспоримости.

Глава седьмая — «Примитивные стадии в развитии языка» — по замыслу должна отвлекаться от биологической базы языка: в ней автор ставит своей задачей выявить регулярности в пределах отдельных стадий развития языка и «стратегию овладения языком» независимо от возрастных особенностей. Автор исходит при этом из предпосылки, что проблемы развития языка невозможно понять без анализа структуры языка, а адекватное

понимание структуры языка в свою очередь следует ставить в зависимость от эмпирических исследований процесса освоения языка. Естественно, при этом возникает вопрос о методологической и методической базе как анализа структуры языка, так и исследований процессов его освоения. Современная лингвистика предлагает в этом отношении, богатый выбор. Э. Леннеберг дает краткое описание структуры языка в терминах теории порождающих грамматик Н. Хомского, статья которого, как указывалось, прилагается к монографии. Это — последнее по времени возникновения методическое направление в лингвистике, которое находится пока лишь в процессе становления и поэтому подвергает постоянному пересмотру основные свои положения. Последние пересмотры носят такой характер, что подвергают сомнению саму правомерность использования термина «порождающая грамматика». Выясняется, что порождающая грамматика в действительности никакими порождениями не занимается. Но Э. Леннеберга привлекал, видимо, прокламируемая в теории Н. Хомского строгость определений (хотя фактически в ней многое опирается на интуитивные критерии, вследствие чего она даже начала причислять себя к лагерю менталистов, которых всегда ругали за нестрогость методов) и целеустановка на описание объема «знания» языка. Не следует забывать, что в монографии Э. Леннеберга речь идет о гипотезе (правда, методологического масштаба) и давать в данном случае какие-либо рекомендации значило бы связывать свободу его мысли. Однако объяснительные возможности лингвистической теории, используемые в качестве теоретической основы, конечно, не могут не оказать своего влияния на убедительность гипотезы. Судьбу своей гипотезы Э. Леннеберг самым недуманным образом связал с теорией порождающих грамматик Н. Хомского, и крушение или достаточное основательное переформулирование этой теории (опасность, судя по последним работам Н. Хомского, вполне реальная) означало бы и крушение гипотезы Э. Леннеберга.

Основное место в главе занимает описание (по существующим источникам) развития языка у здорового ребенка и у дефективных детей. Здесь мимоходом следует отметить, что само такое раздельное описание (особенно во втором случае) все же не позволяет оторваться от биологической базы языка (что, разумеется, не следует рассматривать как упрек автору, учитывая задачи его монографии). Эта привязанность дает себя знать и в выводах.

Э. Леннеберг выдвигает гипотезу, что в механизме языка мы обнаруживаем естественное расширение самого общего принципа организации поведения, ко-

торое биологически приспособляется к высшей степени специфической эгологической функции. Автор при этом широко пользуется заимствованным у Н. Хомского термином «трансформация», наполняя его, однако, биологическим содержанием. «Трансформационный принцип в языке,— пишет он,— очевидно, следует идентифицировать с познавательными принципами, лежащими в основе способности к категоризации как моделей окружения, так и моделей, которые производят наши собственные движения» (стр. 325). Для теории Э. Леннеберга, пожалуй, наиболее важным в трансформационном принципе является утверждение, что восприятие тождеств и отношений в процессе познания зависит от способности организма к трансформациям, а эта способность лимитируется биологически. Применительно к конкретным уровням структуры языка это положение звучит так: «Трансформации грамматики суть биологически специализированные трансформации, приложимые к акустическим моделям, которые у человека выполняют коммуникативную функцию. Этот тип трансформационной способности представляет чисто биологическую данность, но конкретные трансформации, имеющие место в том или ином языке, суть одни из бесконечного множества возможных» (стр. 325—326). Надо сказать, что для многих правоверных представителей порождающих грамматик (например, для создателя порождающей аппликативной модели — С. К. Шаумяна⁴), определяющих трансформационный механизм языка как автоматическое устройство, который из конечного количества собственно языковых единиц и правил создает бесконечное количество предложений, подобные представления покажутся шокирующими. По самой своей природе «биологически специализированные трансформации» в сущности не допускают использования логического формального аппарата. А если же заниматься конкретными языковыми трансформациями, то в силу того, что их бесконечное множество, их биологическая основа оказывается нерелевантной — для лингвиста во всяком случае. В этой концепции имеется изъян и более общего характера — она полностью исключает влияние конкретной структуры языка, вследствие чего делается непонятным, почему в одном языке имеют место трансформации одного порядка, а в другом — другого. И, наконец, она совершенно игнорирует семантику, которая во многих случаях определяет использование грамматических средств и строй предложения в целом (так же, как и его трансформации).

В восьмой главе — «Язык и познание» — Э. Леннебергу есть что сказать

от себя, так как ему (в сотрудничестве с Дж. М. Робертсом) принадлежит небольшая по объему, но интересная и по экспериментальной методике и по аргументированным выводам монография «Язык опыта: исследование в области методологии»⁵.

Для лингвиста тема настоящей главы представляет особый интерес, так как проблема взаимоотношения языка и познания по сути дела является центральной в науке о языке. Но Э. Леннеберг намеренно сужает эту тему, подчиняя ее целям своей монографии. С самого начала он предупреждает, что эту проблему он будет рассматривать лишь в аспекте референтности, т. е. отношений, существующих между словом и вещью, и с учетом роли нашей способности к наименованию в организации человеческого познания — по Леннебергу, эта способность обладает биологическими измерениями. Разумеется, автор имел все права пойти на такого рода сужение проблемы, но это сужение отнюдь не способствует адекватному ее решению. В сущности, главное понятие, с которым Э. Леннебергу приходится иметь дело в данной главе, есть значение. Но в лингвистике давно уже отказались от попыток определить его через посредство лишь двух факторов — слова и вещи. Выяснилось, что лингвистическое значение чрезвычайно сложной природы и что в его формировании принимают участие многие силы. В частности, не последнюю роль играют семиотические закономерности взаимоотношений знаков, имеющие сугубо формальный характер и едва ли обнаруживающие какую-либо связь с биологической основой функционирования языка.

Каким же образом решает эту проблему Э. Леннеберг? Он создает биологическую концепцию семантики. В основе этой концепции лежит идея о том, что деятельность наименования или употребления слов (отметим, что это все же совершенно различные вещи) есть специфически человеческая способность делать эксплицитным процесс организации сенсорных данных. Большинство животных организуют сенсорный мир посредством процесса категоризации: на его основе строятся два других процесса — дифференциация или дискриминация и трансформация. У человека эта организующая деятельность обычно именуется образованием понятий (почему категоризацию и образование понятий следует

⁵ E. H. Lenneberg, J. M. Roberts, The language of experience: A study in methodology, Baltimore, 1956. (Некоторые коррективы см. в статье: E. H. Lenneberg, Color naming, color recognition, color discrimination: a re-appraisal, «Perceptual and motor skills», 1961).

⁴ См. его книгу «Структурная лингвистика», М., 1965.

рассматривать как синонимические обозначения). В результате соединения понятия со словом (процесс наименования) возникает якобы эффект лингвистического значения. Этот процесс носит динамический характер, так как слова являются ярлыками не для «готовых» понятий, а обозначают категоризационный процесс или семейство таких процессов, слова прикрепляются к процессам, посредством которых данный вид познает окружение. «Несущие значения элементы языка обозначают не конкретные объекты (имена собственные представляют особый случай) и, строго говоря, даже не инвариантные классы объектов. Повидимому, они обозначают познавательные процессы, т. е. акты категоризации или формирования понятий» (стр. 365). Биологический фактор проявляется здесь в том, что процесс формирования понятий до известной степени регулируется биологическими детерминантами. Конкретнее говоря, на физиологические процессы, определяющие познавательные способности вида, накладываются определенные биологические ограничения.

Остальная часть главы отведена главным образом описанию опыта, о котором рассказывается в упомянутой выше монографии Э. Леннеберга и Робертса. Данные этого опыта дают возможность формулировать вывод, который разделяется ныне многими исследователями и который направлен против утверждений гипотезы Сепира — Уорфа. «Процессы познания, — пишет Э. Леннеберг, — в основном независимы от особенностей естественных языков». Более спорна вторая часть этого вывода: «До известной степени сознание фактически может развиваться даже и при отсутствии языка» (стр. 364). Помимо всего прочего, глухота (в главе приводятся данные о глухих детях), так же как и немота, о которых говорится в этой связи, не означает еще отсутствие языка, но лишь преобразования его в иные формы.

Относительно главной идеи настоящей главы можно было бы сказать многое, но самое существенное сводится к тому, что она имеет дело лишь с генезисом значения, в то время как для целей монографии гораздо важнее функциональный подход, сосредотачивающий внимание на условиях пользования значением. Динамизм значения при функциональном подходе будет тогда истолковываться как незатухающие силы, обуславливающие становление все новых и новых значений. При исключительно же генетическом подходе остается неясным, как вообще может «работать» язык, не имеющий ничего постоянного. В цели рассуждения Э. Леннеберга это гипотетическое «звено», очевидно, следует признать самым слабым. Кстати говоря, в этом генетическом подходе опускается вопрос о стимулах процесса наименования.

С самого начала ясно, что при его рассмотрении никак нельзя замыкаться биологическими рамками, так как они никак не объясняют того многообразия направлений наименований, с которыми мы сталкиваемся в конкретных языках.

Собрав воедино частные гипотезы отдельных предшествующих глав, Э. Леннеберг в заключительной девятой главе — «К биологической теории развития языка» — транспонирует по ним свою фундаментальную общую гипотезу. Для ее изложения можно воспользоваться кратким резюме, любезно составленным самим автором.

Сначала он перечисляет пять общих, эмпирически верифицируемых биологических предпосылок своей теории (стр. 371—374). Коротко говоря, они сводятся к следующему: 1) познавательная функция специфична для каждого вида; 2) специфические особенности познавательной функции повторяются у каждого члена данного вида; 3) познавательные процессы и способности постоянно дифференцируются с возрастом; 4) при рождении человек относительно несовершенен, определенные аспекты его поведения и познавательная функция возникают позднее в детском возрасте; 5) определенные социальные феномены среди животных возникают посредством спонтанной адаптации поведения растущего индивида к поведению других индивидов вокруг него.

А вот и сама теория. Язык есть манифестация специфичных видовых познавательных предрасположений, которые обуславливаются биологически. Хотя между языком и познавательной функцией существует отношение зависимости, вторая образует более важный и первичный процесс. Познавательная функция, лежащая в основе языка, заключается в адаптации вездесущего процесса категоризации и установления тождеств. Слова выступают как ярлыки процессов категоризации. Известные специализации периферичной анатомии и физиологии обуславливают некоторые универсальные признаки естественных языков, но описание этих человеческих особенностей не объясняет филогенетического развития языка. В течение эволюционной истории видовой формы функция и поведение взаимоприспосабливаются, но не один из этих аспектов нельзя толковать как «причину» другого. Биологические особенности человеческой формы познания устанавливают строгие границы возможного варьирования естественных языков. Формы и виды категоризации являются мощными факторами, определяющими конкретный тип формы языка. Впрочем, в пределах этих границ возможно бесконечное количество вариаций. Таким образом, внешняя форма языков может варьироваться с относительно большой свободой, в то время как лежа-

щий в основе тип остается постоянным.

Познавательные процессы создают потенции для языка. Хотя известные внешние условия (environment) способствуют возникновению языка, именно возрастная зрелость (maturity) приводит познавательные процессы в состояние, которое можно назвать готовностью к языку. Готовность к языку есть состояние латентной языковой структуры: развертывание языка есть процесс актуализации, в котором латентная структура трансформируется в реализованную структуру. Однако не следует рассматривать биологические возрастные изменения как прямую причину развития языка. Возрастную зрелость надо представлять как пересечение в высшей степени неустойчивых состояний, когда нарушение равновесия одного состояния приводит к общей перестановке, которая приводит к нарушению равновесия других состояний, и так далее, пока не достигается относительная стабильность. Готовность к языку есть пример такого состояния нарушенного равновесия, во время которого разумеется создается некое место, которое будет заполнено строительным блоком языка. Состояние готовности к языку лимитируется возрастными пределами и начинается около двух лет и заканчивается около 10—13 лет, когда познавательные процессы получают четкую структуру и способность к первичному языковому синтезу теряется.

Одним из краеугольных камней теории является понятие редупликативности (replication). Именно она обуславливает единство языкового потенциала и латентной структуры, или, иными словами, наличие универсальной грамматики, общей для всех людей. Редупликативность обеспечивает качество универсальности и делает возможным трансформацию латентной структуры в реализованную. Затем вводится понятие внутренней формы, которая, по видимому, тождественна латентной структуре. Так как она всегда идентична, каждый ребенок с одинаковой легкостью может освоить язык. Реализованная структура, или внешняя форма языка, окружающая подрастающего ребенка, служит моделью для реализации структуры у ребенка. Социальная среда в этом случае играет роль внешнего толчка, приводящего в действие процесс трансформации структур. Таким образом, сохранение и распространение языкового поведения у вида несомненно связано с культурной традицией, которая передается от поколения к поколению. Индивид выступает не как простое орудие или канал для передачи информации, он — автономная единица, имеющая такую же конституцию, как и другие единицы вокруг него, и такие же нормы поведения, как и эти последние. Его поведение активизируется социальными контактами, но функционировать

он может лишь при условии синтезирования для себя языкового механизма. А эта последняя способность относится уже к естественной истории его развития. Впрочем эта естественная история допускает варьирование. Фактически здесь существуют два уровня, релевантных для языка: один относится к формации латентной структуры, а другой — к процессу актуализации, трансформирующему латентную структуру в реализованную. Первый связан с вариациями в операциях познавательных процессов или в возрастных изменениях; второй связан с вариациями в периферической функции и в таких структурах, как речевой тракт или ухо. Вариации этих двух уровней объясняют главные факты языкового постоянства, языкового изменения и лингвистических универсалей.

Такова в кратких чертах теория Э. Леннеберга. От всякой теории ныне требуют «объяснительной силы». Касаясь этого вопроса, автор характеризует свою теорию языкового развития как интерпретирующий комментарий доступных наблюдению фактов. Выше уже приводились частные замечания по поводу выводов отдельных глав, по которым экстраполируется теория (или гипотеза?); остается сказать несколько слов о книге в целом.

Монография Э. Леннеберга обобщает и «интерпретирует» огромный материал — в этом ее достоинство и недостаток. Достоинства очевидны, а недостатки обуславливаются тем обстоятельством, что, формулируя свою теорию в чрезвычайно широком контексте, автор все же, конечно, не мог привлечь всех возможных материалов и неизбежно должен был пойти на какой-то отбор. Всякий же отбор связан с субъективизмом, опускающим иногда весьма существенные данные, что, как указывалось выше, действительно в ряде случаев имеет место.

Принципиальное значение в науке о языке имеет разграничение между языком и речью, каким бы различным образом они не определялись. Пожалуй, наибольший методический просчет монографии Э. Леннеберга заключается как раз в том, что он не проводит такого разграничения. Язык и речь довольно свободно чередуются у него друг с другом и свободно замещают друг друга. В неявной форме это разграничение, конечно, присутствует: оно просто не может не присутствовать. Однако выводы, сделанные применительно к языку (например, в главе о взаимоотношении языка и познания), переносятся на речь, и наоборот (например, на стр. 127—142 в разделе о возникновении языка и речи фактически имеется в виду только речь). К этому следует добавить и употребление таких выражений, как «языковое поведение», «механизм языка», «речеобразование», «языковая способность», «готовность к языку», «речевая деятельность» и пр., ко-

торые еще более запутывают изложение.

Теория Э. Леннеберга покоится на «интерпретации доступных наблюдению фактов», а эта интерпретация может быть той или другой, укладываясь при этом в рамки правдоподобности. Поэтому можно предположить и иные зависимости между биологическими предпосылками и действительностью общения посредством языка, — что в сущности и составляет главное содержание монографии, — чем те, которые в ней даются. По Леннебергу, занятому построением биологической концепции языка, в конечном счете именно биологические предпосылки, имеющие у человека уникальный характер, являются определяющими в данной зависимости, хотя и не прямо, а через посредство познавательной функции. Они (совместно с познавательной функцией) создают латентную структуру, которой не остается другого выбора, как под влиянием социальных стимулов актуализироваться в реализованную структуру, в результате чего только и происходит становление языка. Не будет социального стимула — не будет и языка. Уже и по изложенным соображениям следует по меньшей мере признать двойную зависимость языка и равно ответственный статус как биологических, так и социальных факторов. Но этого мало. Хотя рассмотрение проблемы в монографии Э. Леннеберга осуществляется по преимуществу в онтогенетическом аспекте, не может не возникнуть вопроса о том, каким образом и под влиянием каких факторов возникла у человека уникальная способность к языку, и в этом случае вполне возможно говорить о направляющем влиянии на развитие этой способности социальной среды (environment). Кстати говоря, и тезис о редупликативности, который сам Э. Леннеберг рекомендует как краеугольный в своей теории, легко переложить на социальную партитуру, и в истории языкознания можно найти немало примеров именно социального истолкования этой категории.

По всей видимости Э. Леннеберг безоговорочно принимает теорию порождающих грамматик Н. Хомского, хотя, как уже указывалось, логически это не очень оправдано. Во всяком случае, напрашивается сам по себе параллелизм ряда исходных принципов и категорий обеих теорий. Так, Н. Хомский, проводя разграничение между «знанием» языка и «деятельностью» языка, говорит о взаимопризнании этих категорий. Э. Леннеберг в качестве методической предпо-

сылки использует положение, в соответствии с которым поведение следует рассматривать как неотъемлемую часть органического целого, причем одно есть выражение другого. Н. Хомский выделяет в языке «глубинную структуру» (deep structure) и «поверхностную структуру» (surface structure), называя иногда первую внутренней формой языка, а вторую внешней формой. Э. Леннеберг говорит о латентной структуре и о реализованной структуре, которые также соответственно именуется внутренней и внешней формой. Оба автора с одинаковым рвением занимаются и поисками лингвистических универсалий. Во всем этом, разумеется, нет ничего дурного, если не очень слепо следовать за принятыми образцами и руководствоваться все же своими целями, а не целями этих образцов. Ведь хотя и у Н. Хомского и у Э. Леннеберга один и тот же предмет изучения — язык, говорят они все же о разных вещах. У Н. Хомского все его категории — заведомо языковые, а у Э. Леннеберга все находится на доязыковом уровне и только с реализованной структурой мы вступаем в область языка как такового. Нет надобности говорить много о том, к каким последствиям приводит пользование одним и тем же лексиконом, когда говорящие на нем наполняют его разным содержанием.

Заключая рассмотрение монографии Э. Леннеберга, вполне можно согласиться с ним, что она — шаг в сторону построения биологической теории языка. Сделав с автором этот шаг, нельзя не задать вопросом, стоит ли делать и следующие шаги в этом направлении? Безусловно, стоит. Не обязательно, конечно, при этом идти в ногу с Э. Леннебергом. Важно уделять больше внимания не столько интерпретации известных фактов, сколько поискам новых. Язык — чрезвычайно многостороннее явление, и исследователи его только выигрывают от того, что наряду с другими подходами будет использован и тот, который предлагается в данной книге.

Без всякого сомнения, монография Э. Леннеберга привлечет внимание представителей разных наук, и следует полагать, что каждый из них не только найдет что прибавить от себя, но и сочтет необходимым вновь подумать над уже усвоенными представлениями. Нужно отметить под конец, что построение и изложение книги очень ясно и легко обозримо.

В. А. Звегинцев

S. Marcus. Poetica matematică. — București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970. 400 стр.

С. Маркус хорошо известен своими исследованиями по математической лингвистике¹, новая его книга, посвященная применению математических методов в поэтике, представляет тем больший интерес, что сейчас литература в области математической поэтики (если отвлечься от единичных тематических сборников²) носит характер отдельных разрозненных публикаций, разбросанных по самым разнообразным журналам и сборникам. Хотя число таких работ достаточно велико (дополнительная библиография в конце книги насчитывает 883 названия, к этому следует добавить около 400 названий, цитируемых в отдельных главах), речь в них, как правило, идет об отдельных статистических исследованиях или работах, связанных с использованием электронно-вычислительных машин для анализа литературных текстов. В рецензируемой книге впервые предпринимается попытка выяснить общие логические основы математического подхода к поэтике и, проанализировав с этой точки зрения некоторые основные противопоставления, построить формальные аналоги (модели) основных понятий в этой области. Поэтому автор не ограничивается статистическими методами (им посвящена специальная глава — VI), а сосредоточивает свое внимание на теоретико-множественных, алгебраических и топологических представлениях.

Книга распадается на две равные части: первые семь глав объединены рассматриваемыми в них проблемами поэтического языка, а последняя, глава VIII резко отделяется от них — она посвящена математическим моделям в области драматургической поэтики. Остановившись в своей рецензии в первую очередь на тех вопросах, которые могут быть

интересны для широкого круга лингвистов, мы ограничим свое рассмотрение первыми семью главами: глава VIII нуждается в специальном разборе, выходящем за пределы лингвистики.

VI, вводной главе рассматриваются возможности математического подхода к поэтике и разбираются те возражения, которые обычно выдвигаются против такого подхода. С. Маркус указывает, что математический подход к поэтике имеет достаточно богатую традицию, и останавливается на трудах некоторых своих предшественников, в первую очередь — Дж. Биркгофа³, а также М. Гика (Ghyka) и П. Сервьена.

II глава посвящена «до-математическому» анализу понятия «поэтический язык». В таком предварительном прояснении подлежащих формализации понятий, несомненно, сказался большой опыт С. Маркуса в области лингвистического моделирования: он хорошо понимает, что иначе моделирование может оказаться бесплодным. Автор начинает свой анализ с выяснения основных особенностей поэтического языка. Как правило, поэтический язык противопоставляется обиходной речи, и такое противопоставление вполне естественно и весьма плодотворно (ср. хотя бы традицию ОПОЯЗ'а в нашей науке). С. Маркус, однако, считает, что обиходная речь по ряду решающих признаков находится где-то посредине между научным языком, с одной стороны, и поэтическим, с другой. Поэтому, с его точки зрения, противопоставления становятся более четкими, если брать в качестве крайних полюсов именно научную и поэтическую речь (заметим, что такой подход делает книгу весьма интересной для широкого круга лингвистов, обогащая наши представления именно об обычном языке и его потенциальных возможностях).

Вот основные противопоставления, проводимые Маркусом:

¹ S. Marcus, *Lingvistica matematică*, ed. A II-a, București, 1966; его же, *Gramatici și automate finite*, București, 1964; его же, *Algebraic linguistics; Analytical models*, New York — London, 1967; его же, *Introduction mathématique à la linguistique structurale*, Paris, 1967 (последняя книга скоро выйдет в русском переводе).

² См.: «*Mathematik und Dichtung*», München, 1965; «*Poetyka i matematyka*», Warszawa, 1965.

³ О близости идей Биркгофа к идеям Андрея Белого см.: И. И. Ревзин, Белый, Биркгоф и вопрос об измерении художественного творчества, «III летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тезисы», Тарту, 1968.

Научный язык

1. Рациональность
2. установка на логику (или логическая концентрированность — «densitate logică»)
3. бесконечная синонимия
4. отсутствие омонимии (закрытость)
5. искусственность (наличие искусственной системы символов)
6. общность
7. важность проблемы стиля
8. переводимость
- 8а. выразимость
9. пространственно-временная фиксированность
10. счетное число значений
11. денотативность
12. прозрачность смысла
13. транзитивность (ориентированность на других лиц)
14. независимость от выражения
- 14а. независимость от музыкальной структуры
15. важность парадигматики
16. краткость контекста
17. важность оппозиции «истинное — ложное»
18. грамматическая правильность
19. установка на образец
- 19а. стереотипы, имеющие общую значимость
20. предсказуемость

Разумеется, каждый из этих признаков в отдельности может быть оспорен (ср. в частности, обоснованные возражения против отождествления эмоционального и поэтического языка, выдвинутые Р. Якобсоном в 1921 г.; ср. также возможность разграничения классицизма и романтизма внутри поэтического языка по ряду выдвинутых здесь критериев), однако, несомненно, что общие конфигурации выбраны удачно, и в своей совокупности признаки эти достаточно хорошо определяют оба возможных полюса (например, крайнее проявление свойств научного языка в определенном типе математических сочинений, с одной стороны, и экспериментальную поэзию, например, «обериутов», с другой стороны). Поскольку, однако, признаки эти разноплановы, то для дальнейшей формализации необходимо выбрать ту или иную группу их, которую можно принять за ядерную.

Следует признать удачным выбор в качестве основных признаков 3, 4, 10, 11, ибо многие другие непосредственно или косвенно зависят от них (так признак 7 — отсутствие проблемы стиля, т. е. синонимического выбора в поэтическом языке, — прямо связан с признаком 3; между прочим, здесь сразу же проявляется различие самой проблемы стиля применительно к поэтическому языку и другим типам языка).

Поскольку поэтический язык изучается в сопоставлении с научным языком,

Поэтический язык

- аффективность (эмоциональность)
установка на суггестивность (или суггестивная концентрированность)
- отсутствие синонимии
бесконечная омонимия (открытость)
естественность
- единичность (обращенность к индивидуальной личности)
отсутствие проблемы стиля
непереводимость
невывразимость
пространственно-временная подвижность
- континуум значений
коннотативность
расплывчатость смысла
рефлексивность (ориентированность на себя)
зависимость от выражения
зависимость от музыкальной структуры
- важность синтагматики
длина контекста
отсутствие оппозиции «истинное — ложное»
отсутствие установки на грамматическую правильность
творческий характер
стереотипы, имеющие индивидуальную значимость
непредсказуемость

то в главе III дается детальный лингвистический анализ наиболее характерного представителя этого языка, а именно языка математических сочинений. Этот анализ чрезвычайно важен, ибо если логическому анализу языка математики уделяется в последнее время огромное внимание⁴, то чисто лингвистический анализ этого языка отсутствует, если не считать нескольких статей, написанных в связи с машинным переводом. С. Маркус разбирает грамматическую структуру румынского математического языка (в частности, отмечая, какие глагольные формы могут употребляться в этом языке), проводит лексическую классификацию терминов этого языка и рассматривает его вероятностную структуру. С точки зрения общесемантической особенно интересно сопоставление метафор математического и поэтического языка. Как показано в книге, переносное употребление терминов вовсе не чуждо математическому языку, однако, в отличие от поэтической метафоры

⁴ Причем не только в книгах, посвященных основаниям математики (см., например: А. А. Френкель, И. Бар-Хиллел, Основания теории множеств, М., 1966), но и в учебниках, предназначенных, в частности, для лингвистов, обучающихся математике (см.: Ю. А. Шиханович, Введение в современную математику, М., 1965).

с ее коннотативными свойствами, математическая метафора имеет сугубо денотативный характер. С. Маркус различает два типа метафор: внешние, т. е. взятые из языка другого типа (например, из обычного языка), и внутренние, взятые из того же самого типа языка, и показывает, что в математическом языке имеют метафоры как внешние (например, *идеал*, *кольцо*), так и внутренние (например, употребление термина *ряд* в алгебраической лингвистике, взятое из анализа), причем по критерию внешности математические метафоры сближаются с поэтическими, также взятыми из обычного языка.

После содержательного анализа особенностей математического языка автор приступает в главе IV к построению формальной модели, которая должна отразить в обобщенном, формализованном виде отличия поэтического языка от научного. Здесь понятие «язык» задается как четверка терминов $\langle V, L, S, \rho \rangle$, где V — словарь, L — множество отмеченных фраз, S — множество значений и ρ — отношение между элементами x из L и s из S . Через $\rho(x)$ обозначается множество значений фразы x .

Выше отмечалось, какие признаки берутся в качестве основных для разграничения понятий «поэтический язык» и «научный язык». Приведем теперь формальные определения этих понятий в книге Маркуса.

(1) Язык $\langle V, L, S, \rho \rangle$ называется *н а у ч н ы м*, если выполнены следующие два условия: а) для каждой фразы x множество $\rho(x)$ имеет ровно один элемент (т. е. отсутствует омоимия), б) для каждого значения s имеется бесконечное число фраз x таких, что $\rho(x) = s$ (т. е. число синонимов каждой фразы равно бесконечности).

(2) Язык $\langle V, L, S, \rho \rangle$ называется *п о э т и ч е с к и м*, если а) для каждой фразы x множество $\rho(x)$ состоит из бесконечного числа элементов (т. е. множество значений каждой фразы есть непрерывность, континуум) и б) для каждого значения s имеется одна и только одна фраза x такая, что $s = \rho(x)$.

Таким образом, оба понятия действительно противоположны. Для научного языка действительно характерно, что одну и ту же мысль можно выразить самыми разнообразными способами (наиболее характерны в этом отношении математические теоремы о необходимости и достаточности некоторого условия, где все рассуждение, иногда весьма длинное, сводится к установлению ряда тождеств). В то же время как математики⁵, так и

поэты (см., например, высказывания О. Мандельштама) не раз говорили о непрерывности как важнейшем признаке поэтической семантики. В этой же связи следует упомянуть замечательные идеи Ю. Н. Тынянова о динамичном значении слова в поэзии⁶.

Несколько спорным, однако, представляется дальнейшее развитие идеи о непрерывности в концепции С. Маркуса. Он связывает эту непрерывность с тем, что поэтическая семантика является различной для разных адресатов и в разные моменты времени t (континуум значений оказывается связанным с временным континуумом), а именно каждое значение предстает как функция от тройки объектов $\langle x, t, n \rangle$, где x — фраза, t — момент времени, а n — порядковый номер определенного индивида.

Подобная субъективизация не является абсолютно необходимой. Бесконечность (а, может быть, и несчетность) множества значений можно объяснить, исходя из самой внутренней структуры поэтического высказывания⁷. В самом деле, С. Маркус сам обращает внимание на значение факта организованности (особого построения, как говорили русские формалисты) поэтической речи. Эта организованность на всех уровнях (фонемном, просодическом, морфемном, лексическом, синтаксическом, гиперсинтаксическом) приводит к тому, что текст, описывающий смысл поэтического произведения, должен многократно упоминать одни и те же элементы, описывая их смысловые связи и отношения, причем такой текст незамкнут. Организованность поэтического высказывания приводит к тому, что каждое слово может приобретать в нем самостоятельность (ср. очень тонкие замечания Маркуса в V главе о нарушении проективности как о принципе, ведущем к большей самостоятельности слова в поэтическом языке⁸) и одновременно выступать в связи с другими словами, определяющими его смысл⁹. Такие смысловые связи уста-

Линейность речи и ее преодоление, «III летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тезисы».

⁶ Ю. Тынянов, Проблема стихотворного языка, Л., 1924.

⁷ Кратко изложенные здесь соображения развиваются в нашей монографии «Современная структурная лингвистика. Методы и проблемы» (в печати).

⁸ Заметим, что самодовлеющий характер слова в поэзии достаточно подчеркивался как поэтами, так и учеными (например, в поэзии Маяковского — Р. Якобсоном, Г. О. Винокуром, Б. Н. Томашевским).

⁹ Любопытно, что Ю. М. Лотман (см. его статью «Лингвистическое и литературоведческое понятие структуры», ВЯ, 1963, 3, стр. 49—50) подчеркивал имен-

⁵ См. отчет о выступлении А. Н. Колмогорова на IV Всесоюзном математическом съезде в сб.: «Структурно-типологические исследования», М., 1962, стр. 296; Ю. И. Левин,

навливаются как в соответствии с синтаксическими отношениями слов (таково положение в обычном языке), так и вопреки им, сама конструкция приводит к усилению одних связей и подавлению других. В идеале каждая сема (одна из семантических признаков слова) свободно комбинируется здесь с семой других слов.

Формально эту ситуацию можно выразить следующим образом: пусть элементом (скажем, словом) некоторого поэтического высказывания поставлено в соответствие k сем. В силу сказанного эти семы могут комбинироваться в принципе всеми возможными способами. Как известно, число таких сочетаний равно 2^k , а значит таково и число значений данной фразы. Заметим теперь, что семы, приписываемые словам, могут быть разной степени дробности.

Если обратиться, например, к древу признаков, рассматриваемому Маркусом в гл. V в связи с проблемой тропов (стр. 160 Fig. V. 4)¹⁰, то будет ясно, что каждый уровень содержит в себе и семы предыдущего уровня (так, что для любого i мы в сущности на i -ом уровне имеем не одну, а i сем) и что степень дробности такой классификации неограничена. Пусть теперь в предельном случае k стремится к бесконечности. Тогда число сочетаний из k (равное 2^k , когда k конечно) будет иметь мощность континуума.

Справедливости ради следует отметить, что вышесказанное может рассматриваться как развитие следующих предложений Маркуса: «Близость по времени не имплицитует близости значений с точки зрения их природы... Поэтому следует искать иной топологии для описания множества $\rho(x)$... Одна из возможностей решения проблемы состоит в использовании некоторой системы раз-

но несамостоятельности смысла слова в поэзии. Существенно, однако, взаимодействие обеих названных особенностей, ибо абсолютизация одной из них, например, самодостаточности слова в концепции теоретиков польского футуризма приводит к односторонности и на практике преодолевается последующими школами (см.: J. Sławiński, *Konsercya języka poetyckiego awangardy krakowskiej*, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965, стр. 36—43).

¹⁰ Противопоставляются «абстрактность» — «конкретность» (1-й уровень), далее «конкретность» делится на «естественность» — «сверхъестественность» (2-й уровень), «естественность» на «одушевленность» — «неодушевленность» (3-й уровень), «неодушевленность» на «подвижность» — «неподвижность» (4-й уровень) и «неподвижность» на «минеральность» — «растительность» (5-й уровень).

личительных признаков, с помощью которой можно было бы охарактеризовать любое значение через его координаты в отношении к указанной системе.... Следует, однако, напомнить, что множество поэтических значений нечетно и поэтому множество соответствующих семантических категорий должно быть бесконечным» (стр. 138—139). Впрочем Маркус вряд ли может нести ответственность за то, как далее используется идея признаков.

Топологическая структура, о которой говорит Маркус, вводится им следующим образом. Обозначим через Σ^* множество всех поэтических значений, воспринимаемых всеми людьми во все моменты времени (мы уже говорили, что в модели Маркуса все они различны). Множество Σ^* можно представить как объединение множеств $\Sigma(n)$, каждое из которых есть множество всех значений, воспринимаемых индивидуумом n . Далее определяется семейство F подмножеств E , входящих в Σ^* : E входит в F , если существует натуральное число N — такое, что для каждого $n > N$ множество $\Sigma(n) - E$ не более чем счетно. «Смысл семейства F в следующем. Множество E значений входит в F в случае, когда, за исключением конечного числа лиц, E содержит „почти все“ значения, воспринимаемые некоторым лицом» (стр. 134). Далее выясняются топологические свойства таким образом определенного множества значений. Эти свойства (например, условия связности соответствующего топологического пространства) представляют значительный интерес, ибо если любые два высказывания различны, то чрезвычайно важно выяснение условий их близости (наличия общей области, «окрестности» у двух близких высказываний)¹¹.

Однако свойство непрерывности, нечетности в поэтической семантике естественнее связывать не столько с особенностями восприятия поэтического произведения¹², сколько с внутренним принципом его организации. Вернее,

¹¹ На важность топологических моделей для лингвистики неоднократно указывал Ю. А. Шрейдер, см., например: Ю. А. Шрейдер, *Окрестностные грамматики*, НТИ, серия 2, 1967, 10.

¹² Разумеется, в структурной поэтике (как в лингвистике) должна учитываться и точка зрения адресата, на чем неоднократно настаивает Маркус. Однако только особенностями восприятия обойтись невозможно. Маркус счел необходимым привести (стр. 35) устное замечание, сделанное ему французским математиком Бензекри и состоящее в том, что и математическое высказывание может вызвать у разных (компетентных) слушателей самые различные ассоциации.

предпосылки восприятия его значения как континуума целесообразно искать уже на уровне его структуры, а восприятие дает лишь конечный эффект.

В предположенном нами аналоге для внутренней структуры семантики характерна не непрерывность, а непоставимость роста возможных значений высказывания по сравнению с увеличением числа сем. Если для научного языка характерна «аддитивность» смысла, т. е. смысл целого складывается из смысла частей, то в поэтическом языке (отчасти уже и в общем языке) смысл целого — никак не сумма отдельных смыслов, а множество, слагающееся в пределе из 2^k комбинаций различных смыслов. Восприятие адресата вторгается лишь в той части модели, где рассматривается степень дробности классификации, ибо она действительно зависит от воспринимающего (и даже от времени, которое затрачивается на восприятие).

После этих замечаний вернемся к дереву дифференциальных признаков. Будем считать, что все уровни ветвления перенумерованы (как указано на схеме в рецензируемой книге, причем число уровней незамкнуто: $0, 1, \dots, k, \dots$).

Обозначим через $\Sigma(k, x)$ число значений фразы x при условии, что семы берутся с точностью до k -го уровня ветвления, и положим $\Sigma(k) = \bigcup_{x \in L} \Sigma(k, x)$, т. е. возьмем сумму всех значений k -го уровня для всех фраз. Теперь заменим в определении Маркуса $\Sigma(n)$ через $\Sigma(k)$ и сохраним всю конструкцию. Тогда топологическое пространство, индуцируемое множеством значений, окажется связанным с некоторыми общими особенностями внутренней структуры поэтического высказывания (Σ содержит «почти все» значения, которые можно выразить, исходя из данной в древе классификации, за исключением конечного числа точек ветвления). Весь формальный аппарат Маркуса при этом может быть целиком использован. Возможны, разумеется, и более решительные отступления от схемы Маркуса. Однако за румынским ученым остается заслуга первой попытки представления проблем поэтики в столь общем виде.

Если IV глава рассматривает проблемы поэтики в предельном удалении от конкретных поэтических произведений, то в V главе, посвященной анализу тропов, С. Маркус возвращается к проблеме анализа отдельных поэтических высказываний. На многочисленных примерах из румынской поэзии он разбирает вопрос о возможности рассматривать метафорические выражения как «отклонения» (abatere) от обычного языка и дает разные классификации типов отклонений. Наиболее интересна как с общелингвистической, так и литературоведческой точки зрения, та часть главы, где разбираются формальные средства анализа

системы семантических категорий в парадигматическом плане и построенный на этой основе синтагматический анализ. Автор исходит из задания классификации категорий в виде графов типа дерева¹³. Две категории называются однородными по отношению к i -му уровню, если на этом уровне есть категория, которой обе они подчинены, в противном случае категории неоднородны. Пусть категория C_1 расположена на i -ом уровне, а категория C_2 — на j -ом уровне. Через $m(C_1, C_2)$ обозначается наибольшее натуральное число k — такое, что C_1 и C_2 однородны по отношению к уровню k . Вводится мера $e(C_1, C_2)$ неоднородности категорий C_1 и C_2 , а именно $e(C_1, C_2) = \min(i, j) - m(C_1, C_2)$.

Например, относительно графа, описанного в сноске 10, синтагма *oameni de cositor* «оловянные люди» из одного стихотворения румынского поэта Аргези имеет меру неоднородности, равную 1. Другая мера, вводимая Маркусом, называется парадигматическим расстоянием в синтагме xu и состоит в следующем. Пусть x поставлена в соответствие категория C_1 в данном графе, а y — категория C_2 . Тогда парадигматическим расстоянием между x и y называется (исчисляемая числом дуг) длина пути между C_1 и C_2 на графе. Так, в приведенном примере парадигматическое расстояние равно 2. Проводится анализ целого произведения (стихотворения Эмнэску «У меня есть одно единственное желание») и вычисляется среднее парадигматическое расстояние по всем синтагмам, где расстояние не равно 0. В проанализированном стихотворении оно оказалось достаточно высоким (равным 6). Вводятся разные другие меры, связанные с рассмотрением подграфов данного графа (в особенности таких деревьев, где каждому правому узлу подчинено не более двух категорий, и ни один левый узел не имеет подчиненных). С помощью этой модели, в частности, изучаются явления синтагматизма. Заключается глава рассмотрением синтаксических фигур. Здесь впервые в поэтике указывается на роль явлений непроекттивности.

В VI главе рассматриваются вопросы применения статистических методов в поэтике (статистика рифм, проблемы атрибуции и т. п.). Наряду с понятием энтропии, уже нашедшем широкое применение в поэтике (ср. хотя бы работы А. Н. Колмогорова), С. Маркус предлагает использовать в известном смысле

¹³ Поскольку древовидные классификации используются и в других областях лингвистики, например, в фонологии (см.: И. И. Ревзин, Некоторые замечания в связи с дихотомической теорией в фонологии, ВЯ, 1970, 3), то модель может иметь и другие лингвистические применения.

сле противоположное понятие информационной энергии, определяемое по формуле

$$e(A) = \sum_{i=1}^n p_i^2. \text{ Эта мера, гораздо}$$

более легкая для вычисления, чем мера энтропии (поскольку не нужно прибегать к логарифмам), как показывает С. Маркус на основе анализа трех стихотворений Эминеску, вполне показательна для произведений разного типа (например, любовной и философской лирики) и поэтому может найти применение в поэтике.

Глава VII посвящена применению математических методов при сравнении текстов, в частности в текстологии и в теории перевода. Вводятся пять параметров: 1) порядок элементов, 2) просодическая структура, 3) синтаксическая структура, 4) лексика, 5) семантика (синонимичность или не-синонимичность). Для сравниваемых двух текстов строится матрица, строки которой соответствуют номерам отдельных стихотворных строк, а столбцы — указанным пяти параметрам. Каждая клетка заполняется 0 или 1 в соответствии с тем, совпадают ли данные строки по данному критерию. Далее с этими матрицами можно производить уже чисто формальные операции, например, устанавливать расстояние между ними, используя известную функцию расстояния в пространстве сообщений¹⁴.

В частности, устанавливаются отношения между четырьмя главными вариантами стихотворения Эминеску «У меня одно единственное желание». Аналогичная мера используется и для установления степени отклонения перевода от оригинала (на примере четырех переводов на румынский язык стихотворения Бодлера «*A une passante*») с той лишь разницей, что для перевода соответствие устанавливается относительно некоторой заданной классификации семантических категорий. Такая мера представляется рецензенту вполне естественной¹⁵ и весьма перспективной с точки зрения перевода, хотя она и не решает проблему адекватности (для формализации последнего понятия, по-видимому, может оказаться плодотворным понятие топологической близости). Во втором разделе

VII главы исследуются вопросы связности текста с точки зрения употребляемых в нем категорий (например, категории грамматического времени). Разрабатывается аппарат для отражения понятия связности, и этот аппарат применяется для анализа стихотворения Ж. Превра «*Familiale*». Наконец, в третьем разделе этой главы показано, как с помощью теории графов могут исследоваться в текстологии отношения между вариантами одного текста.

Общая позиция автора во всей книге сводится к следующему. Человеческий язык характеризуется сложной природой, и в идеале можно выделить два полярных типа, между которыми расположены все промежуточные его проявления (в том числе и обычный язык), а именно научный (в пределе: математический) язык, с одной стороны, и поэтический язык, с другой. Каждый из них отражает некоторую область человеческой деятельности. Однако возможно не только использование научного (математического) языка для описания научных феноменов (например, математические сочинения) или поэтического языка для описания поэтических феноменов (такова, по мнению автора, область литературной критики), но использование поэтического языка для описания научных феноменов (таковы часто приводимые в книге стихи румынского поэта и математика Иона Барбы, посвященные сущности и целям математики), а также применение научного (математического) языка для описания поэтических феноменов. Выполнению этой последней задачи и посвящена рецензируемая книга.

По мнению рецензента, автор вполне справился со своей задачей: возможность описанного подхода доказана в книге достаточно убедительно. Книга вооружает лингвистов, в том числе и тех, кто работает в областях, далеких от поэтики (например, семантика категорий, общие проблемы связного текста), новым аппаратом, и — что важнее — вызывает читателя на спор, заставляя его искать конкретных путей совершенствования аппарата поэтики. Книга отличается еще одним важным качеством: автор проявил несомненный эстетический вкус и поэтическое чутье, столь необходимые и, к сожалению, столь редкие в работах по структурной поэтике. По ходу изложения читатель найдет ряд тонких и скрупулезно выполненных разборов примеров и целых текстов Бодлера, Превра, румынских поэтов Эминеску, Аргези, Иона Барбы и других (и очень подробный разбор пьесы Караджале «Потерянное письмо» в VIII главе). Формализованный текст (именно он по понятным причинам нашел наибольшее отражение в рецензии) часто перемежается с полуформаль-

¹⁴ Ю. А. Шрейдер, Что такое расстояние?, М., 1963, стр. 33 и сл.

¹⁵ В своей монографии «Современная структурная лингвистика» рецензент ввел аналогичную меру. Там же указывается на то, что перевод, минимально отклоняющийся от подлинника в соответствии с этой мерой, уже по чисто формальным причинам не обязательно совпадает с адекватным.

ным изложением и даже со страницами, написанными в добром милом стиле филологических сочинений, и читать книгу не всегда так трудно, как может пока-

заться, если судить по рецензии, но всегда интересно.

И. И. Резвин

Л. Л. Иофик. Сложное предложение в новоанглийском языке. — Л., изд-во ЛГУ, 1968. 214 стр.

Исследование Л. Л. Иофик в равной степени направлено как на выяснение проблем сложного предложения в общетеоретическом плане, так и на описание тех козиретных форм, в которых сложное предложение выступает в новоанглийском языке раннего периода, сопоставляемом с современным английским.

Постановке общих вопросов сложного предложения посвящена первая часть книги. Здесь на большом и интересном материале показана история трактовки сложного предложения в английской грамматике, начиная от ее истоков, и кончая современными структуралистскими концепциями, а также взгляды русских и советских языковедов на способы связи предложений. Далее, в первой части дается общая характеристика сложного предложения как грамматической категории, ставится проблема вычисления предложений (в том числе сложных) из текста и проблема соотношения между синтаксическими структурами и пунктуацией.

Однако весьма значительное место занимают общетеоретические вопросы и во второй части, описывающей систему связи предикативных единиц в раннем новоанглийском. Здесь рассматриваются четыре вида связи между предикативными единицами (так называет Л. Л. Иофик синтаксические образования, соответствующие по основным чертам своей организации независимым предложениям): сочинение, относительное присоединение, подчинение, соотнесение. И именно здесь дается развернутый анализ этих явлений с общетеоретических позиций, устанавливается их место в общей системе синтаксических единиц английского языка (а по сути дела, и значительно шире — во всех языках, обладающих синтаксической структурой, близкой к структуре английского языка)¹.

Выдвигаемая при этом Л. Л. Иофик концепция сложного предложения во многом отличается от привычных точек зрения. Основная новизна в позиции автора, хотя и предваренная отдельными замечаниями ряда языковедов (особенно

Э. Сешира), состоит в отказе от рассмотрения ряда предложений, связанных сочиненной связью, как сложного (сложносочиненного) предложения. Этому дается развернутая аргументация на стр. 82—92. Автор показывает, что сочиненные, т. е. отделяемые в тексте запятыми или точкой с запятой, предложения в равной мере могли бы быть отделены друг от друга и точками, подтверждая это наличием в текстах принципиально сходных рядов предикативных единиц, по-разному оформленных пунктуационно. Автор ссылается также на данные исследований по английской интонации (Армстронг и Уорд, Шубигер, Каминская и др.), которые устанавливают, что неконечные предикативные единицы, входящие в ряд сочиненных предикативных единиц, могут произноситься и даже чаще произносятся с интонацией, характерной для любых конечных предикативных единиц, а именно с понижением тона. На основании этого, автор приходит к выводу, что «сочетание сочиненных предложений в пределах пунктуационного единства... со стороны грамматической, то же самое, что сочетание предложений, разделенных точками в связной речи» (стр. 91). Такие предикативные единицы «функционируют в тексте или связной речи как самостоятельные, хотя и контекстуально связанные предложения, независимо от того, какими знаками они разделены» (стр. 91). А возможность использования пунктуации для связи грамматически самостоятельных предложений объясняется автором тем, что пунктуация в европейских языках вообще развивалась на базе учения античной риторики о периоде, т. е. имело смысловую и стилистическую, а не грамматически-структурную основу. Поэтому ряд связанных сочинительной связью предложений является для автора единством пунктуационным или стилистическим, но не грамматическим. Грамматическим единством такой ряд становится лишь в том случае, если его члены обладают общими компонентами, соподчинены какому-либо другому синтаксическому предикативному единству и в аналогичных конструкциях, где сочинение переплетается с подчинением.

Но основное внимание в книге уделено подчинению предикативных единиц, т. е.

¹ Ср. также: Л. Л. Иофик, Об основах английской пунктуации в связи с проблемой сложносочиненного предложения, ВЯ, 1961, 4.

такому их отношению, которое на основе синтаксической зависимости одних предикативных единиц от других, приводит к созданию новых, более сложных синтаксических единств — сложноподчиненных предложений. Такие предложения рассматриваются и с точки зрения своей структуры, и с точки зрения соотношения модальных и временных планов составляющих эти предложения предикативных единиц. На основе анализа структуры полипредикативных единиц, при котором большую роль играет установление центра подчинения в господствующей предикативной единице, Л. Л. Иофик разработала систему моделей бипредикативных предложений (т. е. сложноподчиненных предложений с одним придаточным), а на этой основе и систему многочастных предложений, в которой, при учете возможного наличия подчиненных предложений высоких степеней и скращения подчинения с сочинением намечается несколько основных моделей, могущих распространяться — в принципе — неограниченно. Тексты раннего новоанглийского периода, в которых сложноподчиненное предложение достигает значительного развития, дают богатейший материал для разработки такой системы моделей многочастного полипредикативного предложения, но в книге показана также пригодность этой системы для анализа соответствующих структур современного английского языка.

При определении моделей полипредикативного предложения учитываются как разные грамматико-смысловые и сочетательные типы отношения между зависимыми предикативными единицами и (именными и глагольными) центрами подчинения, так и различие между обязательной и факультативной сочетаемостью зависимой предикативной единицы с центрами подчинения (стр. 133—135).

Автор вообще стремится объединить в своей трактовке сложноподчиненного предложения принцип эквивалентности (т. е. соответствия зависимой предикативной единицы какому-либо члену господствующей предикативной единицы) с принципом валентности (т. е. с характеристикой на основе связи зависимой предикативной единицы с подчиняющим словом) (стр. 139).

В качестве переходных образований рассматриваются так называемые подчинительно-присоединительные придаточные предложения, которые выступают в рецензируемой книге как проявление относительного присоединения (стр. 108—126).

От подлинных сложноподчиненных предложений образования такого типа отделяются отсутствием определенного центра подчинения в господствующей предикативной единице, вследствие чего зависимые предикативные единицы здесь не включаются в законченные грамматические конструкции, и тем самым,

как и сочиненные предикативные единицы, не образуют — с точки зрения автора — подлинного сложного предложения. С другой стороны, создающиеся на основе соотносительной связи образования с вставными (вводными) зависимыми предикативными единицами рассматриваются в рецензируемой книге как сложные предложения, поскольку сочетаются предикативные единицы являются здесь неодинаковыми по своей синтаксической автономности (стр. 199—205).

Вкратце изложенная здесь концепция Л. Л. Иофик подкупает своей цельностью и логической последовательностью, а также тем, что она действительно охватывает весь комплекс явлений, обычно причисляемых к категории сложного предложения или тесно граничащих с ней. Но с другой стороны, именно крайняя логическая последовательность приводит автора к некоторым выводам, которые представляются нам весьма спорными, так как несколько нивелируют сложную и противоречивую реальную картину языковой действительности. Это касается в первую очередь положения о том, что на основе сочинительной и относительно-присоединительной связи не может возникнуть подлинного сложного предложения. Изложенная нами выше аргументация Л. Л. Иофик в этом вопросе очень сильна. Но даже приводимые ею самому материалы свидетельствуют о том, что в некоторых случаях только последнее из ряда сочиненных предикативных единиц обладает нисходящим ударением, благодаря чему весь ряд организуется как определенное грамматическое единство. Далее, само употребление сочинительных союзов для связи предложений выходит за рамки контекстуальных средств связи как таковых, поскольку союзы по своей грамматической природе служат именно для связывания синтаксических единиц, их объединения в более крупные единства. Ведь и при образовании сложноподчиненных предложений роль союзов исключительно велика, хотя в рецензируемой книге как раз этот вопрос почти не затрагивается — очевидно, в связи с тем, что автор здесь не выдвигает своей особой точки зрения, как и в вопросе о классификации подчиненных предложений (стр. 139). Наконец, сама возможность постановки разных пунктуационных знаков между сочиненными предикативными единицами и наличие разных пунктуационных вариантов в этих образованиях у одних и тех же писателей, часто в одних и тех же произведениях свидетельствует о том, что возможны разные степени интонационно-грамматического объединения ряда сочиненных предложений. Выбор того или иного варианта обусловлен в каждом конкретном случае теми или иными стилисти-

ческими, тематическими, эмоциональными или еще какими-нибудь другими причинами. Но само наличие неких крайних вариантов (грамматического единства — грамматической разобщенности), между которыми делается выбор, представляется здесь бесспорным. Поэтому нам казалось бы более правильным все же признать существование в английском языке сложносочиненного предложения, которое, однако, легко может распастись на ряд самостоятельных, грамматически отграниченных друг от друга предложений. Или, подходя к этому явлению с другой стороны, ряд предложений, обладающих потенциальными данными для объединения в сложносочиненное предложение, может быть организован как таковое, хотя может быть организован и как ряд отдельных, самостоятельных предложений. Во всяком случае, мы имеем здесь дело с грамматической категорией, построенной как сложная система, с многочисленными переходными явлениями, вообще организованной по принципу поля, а не как четко отграниченное, поддающееся жестким определениям образование.

Спорной кажется также проводимая автором замена терминов «главное» и «подчиненное» предложение термином «предикативная единица». Правда, уже с давних пор указывалось на недопустимость обозначения одним термином как целого (сложное предложение), так и его частей (главное, подчиненное, сочи-

ненное предложение). Но эти части настолько тесно и полно связаны по своему строю (по своей принадлежности к логико-грамматическим типам предложения, по системе распространения своего состава и т. д.) с самостоятельным предложением, что их разлучение — даже терминологическое — представляется неправомерным. С другой стороны, термин «предикативная единица» обладает тем дефектом, что он чрезмерно сближает соответствующие виды предложений с двучастными оборотами, которые также строятся на предикативном отношении между своими частями и которые как раз в английском языке широко представлены. Нам все же представляется, что различие части и целого может быть терминологически выражено с помощью определений к необходимому здесь общему термину «предложение»².

Но в целом книга Л. Л. Иофик принадлежит к числу наиболее содержательных синтаксических работ, опубликованных у нас за последние годы, и будет с интересом прочитана отнюдь не только англичанами, но и всеми, кто работает над проблемами сложного предложения.

В. Г. Адмони.

² См.: В. Г. Адмони, Исторический синтаксис немецкого языка, М., 1963, стр. 19.

Н. М. Штейнберг. Редупликация в современном французском языке.— Л., изд-во ЛГУ, 1969. 70 стр.

Внимание Н. М. Штейнберг привлекла все возрастающая категория редуплицированных слов, которая становится одним из продуктивных способов словообразования в современном французском языке. Собрано 164 примера. Они классифицированы на следующие пять типов: 1) чистая, или абсолютная, слоговая редупликация (*lolo* «молоко»); 2) абсолютная редупликация значимых элементов (*soin-soin* «аккуратно одетый»); 3) чистая, «сложненная» редупликация — второй слог отличается от первого наличием конечного согласного (*bibine* «кабачок, закусовая, плохое пиво»); 4) частичная редупликация — трех- или четырехсложные слова с повторяющимся последним слогом: *rififi* «драка»; 5) частичная редупликация — сложные слова с изменением во втором компоненте: *zig-zag* «зиг-заг» — первоначально название детской игрушки (два плоских кусочка дерева, скрепленные в виде ромба, но подвижно).

Исследуется не только структура редупликативных образований, но и их функционирование в языке как словопонятий, не имеющих других наименований, как морфо-стилистических вариантов слов литературного языка, как ласкательных или экспрессивных слов и т. д. Редупликативные слова употребляются преимущественно как существительные, реже как прилагательные или наречия.

Для исследования привлекаются разные жанры — литературный язык, народно-разговорный язык, фамильярный стиль, аргю. Не исследуется диалектная речь, хотя, как справедливо отмечает автор, в ней изучаемый тип слов имеет очень большое распространение. Ставится вопрос о звукоподражательном характере этих слов и об их мотивированности.

Аналогичная работа появляется впервые в истории французской лексиколо-

гив. А если учесть, что эта категория слов в индоевропейских языках вообще изучена весьма недостаточно, несмотря на то, что в ряде современных языков, как и во французском, наблюдается тенденция к ее расширению¹, то станет очевидным то значение, которое приобретает это тщательно проделанное исследование, интерес которого выходит за рамки изучения только французского языка.

Следует отметить, что некоторые примеры, обозначенные Н. М. Штейнберг как звукоподражательные, вряд ли можно считать чистой ономотопеей: *frou-frou* «шелест; шуршание», *glou-glou* «бульканье», бормотанье (индюка), *zèze-yeu* и его синонимы *zozoter* «сюсюкать; пепелявить» и др. *Bibi* означает в народно-разговорном языке «старомодная, смешная женская шляпка», а в воровском арго — «отмычка». Напомним, что в русском языке *би-би* в речи детей означает «машина» (*бибика* — большой автомобиль = «поезд»), в то время, как в ретороманском языке (швейцарский вариант) *bi-bil* относится к междометиям, выражающим кличи животных, и означает «цип-цип». Бесспорно, что в этих случаях речь не идет о собственно звукоподражательных словах, т. е. словах, представляющих собой примарно мотивированные знаки языка, звуковая форма которых подражает акустическим эффектам, производимым объектами номинации.

Существует довольно распространенное мнение о том, что следует различать собственно звукоподражательные слова и звукообразы или идеофоны². Эти кате-

гории особенно четко прослеживаются например, в африканских языках, но, по-видимому, они наблюдаются и в индоевропейских языках. Если в отношении африканских языков имеется большая литература об идеофонах, то в индоевропейских языках они не изучены вовсе, в связи с чем, как нам кажется, существование этой категории подвергается иногда сомнению. Представляется, что в индоевропейских языках, как и в африканских, при анализе звукоподражательных слов следует различать две категории. Материалы работы Н. М. Штейнберг дают немало примеров в пользу такого предположения. Так, многие примеры, собранные Н. М. Штейнберг, показывают, что ассоциация имеет место часто не в результате непосредственного влияния звуков, издаваемых объектами номинации. Она может быть в известной мере условной, символической, не обусловленной исторически. Таково придуманное слово *perlimpinpin*, в сочетании *poudre de perlimpinpin* «чудодейственный порошок; шаралатанское средство», или *nana* «лакомство», *gaga* «человек, впавший в детство» и др.

Как видно, в рецензируемой работе Н. М. Штейнберг поднимаются новые, очень интересные материалы для теоретических вопросов французской лексикологии, наряду с этим, эти материалы дают повод для размышлений над более общими вопросами о звукоподражательных словах и идеофонах.

М. А. Бородина

¹ См.: «Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака», Л., 1969.

² Согласно Б. В. Журковскому, идеофоны определяются как изобразитель-

ные слова с нулевой или аномальной морфологией, единообразно, но aberrационно оформленные фонологически [см.: Б. В. Журковск ий, Звуковая символика в идеофонах (на материале языка хауса и некоторых других африканских языков), сб. «Материалы...», стр. 54].

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Лексикологическо-лексикографическая конференция была проведена Институтом мировой литературы и языков Словацкой АН в сотрудничестве с Институтом языков и литератур Чехословацкой АН 4—7 мая 1970 г. в Доме научных работников в Смоленцах (Чехословакия). Помимо словацких и чешских лингвистов, в конференции участвовали зарубежные гости (Польша: Я. Сятковский, И. Пабис, И. Марыняк, Ц. Шкильндз, И. Дулевич; Советский Союз: В. Г. Гак, Г. А. Мартынова; Югославия: Н. Дьордьевич, Е. Качаник; Дания: Э. Нейхард; Франция: Ю. Червевянска; Швеция: О. Кляберг). В задачи конференции входило сопоставление результатов работы чехословацких и зарубежных лексикографов и установление более тесных рабочих контактов между лингвистами разных стран при исследовании основных проблем лексикографии и лексикологии, и прежде всего двуязычной лексикографии.

Всего в конференции участвовало 58 лингвистов из 17 учреждений. Конференцию открыл проф. И. Ружичка, директор Института языкознания Словацкой АН.

Программу конференции составляли четыре тематических цикла. По вопросу о системных отношениях в лексике было сделано два доклада: В. Бланара «Системные отношения в словарном составе и разработка словаря» и М. Ивачовой-Шалинговой «К вопросу о лингвистических теориях системы в лексике». Теоретическим вопросам лексикологии и лексикографии были посвящены доклады Л. В. Копецкого «Современная лексикологическая и лексикографическая проблематика с позиции новейших лингвистических направлений», Ш. Пецары «Слово как лексическая единица», В. Шванцера «О семантической детерминированности лексических единиц», Я. Горецкого «Соотношение между значением морфем и значением слова», К. Оливы «Значение и употребление лексических единиц», Й. Балона «К проблематике изменения значения слова с точки зре-

ния лексикологии и лексикографии», а также доклад Л. В. Малаховского «Выделение и классификация омонимов при помощи матричной модели».

Л. В. Копецкий в своем докладе указал на то, что новые лингвистические теории (трансформационная и генеративная грамматика, новый взгляд на семантику слова, учение о семантических элементах содержания слова и т. п.) позволяют по-новому разрабатывать словарные статьи и решать проблему грамматики в двуязычном словаре. Л. В. Копецкий обосновывал идею генеративного словаря, отмечая при этом, что двуязычный словарь должен воспроизводить смысловую структуру слова в исходном языке.

Ш. Пецар главным внимание уделил проблеме границы слова и грамматической формы (на примере отглагольного имени существительного, причастия, сравнительной степени, глагольного вида).

В. Шванцер рассматривал вопрос о семантической детерминированности лексических единиц и предложил проект модели смысловой структуры лексической единицы на базе индуктивного метода.

Я. Горецкий выразил пожелание, чтобы лексикографы ориентировались на изучение и сравнение смысловых структур сопоставляемых слов. Обычно изучается смысловая структура отдельных слов, но не структурные значения и такие элементы в них, которые могли бы быть конститутивными элементами смысловой структуры не только одного слова, но и целых групп слов.

К. Олива рассматривал различия между значением и употреблением слова в плане проблематики языка и речи. Его доклад примыкал по своей тематике к докладу В. Г. Гака «Проблема языка и речи в двуязычной лексикографии».

На конференции обсуждался также вопрос о двуязычном словаре как сопоставлении двух лексических систем. О сопоставлении семантического строя двух языков говорилось в докладах В. Г. Гака, И. Польдауфа «Проверка эквивалентности изучением текста»,

И. Пабис «Словообразовательная структура лексической системы в двуязычном словаре», В. Будовичовой «Сопоставительный анализ словарного состава словацкого и французского языков на стилистическом уровне», Й. Когоута «Часть речи как методическая база сравнительного лексического анализа», Э. Секаниновой «Значение лексической единицы в сопоставительном аспекте», Д. Коллара «Переводное значение, его сущность и проблемы», И. Филиппа «Синонимы и эквиваленты», М. О. Маликовой «Специфика плана выражения и плана содержания с точки зрения двух языков», Э. Кучеровой «Словосочетание в словарном составе и в словаре», Й. Коута «Сопоставительный подход к изучению фразеологии» и В. Червеной совместно с Э. Покорной «Фразеологические эквиваленты».

В. Г. Как отметил, что структура статьи в переводном словаре должна показывать как семантические равенства, эквивалентность слов на уровне языковой системы, так и эквивалентность лексических единиц в типичных речевых реализациях. Эквивалентность на уровне речи предполагает показ возможностей перевода данного слова в определенных речевых моделях, включая и такие случаи, когда происходит нарушение семантического равенства.

Должен ли двуязычный словарь воспроизводить смысловую структуру слова в исходном языке, как ее дают толковые словари, или же специфика двуязычного словаря предполагает иной подход? Обоснован ли принцип так называемого переводного значения? Об этом шла речь в докладах Э. Секаниновой, А. Коллара, М. О. Маликовой, которые, расходясь в частности, единодушно доказывали обоснованность выделения переводных значений.

Из практических вопросов лексикографии на конференции обсуждалась проблема отбора слов и средств семантизации в словарной статье. Это доклады Н. Дьордьевич «Проблема отбора слов в двуязычных словарях», Й. Махача и З. Соховой «К вопросу об универсальном стандарте в двуязычных словарях среднего типа», М. Филкусовой «Роль иностранных слов в современном русском языке и их обработка в словаре», В. Доротяковой «Семантизация в двуязычных словарях», Л. Круповой «Роль морфологии в структуре словаря», Я. Егличковой «Изучение глагольного управления и его место в лексикографической разработке глагола», З. Шромовой «Синтагматика как составная часть экземплификации» и К. Ганса «Семантическое рассеивание в так называемых больших статьях англо-чешского словаря».

В материалы конференции был включен также доклад В. П. Беркова «Об общих принципах отбора слов для большого двуязычного словаря».

На конференции обсуждалась концепция «Большого словацко-русского словаря», над которым начинается работа в Институте мировой литературы и языков САН. Участники конференции в целом положительно оценили предложенную концепцию.

Помимо докладов было заслушано также 74 выступления.

Лексикологическо-лексикографическая конференция в Смоленицах во многих отношениях явилась продолжением двух предшествующих конференций чехословацких лексикографов — братиславской 1952 г. и пештянской 1959 г. Это проявилось, в частности, в продолжении дискуссии между пражской и братиславской лексикографическими школами. На смоленицкой конференции обстоятельно обсуждалась проблематика, которая на предшествующих конференциях не была доминирующей, и прежде всего вопрос о сопоставлении семантической структуры языков.

Успешной работе конференции способствовало то, что она опиралась на опыт многолетней работы над словарями (двуязычными и одноязычными); это способствовало углублению лексикологической и лексикографической теории. Это проявилось, в частности, в разногласиях по вопросам терминологии, обусловленных прежде всего разнородностью подходов к лингвистической проблематике, разнообразием методов.

Конференция приняла ряд решений и наметила ближайшие задачи, стоящие перед чехословацкой лексикографией. В них входит намерение разработать систему понятий и терминологию лексикографии и лексикологии. Это очень трудная задача, поскольку речь идет не только о терминах, а собственно о всей системе понятий, которая у разных авторов может быть неодинаковой. В связи с этим конференция приняла решение обратиться к Комиссии по лексикологии и лексикографии, которая учреждена при Международном комитете славистов, с просьбой включить эту задачу в свою программу.

Важным результатом конференции является установление тесных контактов с зарубежными специалистами и учреждениями, работающими в области лексикологии и лексикографии.

Материалы конференции будут опубликованы.

Д. Коллар (Братислава)

Перевел со словацкого Л. Н. Смирнов

*

1—3 июня 1970 г. во Вроцлаве проходила IV Международная славистическая ономастическая

к о н ф е р е н ц и я (предыдущие конференции проводились в Лейпциге, Праге, Скоп-ле). Темой данной конференции было обсуждение вопросов, связанных с созданием славистических ономастических (топонимических и антропонимических) атласов. Конференция проходила под председательством С. Роспонда. Помимо польских специалистов, в ней принимали участие представители Чехословакии, Болгарии, ГДР, Австрии и Советского Союза.

Ономастические атласы могут быть национальными, создаваемыми и в рамках отдельных государств, и международными. К созданию общеславянского атласа как одного из типов международных атласов можно приступить на базе национальных атласов, созданных или создаваемых в ряде стран. В ходе дискуссии отмечалась возможность картографирования двух принципиально разных систем: лексических основ собственных имен (чешские слависты во главе с В. Шмиллауэром) и формантов (С. Роспонд и слависты из ГДР). Для одностипности подачи в общеславянском атласе имен различных территорий необходимо решить вопрос о транскрипции, чему был посвящен ряд выступлений и доклад О. К р о н ш т е й н е р а (Австрия). Представителям всех стран было предложено к следующей Международной славистической конференции подумать о проекте вопросника для сбора материала, с тем, чтобы картографировать явления одного и того же, а не разных планов. И. З а и м о в (София) сформулировал максимальные и минимальные требования, предъявляемые к ономастическим атласам. Р. К р а й ч о в и ч (Братислава) сделал сообщение о сопоставительных картах для топонимического атласа. А. В. С у п е р а н с к а я (Москва) сообщила о различных принципах сбора ономастического материала в зависимости от местных условий изучаемой территории.

Во главе работы над топонимическим атласом стоит В. Шмиллауэр (Прага); атлас антропонимов возглавляет В. Бланар (Братислава). Идеи В. Шмиллауэра, не присутствовавшего на конференции, изложил И. Луттерер (Прага).

На конференции были доложены некоторые результаты работы над национальными ономастическими атласами, показаны образцы карт. Многие работы имеют не только лингвистическое, но и историко-этнографическое значение.

Антропономией, в настоящее время активно занимается С. Роспонд (Вроцлав), начавший публикацию словаря фамилий жителей Польши по данным исторических документов. В своем докладе С. Роспонд говорил о выявлении антропонимических ареалов на основе формантов, отметив, что каждому региону свойствен один ведущий антропоформант. Доцент В о р о н ч а к (Вроцлав), уча-

ствующий в создании словаря польских антропонимов, доложил о предварительных результатах машинной обработки материала, позволяющей по любому населенному пункту получить сведения о составе имен и о степени популярности каждого имени. В. Б л а н а р (Братислава) работает над антропонимическими моделями, выявляя внутри каждой более мелкие словообразовательные типы. По его мнению, антропонимическая система — коррелированная серия моделей имен, употребляемых национальной общностью в определенный период. Кроме того, В. Бланар развивает идею об особых функциях антропонимов разных типов, отличающихся от функций идентификации личности. Эти функции следующие: 1. Выражение родства; ряд антропонимов позволяет различать родственников и неродственников; 2. Выражение социальной легализации, что проявляется в самом акте присвоения имен; 3. Обозначение социального положения. В ряде случаев по имени можно судить о принадлежности человека к определенному классу или касте; 4. Выражение характеристики — обычно в неофициальных ситуациях. Как отмечает автор, эти функции не стабильны. С течением времени одни развиваются за счет других.

Ряд топонимических докладов показал результаты углубленного изучения отдельных типов названий. О полабских топонимах, образованных из личных имен с суффиксом *-j*, сообщил Т. Витковский (Берлин), о полабских топонимах типа «плюрала антропонима» — Г. Ш л и м п е р т (Берлин). Заметим, что эти типы трудно дифференцировать. Специально «плюральному» типу в топонимии был посвящен также доклад Р. Ш р а м к а (Брно), гентивному типу (Pogęba Zegoty) — доклад М. К а р а с я (Краков). Р. Ф и ш е р (Берлин) сообщил о полабских двучленных названиях жителей типа *Kosobody*, С. К ё р н е р (Лейпциг) — о древнеужицких патронимических образованиях. Б. С и ц и н с к и й (Вроцлав) показал стратиграфию польских названий на *-ice*, Й. Шульцхайс (Лейпциг) — распространение славянских топонимов в Заале. Ряд докладов этого типа сопровождался показом диапозитивов с изображением распространения описываемых топонимических явлений в разные эпохи на изучаемой территории.

Х. В а л ь т е р (Лейпциг) по топонимическим данным пытается воссоздать картину процесса заселения территории в средние века. Г. Г у р н о в и ч (Гданьск) на основе анализа записей одних и тех же названий в различных документах показывает немецкие субстанции отдельных фонем (и в частности *o*) в топонимах Гданьского Поморья.

К. Д е й н а (Лодзь), синтезируя данные диалектологических и ономастиче-

ских исследований, ставит проблему этнической (племенной) принадлежности людей, создавших эти диалекты, а вместе с ними и географические названия. Э. Эйхлер (Лейпциг) считает, что на основе ономастического материала могут быть реконструированы праславянские диалекты, а вместе с тем и определена прародина славян.

Лексическим основам топонимов был посвящен доклад И. Луттера, обратившего внимание, в частности, на то, что есть основы, представленные в одних областях и отсутствующие в других и что это может свидетельствовать о времени возникновения и этнической принадлежности названий.

Г. Борек (Ополе), реконструируя апеллятивные основы, от которых в те или иные времена произошли топонимы, выделяет случаи, когда между апеллятивом и топонимом имеется антропоним: *Chróśćice* (топоним) — *Chróst* (антропоним) — *chróst* (апеллятив). Он выделяет также случаи, когда топоним образовался от названий жителей (этнических или по профессии) и через эту ступень подходит к апеллятиву. Многие топонимы он восстанавливает методом внутренней реконструкции на основе старинных записей. Пользуясь в своей работе «Руководством по топонимистике» В. Шмилауэра, Г. Борек выявил много топонимов, не отраженных в «Руководстве».

Конференция показала многообразие аспектов изучения топонимов и антропонимов в плавах синхронии и диахронии, структуры и стратиграфии, социологии и истории. В связи с этим более реальной представляется задача создания общеславянского атласа, ориентированного на минимальный, а не максимальный объем. Конфронтацию материала затрудняют хронологические и диалектные различия, различия социальной значимости отдельных явлений на разных территориях и в разные исторические периоды. Возможно, картографировать в общеславянском масштабе окажется целесообразным лишь несколько наиболее важных топонимов и топонимов, антропонимических суффиксов и моделей прозвищной антропонимии.

А. В. Суперанская (Москва)

*

16—18 июня 1970 г. в Вильнюсе состоялась II Всесоюзная конференция по актуальным проблемам балтийского языкознания, организованная кафедрой литовского языка Вильнюсского гос. ун-та им. В. Капсукаса. Конференция открыл министр Высшего и специаль-

ного среднего образования Литовской ССР Г. Забулис.

Вступительный доклад «Задачи и перспективы балтистики» сделал председатель Международной комиссии по изучению балтославянских отношений, директор Института литовского языка и литературы академик АН Литовской ССР проф. К. Корсакас. Докладчик дал широкий обзор развития балтийского языкознания за период после первой конференции.

Всего на конференции было прослушано 26 докладов (в 1964 г. — 11), из них три доклада были сделаны иностранными гостями.

Основные доклады касались проблемы генетических и контактных связей балтийских и славянских языков, а также этногенеза балтов.

В. Мажюлис (Вильнюс) сделал доклад на тему «К истории флексии балтийского глагола». Предварительными выводами докладчик последовательно обосновывает свою прежнюю концепцию об исключительной близости балтийских и славянских языков в области морфологии. Особое внимание В. Мажюлис уделяет прусскому языку, по его мнению, самому проблематичному балтийскому языку.

А. Н. Савченков (Ростов-на-Дону) в докладе «Генетические связи балтийских языков с другими индоевропейскими» пытался найти новые изоглоссы, общие для балтов и славян.

В докладе В. К. Журавлева и А. Г. Ахсентьевой (Донецк) делалась попытка доказать, что фонологическая история развития индоевропейских слоговых сонантов и дифтонгических сочетаний в балтийском и славянском была разной: балтийский обобщил дифтонгические сочетания, а в славянском рядом с первичными слоговыми сонантами развились вторичные. Эта мысль перекликается со статьей В. К. Журавлева «К проблеме балто-славянских языковых отношений»¹, насыщенной научным скептицизмом относительно существования балто-славянского праязыка.

В докладе В. Р. Шмолстига (университет штата Пенсильвания, США) фонологически устанавливаются этапы развития систем балтийского и славянского вокализма. В заключительном выводе докладчик полагает, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы доказать общий балто-славянский праязык или объяснить сходство этих языков параллельным развитием или долговременными контактами.

Три доклада были посвящены вопросам топонимики (все авторы, к сожалению, участвовать не смогли). В докладе (прочитаны только тезисы) В. Н. Топорова (Москва) «О балтийском элементе

¹ См.: «Baltistica», IV (2), 1968.

в Подмоскowie» выделяется слой балтийской гидронимии в бассейнах рек Москва, Клязьма, Ока и Верхняя Волга (около 300 названий). Балтийское происхождение этих гидронимов определяется по лексическому составу, словообразовательному инвентарю, по наличию русских калек и присутствию аналогичных названий в Литве, Латвии, Пруссии, в бассейне Верхнего Днепра, отчасти по историческим свидетельствам.

В. Д а м б е (Рига) в докладе «Соответствия в топонимии Латвийской ССР с древнепрусским языком» пытается выделить слой латышско-прусских топонимов. Автор тут же заявляет, что эти названия могут иметь связь «часто также с литовским и другими языками».

Д. З е м з а р е (Рига) в докладе «Куршские параллели» пыталась объяснить некоторые фонетические особенности местных названий в Курземе параллелями других балтийских языков.

На конференции было прочитано несколько интересных докладов по лексике, этимологии и семасиологии.

О. Н. Т р у б а ч е в (Москва) в докладе «Литовское *nasrai* „часть“: этимология и грамматика» по-новому объясняет словопроизводство, развитие вокализма и генезис флексии данной лексемы.

Доклад А. С а б а л я у с к а с а (Вильнюс) «Названия хлеба в балтийских языках», как и ряд прежних исследований автора, может быть полезным для установления балто-славянских лексических изоглосс.

В докладе Ю. В. О т к у п щ и к о в а (Ленинград) «О принципах отбора лексических изоглосс» разграничиваются надежные, вероятные и сомнительные изоглоссы в фонетическом, словообразовательном, семантическом и хронологическом отношениях. Классификация изоглосс сопровождается примерами конкретного критического анализа некоторых работ по индоевропейской лексикологии.

Большой интерес в отношении средневековых литовско-славянских языковых контактов представляет доклад А. П. Н е п о к у п н о г о (Киев) о литовских апеллятивах в украинских письменных памятниках XVI—XVIII вв.

Ю. Л а у ч ю т е (Ленинград) отмечает, что при выделении балтизмов в славянских языках с помощью словообразовательного критерия приходится учитывать незначительные нюансы, проявляющиеся в той или иной модели. Автор считает балтизмами такие слова, как *пакля*, *кувшин* и др.

Р. Э к к е р т (Лейпциг, ГДР) сделал доклад на тему «Славянские заимствования с основой на -i в истории литовского языка». По мнению автора, такие словообразовательные параллели,

как *dvarionas/dvarionis*, отражают балтийскую и славянскую модели.

Доклад Р. Б е р т у л и с а (Рига) касался истории семантики литов. *bėrnas*: латыш. *bērnas* и их производных.

Десять докладов было посвящено вопросам истории литовского и латышского языков.

В докладе З. З и н к я в и ч у с а (Вильнюс) «Относительно сужения первого компонента литовских тавтосиллабических сочетаний типа *ap*» этот фонетический процесс признается одним из древнейших диалектных изменений литовского языка.

И. К а з л а у с к а с (Вильнюс) в докладе «Возможности и границы установления относительной хронологии изменений в балтийских языках», опираясь на морфологические данные, обуславливающие фонетические изменения, пользуясь методом внутренней реконструкции, определяет относительную хронологию сокращения акутированных окончаний, возникновения *uo*, *ie* < *ei* (в ударном положении) и носовых гласных, исчезновения *j* после согласных и других процессов.

С. К а р а л ю н а с (Вильнюс) в докладе, названном «О некоторых диахронических порождающих моделях в балтийских языках», доказывает, что некоторые глаголы с основой на -*io* (типа литов. *guodžia*, *juokiasi*) являются деноминативами. Вывод подтверждается семантическими и ареальными данными.

А. Б р е й д а к (Рига) сделал доклад о некоторых вопросах истории консонантизма и развития фонологической системы согласных в латгальских говорах, а М. Р у д з и т е (Рига) анализировала редкие формы настоящего времени с суффиксом -*ņ* в некоторых верхелатышских говорах. В литовских говорах таких форм нет.

В докладе Р. Г р и с л е (Рига) «Семантическая значимость интонации латышского слога» приводилось около 250 лексических гетеротонных пар и 20 гетеротонных триад (в латышском языке существуют три интонации долгого слога).

А. Г и р д я н и с (Вильнюс) в своем докладе выдвинул гипотезу, что производные слова в литовском языке (и в балтийском) акцентуировались как основные. Современную акцентуационную модель суффиксальных имен литовского языка предопределили закон Соссюра—Фортунатова и аналогия.

В докладе В. А м б р а з а с а (Вильнюс) анализировалась синтаксическая система причастий литовского языка и ее развитие. Система эта отличается большой архаичностью: славянские и германские соответствия ей сохранились лишь в письменных памятниках.

Еще два доклада касались вопросов ли-

товского синтаксиса: И. Палёнис (Вильнюс) говорил об одной реликтовой инфинитивной конструкции (типа *jam [bus] mirti*), А. Пирочинас (Вильнюс) — об употреблении родительного и винительного с инфинитивом для обозначения обстоятельства цели.

В. П. Шмид (Гёттинген, ФРГ), редактор журнала «Indogermanische Forschungen», автор известной книги «Studien zum baltischen und indogermanischen Verbum» (1963), в своем докладе продемонстрировал новый и весьма перспективный метод для определения части речи при помощи установления всевозможных связей слова в контексте (в синтагматическом, парадигматическом и других аспектах).

Следует также упомянуть непрочитанные доклады В. Рукэ-Дравиней (Швеция) «Сравнение латышских слов с другими языками Северной Европы» и Ю. С. Степанова (Москва) «Акцентуация и метатония в литовском глаголе (внутренняя реконструкция)».

В прениях выступило 15 человек. Конференция сочла необходимым подчеркнуть важность исследования балто-славянских и вообще балто-индоевропейских языковых связей, а также важность изучения архаичных балтийских языков для славистики и для индоевроеистики.

Для дальнейшего успешного развития советского балтийского языкознания конференция считает целесообразным рекомендовать следующие меры: 1) всевозможные научные конференции по балтийскому языкознанию с участием иностранных ученых в будущем организовывать регулярно через каждые четыре года. Следующую конференцию провести в Вильнюсе в 1974 г.; 2) на базе серии научных записок «Baltistica» создать в Вильнюсе научный журнал по балтийскому языкознанию, выходящий четыре раза в год; 3) при кафедре литовского языка Вильнюсского гос. ун-та им. В. Капсукаса создать Институт исследования балтийских языков (Институт балтистики); 4) для советских и иностранных ученых-языковедов, желающих углублять свои знания в области литовского и латышского языков, организовывать ежегодно летние курсы: по литовскому языку — при кафедре Вильнюсского ун-та, по латышскому языку — при кафедре латышского языка Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки; 5) доклады, прочитанные на заседаниях настоящей конференции, издать отдельным сборником.

И. Климавичюс, Б. Савукинас (Вильнюс)

*

17—20 июня 1970 г. в Минске на филологическом факультете Белорусского ун-та состоялась очередная Все-

союзная научная конференция по актуальным проблемам лексикологии¹. В работе конференции приняли участие ученые разных союзных республик, а также Германской Демократической Республики, Болгарии, Чехословакии и Польши. Было прослушано 24 доклада на пленарных и 127 докладов и сообщений на секционных заседаниях.

На пленарных заседаниях состоялись доклады, посвященные общим проблемам лексикологии: А. Е. Супрун (Минск) «Лексика и вероятностный характер языка», Р. Г. Пиотровский (Минск) «Сопоставительное изучение семантической структуры слова при составлении двуязычного словаря для машинного перевода» (соавторы А. Д. Борисевич, В. А. Букович, В. А. Вертель, В. В. Гончаренко, В. И. Гречишкина, Е. М. Добрускина, Э. М. Каменева, В. С. Крисевич, А. Б. Межлумова, О. А. Нехай, В. Н. Рысь, Л. И. Трибис, Т. А. Штирбу, С. В. Ястребова).

Проблеме лексической сочетаемости были посвящены доклады А. Н. Савченко (Ростов-на-Дону) «Лексическая сочетаемость и проблема знаковости языка», В. И. Перебийнос (Киев) «Опыт составления частотного словаря сочетаемости современного английского языка» (совместно с москвичами Р. С. Гинзбург, А. А. Санкиным и С. С. Хидекель), М. Т. Тагиева (Баку) «Лексическое значение и сочетаемость слова», Н. В. Черемисиной (Уфа) «О своеобразии лексической сочетаемости в художественной речи», И. С. Улуханова (Москва) «Изменение в лексической сочетаемости как причина семантических изменений». Вопросы семантики обсуждались в докладах А. П. Клименко (Минск) «Некоторые вопросы психолингвистического исследования семантики», В. Б. Ланара (Братислава) «О некоторых внутренне обусловленных семантических изменениях», Л. Т. Выгонной (Минск) и Э. К. Смукловой (Варшава) «Семантическое расщепление белорусской земледельческой лексики», Г. П. Щедровицкого (Москва) «Семантическая структура слова и пути ее анализа», Э. Шанквалера (Берлин) «К вопросам коммуникативной семантики», М. М. Копыленко (Алма-Ата) «О структурно-типологическом исследовании семантики», В. В.

¹ Тезисы конференции см.: «Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции (17—20 июня 1970 г.)», Минск, 1970. (В книге допущена ошибка: тезисы сообщения на стр. 155 принадлежат И. Б. Никифоровой, а на стр. 156 — Е. А. Нифонтовой).

Мартинова (Минск) «К семантической классификации глаголов» и Д. Фивегера (Берлин) «Значение слова в словаре и тексте».

Диалектной лексике были посвящены доклады Л. М. Шакуна (Минск) «К изучению диалектной лексики в литературных источниках», С. Младенова (София) «Некоторые проблемы болгарской диалектной лексикологии», Л. Ф. Скитовой (Пермь) «Природа и закономерности сдвигов в семантической структуре слова, связанных с переходом диалектной лексики в систему литературного языка». Кроме этого, на пленарных заседаниях были прослушаны доклады А. И. Журавского (Минск) «Слово и словосочетание», В. Ю. Нормана (Минск) «Рациональность и иррациональность лексического знака», Н. В. Бирило (Минск) «Пути антропонимизации апеллятивной лексики», М. Леонидовой (София) «Место собственных имен в составе фразеологизмов в болгарском языке (сопоставительно с русским)», Г. Шпитцбардта (Йена) «Слова, заимствованные из санскрита в индонезийский язык», В. М. Никитевича (Алма-Ата) «Номинативная структура слова в отношении к другим языковым единицам».

На секционных заседаниях обсуждалась следующая тематика: общие вопросы лексикологии, семантика, структура слова и словообразование, заимствование и калькирование, лексическая сочетаемость и дистрибуция лексических единиц, терминология, фразеология, лексикография, ономастика, историческая и сопоставительная лексикология.

Общим проблемам лексикологии, связи лексикологии и грамматики, вопросам нормы и стилистической характеристики словарного состава были посвящены доклады Г. А. Цыхуна (Минск) «Номинация и дефимологизация», М. В. Федоровой (Воронеж) «Номинативные и лексические средства языка», Л. М. Васильева (Уфа) «Типы языковых знаков», Г. П. Мельникова (Москва) «Выявление принципов семантического членения словарного состава на основе моделирования процесса языкового общения», Я. М. Вовшина (Минск) «Взаимотношение фразы и ее лексического наполнения», В. А. Чабаненко (Запорожье) «Народно-поэтическая лексика и принципы ее выделения в словарном составе украинского языка», а также сообщения О. А. Мизина (Брест), Ц. З. Марголиной (Минск), С. Ф. Василенко (Джамбул), В. А. Агаевой (Ашхабад).

Значение слова, семантическая классификация, системные отношения в лексике были освещены в докладах А. Гудавичюса (Шяуляй) «Использование

метода компонентного анализа в исследовании семантической структуры слова», А. Д. Зверева (Черновцы) «Лексическое и словообразовательное значение», Р. М. Гейгера (Павлодар) «Некоторые вопросы формирования семантической структуры имен лиц на -ель», Л. В. Сахарного (Пермь) «Две степени абстракции и структура значения слова (к экспериментальному исследованию значения слова)», В. М. Розина и Г. П. Щедровицкого (Москва) «О методике анализа исторических изменений системы значений слова», К. П. Смолиной (Москва) «К изучению семантической структуры слова (дифференциальный элемент значения как фактор, воздействующий на характер синонимического ряда)», Н. С. Зарицкого (Киев) «Семанτικο-символическая сорбция как фактор эволюции значения слова», С. В. Ястремовой (Минск) «О некоторых способах формально-семантического членения лексики частотного списка» (в соавторстве с В. А. Букович, М. В. Каушанской, К. Ф. Лукьяненко, Л. И. Трибас), А. Р. Арутюнова (Москва) «Семантический словарь немецкого языка», А. Г. Мурашко (Минск) «Некоторые названия земных метеорологических явлений в белорусском языке», Л. А. Грузберг (Пермь) «О закономерностях изменения семантики слов современного литературного письменного языка, утверждающихся в просторечии», А. Ф. Демьяненко (Нежин) «О семантической зависимости слов от предложений» и В. П. Сташайтене (Вильнюс) «О понятийно-семантической градации в абстрактной лексике». Вопросам семантики был посвящен также ряд сообщений.

Структура слова и словообразование анализировались в докладах Г. С. Зенкова (Фрунзе) «Реляционно-физическая концепция словообразовательных единиц и возможность ее семантической интерпретации», Р. Г. Зятковской (Киев) «Деривационные суффиксальные парадигмы и словообразовательные типы (на материале современного английского языка)» и в ряде сообщений.

Проблемы заимствования и калькирования рассматривались в докладах В. В. Веселитского (Москва) «Семантические „кальки“ и семантическая индукция (в историческом освещении)», Л. П. Ефремова (Алма-Ата) «Экзотическая лексика и вопрос о ее калькировании», Л. И. Коломиец (Нежин) «Из истории лексических заимствований в восточнославянских языках», И. И. Чертко (Гродно) «Семантическая структура иноязычной лексики в белорусском языке». Теме заимствования и калькирования были посвящены некоторые сообщения.

Сочетаемость и дистрибуция лексических единиц освещалась в докладах Н. Н. Арват (Черновцы) «Лексическая сочетаемость и семантические поля безлично-предикативных слов в современном русском языке», В. А. Соркин (Минск) «Методы автоматического выделения семантически и грамматически связанных лексических единиц текста» (соавторы: М. В. Данейко, М. Э. Окулич, В. М. Петровская, Ю. Г. Приймич), Д. К. Джагацян (Ереван) «Об одной модели изучения сочетаемости прилагательных», Б. А. Плотникова (Минск) «Статистический анализ сочетаемости одной лексической группы», К. М. Гюлумянц (Минск) «К вопросу о лексической сочетаемости одной группы фразеологизмов польского языка», Н. И. Сукаленко (Харьков) «Лексическая сочетаемость как объект лексикологии и лексикографии», П. П. Шубы (Минск) «Ограничения в сочетаемости компонентов (на материале предложных конструкций)», А. Д. Борисевич, З. М. Каменев и В. С. Криевич (Минск) «Проблема лексической сочетаемости при составлении словарей оборотов для машинного перевода», Л. Е. Машкиной и О. А. Нехай (Минск) «Автоматическое выявление лексической однозначности словформ через сочетаемость лингвистических единиц», В. И. Пирейнос и М. П. Муравицкой (Киев) «О словаре сочетаемости украинского языка», Г. Я. Панкраца (Минск) «О вариантах глаголов с различной валентностью» и В. И. Бронвицкого (Минск) «Лексическая сочетаемость и синтаксическая омонимия». Вопросы сочетаемости и дистрибуции рассматривались также в ряде сообщений.

С докладами, посвященными вопросам терминологии, выступили В. П. Крапей (Минск) «Некоторые аспекты анализа белорусской терминологической лексики», Т. С. Коготкова (Москва) «Роль семантических процессов в формировании отдельных общественно-политических терминов на рубеже XIX века» и Э. А. Григорян (Ереван) «Из наблюдений над болгарской и македонской географической терминологией».

Фразеология и анализ разных типов устойчивых сочетаний были темой следующих докладов: М. М. Копыленко (Алма-Ата) и З. Д. Поповой (Воронеж) «Опыт градуирования идиоматичности фразеосочетаний», В. А. Бекша (Минск) «Семантическое взаимодействие компонентов сложного названия лица», Е. А. Гутман и М. И. Черемисиной (Новосибирск) «О специфике образного употребления названий животных в русском и французском языках», Е. С. Метельской и Е. М. Комаровского (Минск)

«К вопросу об определении небелорусской фразеологии в современном белорусском языке», Л. Н. Шердаковой (Ленинград) «О структуре устойчивых словосочетаний (на материале языка современных юридических документов)», В. Д. Берловской (Харьков) «К проблеме исследования моделей с устойчивыми лексическими компонентами». По этой же тематике был сделан ряд сообщений.

Лексикографии и вопросам создания частотных словарей были посвящены доклады С. М. Грабчикова (Минск) «О словаре паронимов белорусского языка» и Б. И. Косового (Минск) «Из наблюдений над частотностью определений в произведениях Я. Купалы» и ряд сообщений. В трех сообщениях рассматривались вопросы ономатики.

Исторической лексикологии были посвящены доклады Л. И. Ройзензона (Самарканд) «Семантическое развитие праславянских **krP/ьrл*» и Г. Н. Лукиной (Москва) «Семантическая структура некоторых тематических групп древнерусской лексики» и ряд сообщений. Сопоставительная лексикология была темой доклада М. Т. Тагиева (Баку) «Изоморфизм и семантические отношения двух языков».

На заключительном пленарном заседании была подчеркнута полезность обмена мнениями и признано целесообразным регулярно созывать конференции для обсуждения насущных проблем лексикологии.

П. П. Шуба (Минск)

*

21—23 мая 1970 г. в г. Ужгороде состоялась Межвузовская конференция по проблеме исследования лексики говоров украинского языка. В работе конференции приняли участие ученые многих городов Украины и РСФСР.

На пленарном заседании было заслушано четыре доклада: И. А. Дзензелевского (Ужгород) «Принципы составления словаря говоров украинского языка», в котором, рассказав о теоретических основах построения этого словаря, докладчик информировал о уже проведенной работе по подготовке генеральной картотеки словаря; В. В. Кобылянского (Львов) «Гуцульско-покутские карпатизмы и их территориальные связи», предметом которого был анализ значительного числа древних украинско-южнославянских лексических изоглосс; Г. Ф. Шило (Дрогобыч) «Полесские наименования птиц»; Н. И. Толстого (Москва) «К установлению праславянской фразеологии», в котором поднят вопрос о реконструкции праславянских фразеологизмов как минимальных отрезков текста праславянской поры.

На конференции работало три секции: 1) секция терминологической и узлокальной лексики, 2) секция исторической лексики, межъязыковых контактов и ономастики, 3) лексико-грамматическая секция.

На первой секции были прослушаны и обсуждены доклады: Н. А. Грицака и И. Ю. Коршинского (Ужгород) «Проблемы изучения лексики народной медицины», Я. Ю. Вакалюк (Ивано-Франковск) «Особенности некоторых народных названий болезней на Прикарпатье», А. Д. Очеретного (Киев) «Из наблюдений над бытовой лексикой юго-западной Черкащины», О. И. Сливки (Ужгород) «Украинские названия удода», А. М. Шляхова (Ивано-Франковск) «Традиционная лексика для обозначения одежды в говорах Ивано-Франковской области», Ф. И. Бабилы (Ровно) «Названия одежды, обуви и головных уборов в говорах Ровенской области», А. В. Майбороды (Нежин) «Названия блюд из картофеля в говорах Полесья», Л. П. Бова-Ковальчук (Сумы) «Из наблюдений над диалектной лексикой говоров южной Житомирщины», Ф. А. Непийводы (Черкасы) «Бытовая лексика говоров Черкащины», Д. Т. Кротя (Николаев) «Лексические диалектизмы западной Кировоградщины», И. И. Приймака (Херсон) «Местная лексика говоров западных районов Сумской области», И. Я. Журбы и Г. М. Иванченко (Николаев) «О некоторых лексических особенностях говоров Николаевщины», А. М. Половского (Днепропетровск) «О местной лексике в полтавском фольклоре», А. А. Бодника (Львов) «Народная терминология домашнего промысла западного Прикарпатья и Закарпатья и определение границ Бойковщины», Ю. А. Пипаша (Ужгород) «Из наблюдений над украинскими горными топографическими названиями», Г. О. Козачук (Каменец-Подольский) «Названия некоторых сельскохозяйственных орудий на Волины», М. Я. Плющ и Л. И. Недбайло (Киев) «Диалектная основа обрядовой лексики», В. Д. Бондалетова (Пенза) «Украинское арго на территории Белгородской области», В. А. Прокopenko (Черновцы) «Источники семантических диалектизмов в буквиносекциях говорах».

На секции исторической лексики, межъязыковых контактов и ономастики были прочитаны и обсуждены следующие доклады и сообщения: К. И. Галаса (Ужгород) «К вопросу о словах с корнем *skil-*», И. А. Варченко (Киев) «Украинские причерноморские говоры и вопросы лексических межъязыковых контактов», Н. В. Никончука (Житомир) «Правобережнополесско-юго-западные лексические изоглоссы», Н. М. Никити-

тенко (Черновцы) «Русско-украинские языковые взаимосвязи в бытовой и производственной лексике русских говоров Хмельницкой области», Т. В. Куземы (Днепропетровск) «К вопросу о полтавском элементе степных говоров реки Богатой», Е. Я. Павлюк (Черновцы) «Взаимопроникновение украинской и молдавской лексики в говорах Буковины», И. В. Попеску (Черновцы) «Украинские элементы в молдавской народной терминологии лекарственных растений», К. Ф. Германа (Черновцы) «Иноязычные элементы в лексике буковинских говоров», К. С. Баценко (Каменец-Подольский) «Лексика, относящаяся к строительству, в западнopoдoльских говорах», И. А. Дзензелевского «Фразеология как материал для реконструкции (палеонтологии) утраченных лексем и их ареалов», И. В. Зиканя (Ужгород) «Средневековые латинские лексические параллели в диалектах венгерского, украинского и румынского языков», К. И. Галаса (Ужгород) «Две „непристойные“ лексемы», Д. В. Костюка (Ужгород) «Германизмы в говоре села Чернятин Ивано-Франковской области», П. Н. Лизанца (Ужгород) «Принципы построения Атласа лексических унгаризмов и их соответствий в украинских говорах Закарпатья», С. И. Ковтюка (Ужгород) «Украинизмы в венгерских говорах низовья реки Уж», П. П. Чучки (Ужгород) «Апеллятивная лексика в фамилиях украинцев Закарпатья», Л. В. Краклия (Черновцы) «Украинские и молдавские личные имена в говорах Буковины», В. А. Горпынича (Николаев) «Названия жителей на -ича в украинском языке», В. Т. Горбачука (Кировоград) «Из народной этимологии гидронимов на Винничине».

На лексико-грамматической секции выступили с докладами: Г. И. Малышко (Запорожье) «Лексико-семантическая природа, состав, употребление неличных местоимений в говорах украинского языка», Н. Д. Кривохижа (Черновцы) «Лексические диалектизмы как компоненты фразеологических оборотов в буковинских говорах», В. И. Добош (Ужгород) «Лексико-семантические свойства слова как одно из средств выражения синтаксических отношений», И. И. Фекета (Ужгород) «Названия женщин по роду деятельности в украинских говорах Закарпатья», В. И. Орос (Ужгород) «Диалектизмы в произведениях И. А. Сильвая», В. М. Семудик (Ужгород) «Лексические особенности поэзии Ю. И. Старовского-Попадава», И. И. Дакюк (Винница) «Лексические диалектизмы Подолья в песнях Явдохи Зуихи», А. С. Зеленько (Ивано-Франковск) «О применении структурных методов при исследовании диалектной лексики», Н. П. Спрыж (Днепропетровск) «О некоторой

функциональной особенности диалектной лексики в синонимической системе художественного языка», П. Д. Тимощенко (Киев) «Диалектные и близкие к ним слова в произведениях Т. Г. Шевченко», М. Я. Плющ (Киев) «Фразеологизация словосочетаний с формой творительного падежа», Т. М. Довга и Г. С. Токарь (Ужгород) «Из наблюдений над адвербиализацией в литературном языке и диалектах», В. А. Высокчина (Днепропетровск) «Лексикализованные явления в степных говорах долины реки Мокрой».

В большинстве прослушанных докладов и сообщений в научный обиход вводился интересный свежий фактический материал, собранный в разных районах украинской этнографической территории.

Конференция показала, что на Украине и за ее административными границами весьма значителен научный интерес к изучению украинской диалектной лексики в самых разнообразных аспектах — лексемном, семемном, этимологическом, лингвогеографическом, структурном, лексикографическом. В ряде прослушанных докладов значительно внимание уделено изучению межъязыковых украинско-русских, украинско-западно-славянских, украинско-восточнороманских, украинско-венгерских, украинско-немецких, украинско-тюркских лексических взаимосвязей. В ряде докладов поднимались вопросы украинской диалектной фразеологии в разных планах.

В резолюции конференции отмечена инициатива кафедры украинского языка Ужгородского гос. ун-та в отношении составления общеукраинского диалектологического словаря, а также тот широкий размах лексикологической и лексикографической работы, который наблюдается в УССР вообще и который продемонстрирован работой этой конференции, в частности.

Для организации более эффективного изучения диалектной лексики и координации исследовательской работы в этой области решено впредь проводить специализированные научные межвузовские конференции через каждые 2—3 года. Конференцией предложено в ближайшее время провести симпозиум по вопросам унификации принципов подготовки региональных лингвистических атласов.

И. А. Дзюндзевский (Ужгород)

*

более 70 ученых из 37 городов нашей страны. Внимание участников конференции было сконцентрировано на наиболее актуальных проблемах русской диалектологии — лингвогеографическом методе анализа языковых явлений, этнолингвистической интерпретации севернорусской лексики и ономастики, на проблемах лексикографической обработки народного слова и вопросах исследования региональных рукописных материалов.

Многие участники конференции из Ленинградского университета, Петрозаводского, Мурманского, Вологодского и Череповецкого пединститутов, работающие над составлением «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей», подчеркивали необходимость координации при сборе материала и его обработке. Немало докладчиков подчеркивали ценность череповецких материалов для изучения судьбы севернорусских говоров: именно на территории этого края столкнулись изоглоссы древненовгородского и ростово-суздальского диалектов древнерусской (восточнославянской) народности.

Одна из этимологических загадок череповецкой лексики — слово *ястребуза* «незавившийся котан капуста», зафиксированное в прошлом веке М. Герасимовым, — стала основой первого пленарного доклада на конференции — доклада Н. И. Толстого (Москва) «Семантический аспект в этимологии». Показав сложные семантические перипетии этого диалектизма, сопоставив его с целым рядом славянских лексем, помогающих раскрыть его внутреннюю форму, Н. И. Толстой обосновал теоретически важный вывод о специфике семантических закономерностей развития лексики. Особо подчеркивалась важность лингвогеографического аспекта, помогающего установить хронологию слова.

А. Ф. Марецкая (Ленинград) в своем пленарном докладе «Севернорусские говоры в работах А. И. Соболевского по диалектологии» отметила интерес А. И. Соболевского к проблемам лингвистической географии и рассказала о его идее создания диалектологического атласа русского языка.

В пленарном докладе М. А. Бородиной (Ленинград) «О лингвистической географии» сообщалось о работе над европейскими лингвистическими атласами, в основном, романскими, и принципах их составления. Лингвогеографическим вопросам был посвящен и доклад В. М. Мокриенко (Ленинград) «Лингвогеографическое описание и семантика диалектного слова».

Лингвогеографический метод анализа последовательно применялся в докладах многих участников конференции. В докладе А. К. Матвеева (Свердловск) «Некоторые проблемы изучения уральских элементов в лексике севернорусских говоров» были показаны сложные про-

С 25 по 29 мая 1970 г. в Череповце состоялась Первая региональная межвузовская научная конференция по вопросам изучения севернорусских говоров и памятников письменности. Конференция привлекла

цессы ассимиляции саамских, волжско-финских, финно-угорских и уральских субстратных элементов русским населением Урала. Русская диалектная лексика этого типа стала своего рода словарным хранилищем исчезнувших языков и диалектов. Уральский диалектный материал рассматривался также в докладах Л. Г. Гусевой (Свердловск) «Из наблюдений над географической терминологией Каргопольского края», Л. Д. Майдановой (Свердловск) «О междиалектной синонимии (На материале лексики среднеуральских говоров)» и А. И. Рудных (Свердловск) «Из наблюдений над формообразованием в севернорусской микропопуляции».

Интерес к проблемам финно-угорскорусских контактов, проявленный на конференции, находит свое обоснование в севернорусском диалектном материале. На основе лингвистического анализа названий рыб в широкой ареальной проекции — нередко (например, слово *мальма*) от Карелии до Дальнего Востока — А. С. Герд (Ленинград) в докладе «Севернорусские названия рыб и некоторые вопросы этнической истории Русского Севера и Северо-Запада» делает вывод об этнической неоднородности населения северо-восточной Европы в древнейший период, подтверждающий справедливость урало-алтайской гипотезы. А. И. Куконен (Ленинград) в докладе «О финско-русских языковых взаимоотношениях на территории Ленинградской области» поделилась ценными наблюдениями о постепенном пропикновении русских элементов в языковую структуру ингерманландских финских диалектов. Финно-угорским влияниям на русскую лексику Карелии и особенностям семантической трансформации и адаптации финно-угорских слов в русской среде были посвящен доклад В. В. Сенкевич-Гудковой (Петрозаводск) «Семантическая структура переносных значений в русских говорах Карелии».

Рассмотрению апеллятивной и ономастической лексики были посвящены доклады А. В. Никитина (Новгород) «Топонимические сочетания с прилагательными (на материале названий рыболовных угодий Калининской, Новгородской, Псковской областей)» и Т. В. Бахваловой (Ленинград) «К вопросу о происхождении фамилий в Белозерье».

Оживленную дискуссию вызвал интересный доклад Г. А. Хабургаева (Москва) «Существовали ли новгородские словене?» Проблема этимологии этнонима *словене* решается им на широком этническом фоне, с привлечением большого исторического материала для комментария соответствующего места из «Повести временных лет». Вывод докладчика о том, что ни сами новгородцы, ни их окруже-

ние этнонима *словене* не знали, а следовательно, название *новгородские словене* было дано князьями, был поставлен под сомнение Н. И. Толстым.

Русской диалектной лексике были посвящены также доклады «О происхождении областных слов» В. Т. Ванюшичкина (Елец), «К истории названия тканей в новгородских говорах» Л. П. Михайловой (Череповец). В докладе Н. В. Поповой (Ленинград) русская литературная лексика, не употребляющаяся без *не* (*нелепый*, *неряшливый* и под.), сопоставлялась с диалектной лексикой, для которой такое употребление возможно.

Во многих лексикологических докладах и выступлениях затрагивались проблемы лексикографической обработки и методики описания слова. Широкий обмен мнениями по этим вопросам развернулся при обсуждении недавно изданного Деулинского словаря¹. В пленарном выступлении Л. А. Ивашко и О. С. Жельской (Ленинград) была дана высокая оценка этому словарю. Стремление к системному лексикографическому описанию одного говора, попытка отразить сложные внутрисистемные отношения народной лексики, функциональный подход к психологической интерпретации содержащегося в словаре материала, внимательное и бережное отношение к сложной семантической структуре слова в живой речи — вот те достоинства словаря, которые заслужили единодушное одобрение участников обсуждения (А. С. Герд, В. Я. Дерягин, Н. И. Толстой, А. К. Матвеев и др.). Отдельные критические замечания вызвала неполнота словника (А. С. Герд и недостаточный учет словообразовательных потенций диалектного слова (А. С. Герд, Н. И. Толстой), суженный охват терминологических сфер лексики и спордическое отражение специфики понятий, связанных с деревенским бытом (В. Я. Дерягин). Дискуссия, в которой принял живое участие составитель Деулинского словаря (Т. С. Коготкова, В. Б. Силина), показала целесообразность основных принципов, выработанных и практически осуществленных авторами первого в нашей стране опыта описания диалектной лексики на уровне речи в узкозамкнутой предельно ограниченной в локальном отношении системе. Интерес к принципиальным вопросам словарного описания диалекта, проявленный на конференции, свидетельствует о назревшей необходимости специального симпозиума по региональной лексикографии.

¹ «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)», под ред. И. А. Оссоветского, М., 1969.

Большое внимание на конференции уделялось изучению памятников письменности как одному из источников русской исторической диалектологии. В. Я. Дерягин (Москва) в докладе «Изучение памятников деловой письменности Севера в связи с задачами исторической диалектологии» говорил о том, какие перспективы ждут исследователей пока еще почти нетронутых рукописных богатств севернорусских архивов.

Ценность исторических источников демонстрировалась в докладах Ю. И. Чайкиной (Череповец) «Метрологическая терминология (меры вместимости) в белозерских деловых документах XVII в.», Е. Н. Борисовой (Смоленск) «К вопросу об исторических связях смоленского диалекта с другими восточнославянскими говорами (по материалам смоленской деловой письменности XVI—XVIII вв.)» и В. С. Тереховой «О местных медицинских названиях в лечебниках XVII—XVIII вв.».

Обстановка живой дискуссии характеризовала заседания секции «Фонетическая и грамматическая система севернорусских говоров». Особенно энергично велись дискуссии на фонетической и фонологической подсекции, где были прочитаны доклады: В. В. Колесов (Ленинград) «Функциональная система вокализма в традиционных северновеликорусских говорах», В. Г. Руделев (Оренбург) «Типология севернорусских вокалических систем и некоторые проблемы акцентологии», Л. К. Касаткин (Москва) «Об ударении гласных в одном вологодском говоре», Ю. С. Азарх (Москва) «Отверждение парных по мягкости — твердости переднеязычных согласных на конце слова в вологодско-кировских говорах», М. Н. Прерображенская (Москва) «О чередовании *a/e* в вологодских говорах», Е. Н. Иванецкая (Москва) «Судьба долгих мягких шипящих в говорах Тотемского района Вологодской области», Т. В. Кирялова (Калинин) «Особенности калининских говоров», А. А. Данилов (Вологда) «Состояние и задачи русской диалектной акцентологии».

В следующих докладах обсуждались синтаксические и грамматические особенности севернорусских говоров: В. И. Чагишева «К изучению форм предикативного имени в русских народных говорах», А. А. Скребнева (Челябынск) «Взаимотношение беспредложных словосочетаний с именем в форме родительного и винительного падежей при переходных глаголах на материале диалектной речи», Г. В. Судяков (Москва) «Из истории падежного синтаксиса вологодских говоров XVII в.», Е. П. Луинова (Ленинград) «Именное склонение в севернорусских говорах (На материале говоров Кировской области)», Т. Г. Паникаровская (Волог-

да) «Арханские формы в вологодских народных говорах», И. С. Меркурьев (Мурманск) «Вопросительно-относительные местоимения в мурманском говоре». Немало внимания было уделено словообразованию в диалектах: С. Н. Варича (Ленинград) «Имена существительные, обозначающие лиц, с суффиксом *-у, -уц(a)* и их варианты в псковских говорах», Г. Я. Симина (Ленинград) «К словообразованию отместоименных прилагательных (на материалах пинежского и других севернорусских говоров)», О. А. Черепанова (Ленинград) «Глагольные образования с приставками *из-* и *вы-* в пинежских говорах», Л. В. Иванова (Оренбург) «Особенности диалектного префиксального глаголообразования (на материале одного из говоров Оренбургской области)», Н. Т. Алексеева (Вильнюс) «Суффиксальный способ образования родовой корреляции (на материале наименования лиц в русских говорах Литовской ССР)», О. Т. Бархатова (Новгород) «Словообразовательные типы у имен существительных, обозначающих предметы, в новгородских говорах и их варианты», Г. А. Романовская (Москва) «Словообразование существительных в одном говоре Тотемского района Вологодской области».

На конференции было сделано 49 докладов, в прениях выступило 25 человек. Большим достоинством Первой череповецкой региональной межвузовской научной конференции по вопросам изучения севернорусских говоров и памятников письменности было то, что ее организаторы предварительно издали краткое изложение ее материалов². Благодаря этому значительная часть программы конференции была посвящена полезным дискуссиям и плодотворному обмену опытом.

В. М. Мокиенко (Ленинград)

*

2—4 июня 1970 г. в ЛО Института востоковедения АН СССР состоялась IV Тюркологическая конференция, которая была посвящена 900-летию со времени создания выдающегося памятника тюркской письменности «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского.

В заседаниях конференции приняли участие 130 ученых из Москвы, Ленинграда, союзных и автономных республик, а также из Будапешта.

На двух пленарных заседаниях было прослушано восемь докладов, в которых «Кутадгу билиг» исследовался как лите-

² «Вопросы изучения севернорусских говоров и памятников письменности (Материалы к межвузовской научной конференции)», Череповец, 1970.

ратурный и языковой памятник, определялось место этого сочинения среди других памятников древнетюркской письменности.

Член-корр. АН СССР А. Н. Колонин (Ленинград) в своем «Слове о Юсуфе из Баласагуна и его поэме „Кутадгу билиг“» всесторонне осветил круг проблем, связанных с изучением этого выдающегося памятника: исторические условия создания памятника, его идеологическое и философское содержание, сочетание эпического и реального в памятнике, его связь с произведениями предшественников. Особое внимание в докладе было уделено истории открытия и изучения памятника и его историко-культурному значению.

Доклад Г. А. Абдурахманова (Фергана) «О переводе „Кутадгу билиг“ на русский язык» наряду с оценкой научного и художественного значения памятника, содержал информацию о принимающемся полным переводе памятника на русский язык, о принципах перевода, транскрипции, выбора рукописи, которая будет положена в основу издания и т. д. Г. А. Абдурахманов подчеркнул необходимость координации работы по изучению и публикации тюркоязычных памятников.

А. А. Валитова (Москва) остановила внимание собравшихся на ряде вопросов, связанных с изучением «Кутадгу билиг» как памятника литературы.

Д. М. Насилов (Ленинград) в докладе «История открытия и изучения „Кутадгу билиг“» говорил об обстоятельствах открытия трех известных рукописей памятника и об успехах, достигнутых за полтора столетия знакомства с памятником, о вкладе, который внесли в дело изучения этого памятника П. А. Жюбер, Г. Вамбери, В. В. Радлов, С. Е. Малов, Р. Р. Арат и др.

В докладе С. Г. Кляшторного (Ленинград) «Эпоха „Кутадгу билиг“» были рассмотрены проблемы возникновения караханидского государства, его связи с другими древнетюркскими государствами и образованиями.

Э. Р. Тенишев (Москва) в докладе «„Кутадгу билиг“ и „Алтуя ярук“» отметил, что оба эти памятника появились почти одновременно и близки территориально. Несмотря на это, различия между ними столь значительны, что можно говорить о двух разных языках. Язык «Кутадгу билиг» докладчик определяет как смешанный чигиле-уйгурский. Истоки этого литературного языка восходят, по мнению докладчика, к поре орхоненисейских памятников, когда сложилась традиция литературного языка, которая позднее была воспринята уйгурами Восточного Туркестана и тюркоязычными племенами Караханидского государства и существовала до эпохи Алишера Навои.

Г. Ф. Благова (Москва) в докладе

«„Кутадгу билиг“ и „Бабур-наме“» приняла попытку сопоставления в морфологическом плане этих двух хронологически отдаленных тюркских письменных памятников. Используя методику акад. В. В. Виноградова (сопоставлять не отдельные формы, а всю их совокупность, уделяя основное внимание частотности их употребления и особенностям их функционирования), она убедительно показала при анализе, что несмотря на внешние материальные совпадения в языке «Бабур-наме» в сравнении с языком «Кутадгу билиг» обнаруживаются значительные различия, процессы изменения «удельного веса», казалось бы, тех же самых форм, их функциональных характеристик (в частности, у причастий и имен действия). Тем самым была поставлена под сомнение неизменность древнеуйгурской «основы» языка тюрки.

Доклад И. В. Стеблевой (Москва) «Поэтика „Кутадгу билиг“» был посвящен вопросам реализации метра аруза (мутакарриб) и арабо-персидской теории рифмы в этом первом сочинении классической тюркоязычной поэзии. По мнению И. В. Стеблевой, употребление аруза осуществлялось на основе акцентной базы тюркских языков путем наложения схемы квантитативного метра на ритмические конфигурации тюркской речи.

С информацией о работе, проблемах и задачах журнала «Советская тюркология» на заключительном пленарном заседании выступил главный редактор журнала академик АН АзербССР М. Ш. Ширалиев.

2—3 июня состоялись заседания лингвистической секции и секции истории и литературы.

На заседаниях лингвистической секции было прослушано 14 докладов, объединенных темой «Языки тюркских племен и народов VIII—XV вв.». Н. А. Баскаков (Москва) в докладе «Роль караханидского литературного языка в развитии тюркских литературных языков средневековья» представил в виде единого процесса развитие литературного языка тюрки во всех его видоизменениях, начиная от древнетюркской эпохи, и наметил периодизацию и классификацию тюркских литературных языков.

А. М. Щербак (Ленинград) в докладе «О фонетических особенностях языка „Кутадгу билиг“ и древнеуйгурском консонантизме» подчеркнул, что количество накопленного к настоящему времени материала позволяет пересмотреть вопрос о древнеуйгурском консонантизме, который был некогда поставлен В. В. Радловым и В. Томсоном. По мнению докладчика, орхонская и турфанская письменная традиция была единой, уйгурское письмо пришло на смену руническому непосредственно, без промежуточных звеньев, и факты свидетельствуют в

пользу диалектного сходства рунических и древнеуйгурских памятников.

В докладах М. Н. Хидирова (Ашхабад) «Отношение туркменского языка к языку „Кутадгу билиг“ и А. Матгазиева (Фергана) «Лексические элементы старотюркского языка в письменных памятниках узбекского языка XIX в.» рассматривались отдельные общие для них элементы (лексические, грамматические) и исторические корни подобных общих черт и соответствий.

З. Б. Мухамедова (Ашхабад) посвятила свой доклад «Некоторые параллели в лексике „Кутадгу билиг“ и „Ровнак ал-ислам“» фонетическим и лексическим чертам сходства обоих памятников, привлекла также материал сочинений Рабгузи, Хорезми и памятника XIII—XIV вв. «Нахдж ал-фарadis».

В докладе К. вопросу о взаимосвязи между категорией числа и категорией определенности — неопределенности (на материале турецкого языка) С. А. Соколов (Москва) очертил круг значений формы единственного числа, не имеющей специального показателя, основное внимание он уделит проявлениям семантико-грамматической определенности — неопределенности.

Предметом доклада В. И. Асланова (Баку) «О некоторых лексических параллелях в письменных памятниках „Кутадгу билиг“ и „Китаби деде Коркут“» явилась такая лексика в ряде памятников (до XVIII в., относимых докладчиком к числу азербайджанских), которая неупотребительна в современном азербайджанском языке и которая, по данным «Древнетюркского словаря», встречается реже или вовсе не встречается в других древних тюркских письменных памятниках. Докладчик убедительно показал, что без учета материала «Кутадгу билиг» изучение исторической лексикологии азербайджанского языка не может быть полноценным.

Э. И. Фазылов (Ташкент) «Лексика „Кутадгу билиг“ в „Древнетюркском словаре“» отметил некоторые неточности в передаче отдельных слов и выражений из наманганского списка «Кутадгу билиг», включенных в «Древнетюркский словарь», назвал ряд слов из этого списка, не попавших в словарь.

И. Г. Добродомов (Москва, «Памятники древнерусской письменности как источник сведений о половецком языке XI в.»), проанализировав половецкие личные имена, зафиксированные в списках «Повести временных лет» и имеющие параллели в русских былинах, подчеркнул значение подобных тюркских прозвищ для реконструкции фонетического развития тюркских языков Восточной Европы.

В докладе Г. П. Мельникова (Москва) «К этимологии приименного отрицания *tegül* (по материалам „Древ-

нетюркского словаря)» приводились аргументы в пользу гипотезы Б. Коллиндера, возводящего указанное отрицание к корню *teg-* «касаться; иметь отношение; соотноситься», и прослеживались типы семантических переходов в словах, обозначающих идею наличия соотнесенности, и прежде всего — развитие предикативных конструкций типа: *A — B teg* «А подобно В» и *A — B tegül* «А отлично от В», т. е. «А не является В».

В докладе Г. Кулиева (Баку) «О форме винительного падежа типа *saçın, kılın* в тексте „Дивана“ Махмуда Кашгарского» подкреплялась гипотеза, в соответствии с которой *-ın* первоначально был притяжательным аффиксом 3-го лица, в результате последующего перераспределения стал выражать винительный падеж, а гласный стал притяжательным аффиксом 3-го лица (основного падежа).

Г. Е. Корнилов (Чебоксары) на основе анализа вновь выявленных сепаратных взаимозаимствований в булгаро-чувашских, картвельских, готских, угорских и славянских диалектах подтвердил вывод историков и этнографов о локализации тюркских предков чувашей после их прихода в Восточную Европу из Азии в области Кавказа и Северного Причерноморья.

К. Аширраев (Фрунзе), подерживая в целом точку зрения, согласно которой «Кутадгу билиг» является общим достоянием тюркских народов Средней Азии, сделал попытку доказать, что Юсуф Хас Хаджиб «воспользовался диалектом, стоящим ближе к киргизскому языку, чем к уйгурскому и узбекскому языкам».

Ф. А. Абдуллаев (Ташкент) в докладе «К вопросу о соответствии узких и широких гласных в истории тюркских языков» обосновывал гипотезу о том, что среди тюркских корней и аффиксов, которые встречаются как с широкими, так и с узкими гласными, древнейшими являются формы с узкими гласными; причиной перехода узкого гласного в широкий могло быть стремление к фонологическому укреплению слога (особенно открытого).

В. М. Наделяев (Новосибирск) рассказал о двух найденных в Монголии рунических надписях. Он привел транслитерацию, транскрипцию и перевод обоих памятников.

С. Н. Иванов (Ленинград) подчеркнул, что пока еще не все сделано, чтобы освободить грамматику тюркских языков от влияния иноязычных грамматических схем. Забывают, например, что тюркские прилагательные и причастия, примыкая к определяемому, не имеют в себе значения единичности признака, значения прилагательности (того значения, которое в русском, например, конституируется соответствующими окончаниями). Неправильно трактуется категория залога в причастиях, которую непременно хотят

связать со значением определяемого, т. е. усматривать здесь согласование по линии залогов. Таким же образом появляются различные «неоформленные» падежи, слабости в трактовке категории принадлежности (в ней видят лишь «соответствие» европейским притяжательным местоимениям) и т. п.

Я. С. Ахметгалеева (Казань) рассказала о языковедческих исследованиях, ведущихся в Казанском ИЯЛИ АН СССР.

В трех заседаниях секции литературы и истории приняли участие представители 11 городов (30 человек), были прослушаны и обсуждены 16 докладов, объединенных темой «Литература и история тюркских племен и народов VIII—XV вв.». В числе их — доклады лингвистов Е. И. Убрятовой (Новосибирск, «Руническая надпись из Бичикту-боола») и А. С. Аманжолова (Алма-Ата, «Две рунические надписи с Енисея»), посвященные дешифровке и интерпретации этих текстов, первый из которых, по мнению Е. И. Убрятовой, может быть отнесен к киргизской группе памятников.

Отмечая, что проделанная работа открывает новые перспективы в изучении «Кутадгу билиг», конференция признала необходимым подготовить к изданию критический текст, транскрипцию памятника и его русский перевод (работа ведется А. А. Валитовой, Москва, и Г. А. Абдурахмановым, Фергана). Конференция приветствует работу над узбекским переводом памятника (К. Каримов, Ташкент).

Конференция считает целесообразным проведение в сентябре — октябре 1971 г. тюркологического симпозиума в Фергане, посвященного 900-летию труда Махмуда Кашгарского «Дивану лугат-ит-тюрк».

В Тюркологическую конференцию в Ленинграде намечено посвятить проблемам огузской группы тюркских языков, а также истории и литературы народов, говорящих на этих языках.

В. Г. Гузев, Л. Ю. Тугушева (Ленинград)

•

С 1 по 4 июня 1970 г. в Москве в Институте языкознания АН СССР состоялся III Всесоюзный симпозиум по психолингвистике, организованный Группой психолингвистики и теории коммуникации Института языкознания АН СССР совместно с Центральным советом Общества психологов СССР и Научным советом «Теория советского языкознания» при ОЛЯ АН СССР. В работе симпозиума приняли участие более двухсот человек из 27 городов Советского Союза.

Симпозиум был посвящен вопросам применения психолингвистических методов в прикладных областях: в изучении эффективности речевого воздействия (на

материале средств массовой коммуникации); в судебной психологии и криминалистике; в обучении языку; в инженерной психологии; в изучении детской речи; в патопсихологии, нейропсихологии и психиатрии. На симпозиуме работали шесть секций (в соответствии с перечисленными выше проблемами), каждая из которых провела одно-два заседания. Кроме того, состоялись два пленарных заседания, на которых были прослушаны доклады общеметодологического и теоретического характера. Всего на симпозиуме было сделано 93 доклада и сообщения, тридцать человек выступило в прениях.

Симпозиум открыл ученый секретарь Научного совета «Теория советского языкознания» Г. А. Климов (Москва). С докладом «Важнейшие задачи прикладной психолингвистики» выступил А. А. Леонтьев (Москва). В докладе были проанализированы важнейшие области практического приложения психолингвистики, прикладное значение ее методов.

Доклад Н. И. Жинкина (Москва) «К общей теории текста» был посвящен анализу порождения и восприятия текста в связи с прошлым опытом личности. А. Р. Балаян (Баку) в своем выступлении предложил новый подход к изучению диалога, на основе которого возможно моделирование диалогической тактики, что очень важно при изучении неродного языка.

П. Я. Гальперин (Москва) сделал доклад на тему «Понимание языка и его практическое изучение». С докладом «Чувство языка и его измерение» выступили М. М. Гохлернер, П. Б. Невельский (Харьков) и И. А. Раппопорт (Николаев). Чувство языка определяется авторами как компонент внутреннего программирования речевого высказывания, а индикатором сформированности чувства языка, по их мнению, может выступать только правильность речи, которая измеряется степенью соответствия избираемых языковых средств речевой ситуации и вербальному контексту с точки зрения нормы и узуса изучаемого языка.

На заседаниях секции «Психолингвистические проблемы в изучении эффективности речевого воздействия» обсуждались вопросы, связанные с оптимальным построением текстов и их восприятием аудиторией.

Проблему изучения стереотипов — обобщенных представлений о явлениях, фактах, людях — затронул В. Л. Артемов (Москва). Он указал на важность исследования закономерностей в образовании языковых форм взаимосвязанных стереотипов.

Е. А. Ножин (Москва) в своем выступлении остановился на особенностях публичной речи. Вопросы экспериментального измерения информации в тексте были рассмотрены в докладе В. Н.

Пестуновой и Р. Г. Пиотровского (Ленинград).

На возможность и целесообразность применения к изучению проблем массовой коммуникации приема координатного индексирования текста с помощью ключевых слов указали в своем выступлении Л. В. Сахарный и Е. И. Верхоланцева (Пермь). Ю. А. Сорочкин (Москва) проанализировал языковые особенности китайской прессы. Вопросу о психологических функциях речевой коммуникации и их месте в психолингвистическом изучении языка был посвящен доклад А. У. Хараша (Москва). С докладом «Проблема восприятия и речевое воздействие» выступил Ю. А. Шерковин (Москва). Т. М. Дридзе (Москва) выступила с сообщением «Опыт использования психолингвистической методики для изучения словаря прессы».

Секция «Психолингвистические проблемы в судебной психологии и криминалистике» открылась докладом А. А. Леонова «К проблеме отождествления личности по речи», в котором были перечислены фонетические и семантикограмматические признаки речи, которые могут быть использованы для отождествления личности.

Сообщение В. И. Батова (Москва) было посвящено проблеме диагностики ложных сообщений в письме. С. М. Вул (Харьков) выступил с докладом «Характер и пределы изменения письменной речи при ее преднамеренном искажении». Полученные автором результаты свидетельствуют о том, что при преднамеренном искажении письменной речи остаются устойчивыми определенные признаки, по которым может быть определен автор.

Проблему перевода устной речи в письменную затронул в своем выступлении И. К. Шахриманян (Москва). Сообщение А. М. Шахнаровича (Москва) было посвящено рассмотрению собственных и несобственных социально-психологических функций «блатного» языка.

Заседание секции «Психолингвистические проблемы в обучении языку» было посвящено проблемам методики обучения родному и неродному языку. В своем докладе «К вопросу о взаимосвязи психолингвистики и методики обучения языку» Э. Л. Носенко (Москва) привела результаты экспериментального исследования по изучению характера изменения закономерностей временной реализации высказывания при различных уровнях владения иноязычной речью.

И. А. Зимняя и В. Н. Скибо (Москва) изложили результаты экспериментального исследования характера воспроизведения заданной вербальной программы на родном языке средствами родного и неродного языка (английского). Авторы пришли к выводу, что пе-

реход от программы к ее языковой реализации—наиболее трудный этап в овладении вторым языком.

Взаимодействие системы родного и неродного языков в процессе обучения иностранному языку обсуждалось в докладах А. К. Рейцак (Таллин) и Э. В. Маруга (Москва).

Вопросы обучения фонетике при обучении второму языку были затронуты в докладе К. М. Колосова (Москва) «Некоторые психолингвистические аспекты обучения произношению». Процессы овладения иноязычным словом было посвящено сообщение А. П. Масловой (Москва) «О некоторых психолингвистических проблемах в обучении иностранному языку».

Н. Д. Зарубина (Москва) остановилась на проблеме единиц усвоения в обучении языку. Она показала, что такой единицей на надфразовом уровне будет сложное синтаксическое целое, выделяемое по внутренним правилам на основе осознаваемых и неосознаваемых признаков.

На секции «Психолингвистические проблемы в инженерной психологии и смежных областях» был прослушан ряд докладов по проблеме регистрации речевого сообщения при его зрительном (А. П. Василевич и Е. Н. Герганов — Москва) и слуховом (И. М. Луцхина — Ленинград) восприятии. Проблеме оптимизации зрительного распознавания буквенных цепочек было посвящено сообщение А. В. Ярхо (Москва). Зависимость порогов зрительного распознавания от вероятностей речевых стимулов на материале русских триграмм была проанализирована в докладе Р. М. Фрумкиной, А. П. Василевича и Е. Н. Герганова (Москва) «Субъективные оценки вероятности буквосочетаний как фактор, прогнозирующий результаты переработки речевой информации».

Проблемы автоматической обработки информации обсуждались в докладах В. А. Ловицкого (Харьков) «Эвристическое моделирование процесса решения человеком словесных задач» и В. А. Москвича (Москва) «Психолингвистика и автоматизация обработки информации».

И. Н. Горелов (Оренбург) в своем сообщении остановился на проблеме автономности планов выражения и содержания при одновременном решении двух различных вербальных заданий.

Различным аспектам лингвистического развития детей было посвящено заседание секции «Психолингвистические проблемы в изучении детской речи». Доклад Ф. А. Сохина (Москва) был посвящен проблеме лингвистического развития детей дошкольного возраста, осознания ими явлений и отношений речи и языка, усвоения элементарных представлений и знаний. Проб-

лема формирования типов номинации у детей была затронута в докладе В. Г. Гака (Москва).

Е. М. Изотова (Москва) выступила с критикой «теории стекла». Экспериментальные данные, полученные ею, говорят о том, что еще до обучения детей грамоте в сознании ребенка существуют два самостоятельных отношения: к предмету и к смысловому содержанию слова, обозначающего этот предмет. Деятельности младшего школьника в процессе усвоения лингвистического материала был посвящен доклад М. Т. Савельевой (Минск).

И. М. Геодакян и П. Г. Кургиан (Ереван) проанализировали закономерности приобщения ребенка к языковой норме в русле общего развития речи.

Различным проблемам патологии речи при шизофрении и ее нарушениям при афазии были, в основном, посвящены заседания секции «Психолингвистические проблемы в психиатрии, нейропсихологии и патопсихологии». Проблемам патологии речи при шизофрении были посвящены доклады А. Б. Добровича и Р. М. Фрумкиной (Москва), Е. И. Исениной (Иваново), Б. М. Лейкиной и М. И. Откупщиковой (Ленинград).

Серия докладов была посвящена изложению результатов ассоциативных экспериментов у больных с афазией (М. Г. Панкова и Р. Райчев, Т. В. Рябова и Н. В. Уфимцева и др.). Проблема анализа механизма актуализации слов у больных с амнестической афазией обсуждалась в сообщениях Л. С. Цветковой и Л. Г. Калита (Москва).

На заключительном пленарном заседании симпозиума с докладом «Дипластия, синонимия и антонимия» выступил Б. Ф. Поршнев (Москва). По мнению автора, оперирование с этими понятиями, которые определяются широко, а не только в языковых категориях, позволяет подойти к психолингвистической природе непонимания.

Т. М. Николаева (Москва) в своем выступлении поставила вопрос о соотношении единиц языкового описания и единиц, посредством которых порождается текст.

Л. В. Сахарный (Пермь) сделал доклад «К проблеме психологической реальности словообразовательной модели». Автор предлагает свое определение словообразовательной модели и указывает на актуальность психолингвистического исследования словообразовательных явлений, которое позволило бы вскрыть новые аспекты в таких сложных процессах, как группировка слов в классы в сознании носителей языка, образование на базе такой группировки более абстрактных единиц — словообразова-

тельных моделей и функционирование этих моделей в речевой деятельности.

Работа симпозиума отражена в сборнике тезисов «Материалы третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике» (М., 1970). Там же содержатся материалы не названных здесь докладов.

Н. В. Уфимцева (Ленинград), *А. М. Шахнарович* (Москва)

*

15 мая 1970 г. в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР в связи с присуждением «Словарю современного русского литературного языка» Ленинской премии состоялось заседание Ученого совета. Открывая заседание, чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкая отметила большое значение «Словаря современного русского литературного языка» для русской лексикографии и всей культурной жизни нашей страны. Ф. П. Сороколетов в сказанном, что высокая награда — Ленинская премия, которой удостоены члены большого коллектива, создавшего 17-томный словарь современного русского языка, — важное событие для всей филологической науки.

«Словарь современного русского литературного языка» прочно занял свое почетное место в ряду других лексикографических трудов Академии наук. Этот словарь будет служить долгие десятилетия научным и культурным задачам народа. Ф. П. Сороколетов остановился на истории создания 17-томного словаря. Ф. П. Сороколетов отметил, что опыт советской лексикографии до сих пор остается малообъемным и теоретически осмысленным. Необходимо создать обобщающий труд, который подвел бы итоги работы над словарями русского языка и наметил перспективы лексикографической работы. Ф. П. Сороколетов отметил, что завершение изданий 4-томного «Словаря русского языка» и 17-томного «Словаря современного русского литературного языка» создало основу для создания специализированных лексикографических трудов: Словаря синонимов, Словаря трудностей словоупотребления и вариантов норм, Словаря новых слов, Словаря русских народных говоров, Словаря русского языка XVIII века, Фразеологического словаря и др. Говоря о перспективах работы Словарного сектора, Ф. П. Сороколетов остановился, в частности, на подготовительном этапе нового многотомного толкового словаря современного русского языка. Докладчик осветил вопросы, связанные с разработкой источников, с созданием картотеки. Чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин подробно рассказал о коллективе, который создал «Словарь современного

русского литературного языка». Над семнадцатью томами, сказал Ф. П. Филин, трудилось свыше 80 человек штатных сотрудников: составители, редакторы, научно-технические сотрудники, члены редколлегии. Свыше двухсот научно-исследовательских институтов, организаций и учреждений оказывали Словарному сектору большую консультационную помощь. В числе консультантов-языковедов, которые участвовали в подготовке словаря, Ф. П. Филин назвал имена академика В. М. Жирмунского, докторов наук И. М. Тронского, С. Д. Кацнельсона. Ф. П. Филин рассказал о лексикографической деятельности ученых А. М. Бабкина, С. Г. Бархударова, Е. С. Истриной, С. П. Обнорского, В. П. Чернышева, удостоенных высокого звания лауреата Ленинской премии; подчеркнул роль работников издательства и типографии «Наука». Ф. П. Филин остановился на месте лексикографии среди лингвистических дисциплин. Имена многих выдающихся языковедов, например И. И. Срезневского, В. И. Дала, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, прежде всего ассоциируются с теми словарями, которые они создали, хотя перу каждого из них принадлежат десятки и сотни других интересных работ. Говоря о перспективах развития русской лексикографии, докладчик отметил ее своеобразие и высокий научный уровень. Концепция наших словарей очень четко и ясно в основе своей опирается на определение сущности литературного русского языка, его границ с другими языковыми областями. Это большая и оригинальная концепция. Издание 17-томного и 4-томного словарей русского языка открывает большие перспективы для лексикографической работы, в частности, для издания нового толкового словаря современного литературного языка. Ф. П. Филин остановился на вопросах диалектной лексикографии, рассказав о большой работе советских ученых в этой области.

Н. Д. Андреев остановился на вопросе отбора специальной лексики для нового толкового словаря, рекомендовал коллективу нового толкового словаря воспользоваться данными «Распределительных словарей». Д. С. Рыжак в рассказе о том, как коллектив издательства работал над 17-томным «Словарем современного русского литературного языка», о планах издательства по изданию лексикографических трудов. А. П. Евгеньева отметила, что 17-томный словарь создавался на большой теоретической базе, подготовленной такими крупными лингвистами-русистами, как Я. К. Грот, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба. А. П. Евгеньева затронула вопросы об объеме и характере тех сведений, которые должны даваться в толковых словарях, о разработке системы значений, о

толковании слов. Акад. В. М. Жирмунский обратил внимание собравшихся на важность коллективных работ. Только большому квалифицированному коллективу, сказал он, по плечу выполнение таких капитальных трудов, как многочисленные словари или диалектологические атласы. В. М. Жирмунский остановился на достижениях отечественной лексикографии. 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» имеет свое лицо, сказал докладчик, и вполне заслуженно удостоен высшей награды. В. М. Жирмунский привел примеры того, как лексикографы ГДР, используя опыт советских словарей, взяли на вооружение систему стилистических и специальных помет. Особое внимание В. М. Жирмунский уделил работе над двуязычными и областными словарями и словарями языка писателей.

А. М. Бабкин в своем выступлении подчеркнул, что словарная работа является фундаментом всех лексикологических работ. Остановившись на истории русской академической лексикографии, А. М. Бабкин обратил внимание на то, что на протяжении 175 лет в Академии наук была полностью завершена работа всего над четырьмя толковыми словарями. Все они отличаются друг от друга и содержанием описываемого материала, и типом его разработки, и структурой словарных статей. Говоря о 17-томном словаре, А. М. Бабкин подчеркнул, что создание его — небывалый лексикографический эксперимент. 17-томный словарь — это словарь словарей и база для лексикографических и лексикологических исследований. На основе этого словаря созданы и создаются словари разных типов, написаны и пишутся научные работы как у нас, так и за рубежом. А. М. Бабкин высоко оценил роль научных консультантов, добрым словом отозвался о работниках издательства «Наука». Ленинская премия ко многому обязывает советских лексикографов, сказал докладчик, так как от нас ждут словарей разных типов. А. М. Бабкин рассказал о словнике нового толкового словаря, о том, как ведется разработка источников.

Ф. П. Сороколетов, Ф. П. Филин, Н. Д. Андреев, А. П. Евгеньева, В. М. Жирмунский, А. М. Бабкин подвергли резкой критике Записку «О некоторых нуждах советской лексикографии». Выступавшие обратили внимание на то, что авторы Записки недостаточно полно и объективно осветили современное состояние отечественной лексикографии.

Закрывая заседание, А. В. Десницкая от лица Ученого совета поздравила всех участников 17-томного словаря с Ленинской премией.

В. Н. Сергеев (Ленинград)

*

19—21 мая 1970 г. в г. Алма-Ата состоялся организованный по инициативе Президиума АН Казахской ССР, Института языкознания АН Казахстана и группы «Статистика речи» семинар на тему «Статистическое и информационное изучение тюркских языков».

До последнего времени статистико-информационные методы применялись преимущественно для изучения основных европейских языков, подчеркивали академики АН Каз. ССР Д. В. Соколовский и С. К. Кенесбаев. Однако в тюркологии имеется ряд задач, которые с успехом решаются применением именно статистики, теории информации и электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Первые результаты, полученные в ИЯ АН КазССР, позволяют говорить о целесообразности применения таких методов в тюркологии.

В семинаре работали две секции: 1) «Частные вопросы статистических и структурных исследований тюркских языков»; 2) «Автоматическая переработка текстов тюркских и других языков с помощью электронно-вычислительных машин и информационные измерения тюркских языков».

В докладе «О статистическом изучении тюркских языков» К. Б. Бектаев (Чимкент) подчеркнул большое значение статистических методов в таких прикладных областях тюркологии, как дешифровка неясных мест в памятниках древнетюркской письменности, атрибуция анонимных тюркских текстов, наконец, в исследованиях по культуре речи и по истории тюркской лексики. Подчеркивая, что для получения достоверных данных необходим обширный материал, докладчик призвал к широкому использованию электронно-вычислительных машин для статистических исследований. Он сообщил, что на ЭВМ «Минск-22» составлены частотно-алфавитный, алфавитно-частотный и обратный словари романа М. Ауэзова «Путь Абая» (весь объем работы выполнил один человек за 8 месяцев).

В докладе Г. П. Мельникова (Москва) «Проблема языка-эталона в тюркологии» рассматривался вопрос о нахождении общей точки («точки отсчета») группы языков или нескольких диалектов одного и того же языка, о методах выделения языка-эталона. Докладчик пытался моделировать процесс появления группы родственных языков из одного языка, описывая на аналогии распада (взрыва) движущегося по определенной траектории объекта (например, снаряда): элементы, возникающие в результате распада этого единого объекта, считаются аналогами родственных языков или диалектов одного языка.

Оживленную дискуссию вызвал доклад М. М. Глушко (Москва) «Статистические методы в изучении структуры языка и текста». Показав, что частотные словари, составленные по словоформам, имеют ряд недостатков, докладчик полагает, что большую количественную информацию можно получить, используя частотный словарь лексем. Предлагается детально разработанная модель подготовки текстов для составления такого словаря; причем одновременно можно будет получить и инвентари морфологических признаков лексем.

Доклады и сообщения, прочитанные на секции «Частные вопросы статистических и структурных исследований тюркских языков», можно разделить на две группы: 1) относящиеся к статистико-информационным исследованиям внутри языков тюркской группы; 2) относящиеся к статистико-сопоставительному анализу языков тюркской и индоевропейской семей.

К первой группе относится совместный доклад Ж. А. Аралбаева, К. Б. Бектаева, А. А. Исенгельдина, Б. Д. Тайлакбаева, С. С. Татубаева (Чимкент) «Статистическое исследование фонетической структуры казахского языка». При использовании разработанной С. К. Кенесбаевым системы перехода от графемного уровня к фонетическому были исследованы различные жанры современного казахского литературного языка в фонетическом аспекте. Применение электронно-вычислительных машин дало возможность определить а) частотность фонем и их вариантов по всему исследованному материалу и разным жанрам языка; б) частоту дистрибуции фонем в слове и в слогах; в) структуру различных типов слов и их частотность.

О подобном же исследовании, проведенном на материале узбекского языка, сообщалось в докладе Е. Файзылова и А. Ризаева (Ташкент).

Вопросу определения статистических характеристик благозвучия казахской певческой речи был посвящен доклад С. С. Татубаева (Чимкент) «Статистические подходы к исследованию певческой фонетики казахского языка».

А. Ахабаев, А. Белботаев, К. Молдабеков и Н. Осигитова (Чимкент), исследовав казахский текст на уровне членов предложений, показали, насколько резко различаются структуры предложений в научно-технических и художественных текстах.

Ко второй группе докладов, прочитанных на этой секции, относятся шесть докладов.

М. М. Копыленко (Алма-Ата) в докладе «Описание структур казахского и русского языков в терминах аппликативной модели» использовал аппликатив-

ную модель (АМ) С. К. Шаумяна как эффективный метаязык описания синтаксических и словообразовательных структур разнообразных языков и описания их неконгруэнтности. Примеры записей казахских и русских фраз в терминах АМ сопровождаются подробным лингвистическим анализом, вскрывающим своеобразие лексико-грамматического построения казахского и русского текстов.

В докладе «Частотно-сопоставительные характеристики падежных форм русского и казахского языков» К. И. Ищанов, П. В. Садчиков, С. Мирзабеков (Чимкент), исследовав язык художественной литературы и философских произведений, установили значительное различие в частотности употребления русского и казахского именительного падежа и попытались объяснить причины этих различий.

О статистических характеристиках форм страдательного залога в казахском и английском языках сообщалось в докладе А. Ергалаева (Алма-Ата).

Р. М. Мустарина (Казань) в докладе «Статистико-информационное исследование перевода видов русского глагола на татарский язык» сообщила интересные данные, связанные с конфронтацией глагольных систем языков различной типологии. Отметим, кроме того, сообщения Г. В. Ермоленко (Алма-Ата) «Статистика тюркизмов в романе И. Вазова „Под игом“ (на материале болгарского языка)» и А. Г. Байер, Н. С. Пак, Г. Г. Шаберт (Чимкент) «Статистика и преподавание иностранных языков».

На секции «Автоматическая переработка текстов тюркских и других языков с помощью электронно-вычислительных машин и информационные измерения тюркских языков» был прослушан доклад Р. Г. Пиотровского (Ленинград) «Многозначность и идиоматичность в машинном словаре», в котором простая неоднозначность и идиоматичность определялись через их статистические характеристики. Анализируя проекты автоматического устранения многозначности и идиоматичности на материале европейских языков, автор предположил, что тюркско-индоевропейские машинные словари дадут значительно меньшую лексико-грамматическую неоднозначность и идиоматичность в связи с прозрачной и менее омонимичной морфологической структурой тюркских входных словоформ.

В совместном докладе А. А. Землянского, В. В. Морозенко, И. Ф. Турук, В. В. Шуракова (Москва) «Алгоритмизация лексико-статистического исследования письменной речи» рассматриваются вопросы выделения из текста лингвистической информации на уровнях частей речи и функциональных признаков. Один из практических результатов такого исследования — учеб-

ный словарь-минимум общенаучного слоя лексики английской научно-технической прозы. Разработаны критерии отбора словоформ для включения в такой словарь-минимум. В докладе подробно описан логико-математический аппарат используемого алгоритма, который может быть с успехом применен для изучения тюркских языков с помощью электронно-вычислительных машин.

В докладе Ю. Н. Марчука (Москва) «О дистрибутивно-статистическом определении классов слов» поставлены две задачи — разрешение последовательностей омографов в тексте и дистрибутивно-статистическое описание классов слов. В первом случае статистические методы должны использоваться в сочетании с другими данными нестатистической природы; при решении второй задачи, особенно при описании дистрибуционно-частотных свойств слова, наибольший эффект дает применение статистических методов. Приводится один из вариантов такого описания, который может быть использован и для языков тюркской группы.

Предложенный А. К. Джубановым (Алма-Ата) в докладе «Универсальный алгоритм выделения буквосочетаний тюркских текстов» алгоритм и машинная программа позволяют получать с помощью ЭВМ алфавитные и частотные списки буквосочетаний от 1 до 24 букв по первым, последним и средним буквам слов тюркских текстов большого объема.

Вопросам информационной нагрузки слов посвящены доклады М. К. Чалабаевой (Ташкент) «Энтропия современного узбекского языка» и Т. И. Ибрагимова (Казань) «Слоговая структура слов татарского языка».

О методике статистического исследования списков сегментов текста фиксированной длины (триад, тетрад и т. д.), которая может быть использована при анализе тюркских языков, сообщалось в совместном докладе Л. И. Белоцеркова (Чимкент) и М. В. Данейко (Минск).

На заключительном пленарном заседании своим опытом по применению статистики и электронных вычислительных машин в изучении структуры русского языка поделились В. В. Бородин (Горький) и А. И. Бобров (Пермь).

21 мая работа семинара проходила в одном из вычислительных центров столицы Казахстана, где участники семинара познакомились с возможностями ЭВМ по переработке текстов тюркских и других языков.

Были продемонстрированы на ЭВМ «Минск-22М» следующие программы, используемые в общесоюзной группе «Статистика речи»: 1) универсальная программа выделения и статистического описания букв и буквосочетаний тюркских языков (А. К. Джубанов); 2) универсальная программа построения и статисти-

ческого описания прямого и обратного частотных списков словоформ (В. С. Кричевич, Минск); 3) универсальная программа получения частотных списков сочетаний словоформ с различной дистрибуцией словоформ (А. В. Зубов, Минск); 4) программы автоматического анализа и перевода отдельных слов и групп слов (Л. Ф. Кистанова, А. Н. Шарапда, А. В. Зубов, Минск); 5) программа автоматического аннотирования и перевода-реферата (А. Н. Попеску и Е. С. Тарасова, Кишинев).

Были показаны также результаты работы автоматического англо-русского словаря (Э. М. Добрускина, Кишинев, и В. С. Кричевич).

Семинар отметил определенные успехи и в исследовании актуальных вопросов лингвистики и автоматической переработки текстов. Плодотворной представляется работа, проводимая по статистическому описанию языка классиков казахской литературы Абая и М. Ауэзова (составлены словари языка этих писателей). Ведутся работы по тюркской топонимии, по статистике тюркизмов в различных группах языка, по моделированию языка-эталона, по изучению фонетической структуры узбекского, казахского и других тюркских языков.

Намечен ряд конкретных мер по дальнейшему использованию статистики и автоматизации в тюркологии. При ИЯ АН КазССР создан центр, координирующий все работы, ведущиеся в стране по применению математических и инженерных методов в тюркологии. Предполагается регулярное проведение подобных семинаров с изданием материалов этих семинаров.

Президиум АН КазССР, рассмотрев итоги семинара, принял решение укрепить группу лингвостатистики и автоматизации при ИЯ АН КазССР и создать Вычислительный центр при этом институте, передав ему ЭВМ «Минск-22».

А. В. Зубов (Минск), А. А. Пиотровская (Ленинград)

*

20—22 мая 1970 г. при Словарном кабинете кафедры русского языка Шадринского пединститута состоялась Межвузовская конференция на тему «Теория поэтической речи и поэтическая лексикография». В работе конференции приняли участие научные сотрудники Института русского языка АН СССР, преподаватели педвузов и университетов страны. В течение трех дней работы конференции было прослушано и обсуждено около 30 докладов и сообщений.

Вступительный доклад «Некоторые актуальные проблемы лингвистической

поэтики» сделал В. П. Григорьев (Москва). Докладчик отметил, что антиномия «язык — литература» получает различное освещение в отечественных и зарубежных работах по поэтике. Лингвистика, поэтика и эстетика, имея дело с одним и тем же объектом — художественным произведением, решают разные, но взаимосвязанные задачи. Учение о тропах и фигурах нуждается в дальнейшем развитии. Путь от слова к образу, минуя троп как способ преобразования слова в художественной речи (слово → троп → образ), не позволяет описать эстетическую информацию специфическими средствами традиционной лингвистики. Проблема единиц художественной речи может быть решена, если постулировать существование поэтического уровня языка, надстраивающегося над его стилистическим уровнем.

Выступавшие в прениях по докладу Ю. К. Стехин, Ю. И. Левин и В. П. Тимофеев обсуждали основания для утверждения поэтического уровня языка и понятие «поэтический язык». В связи с этим было высказано мнение, что понятие «поэтический язык» охватывает не только художественные языковые средства стихотворных текстов, но и художественно-изобразительную структуру языка прозы. Этим же проблемам был посвящен доклад Л. Ф. Тарасова (Харьков) «Уровни и их взаимосвязь в поэтической речи».

Проблеме семантического анализа поэтического текста был посвящен доклад Ю. И. Левина (Москва). Автор говорил о связи анализа субстанции содержания («модели мира» поэта) с анализом формы содержания (выявление семантических структур). Докладчик подчеркнул взаимозависимость анализа малого текста и анализа творчества в целом или большого текста, а также важность исчерпывающей инвентаризации лексического материала. Особо было сказано о необходимости учета внесемантических факторов в семантическом анализе. Сказанное иллюстрировалось семантическим разбором конкретного стихотворения.

Анализ отдельных понятийных групп слов в поэзии С. Есенина содержался в докладах Л. Ф. Соколовой (Шадринск) (о группе слов со значением «желтый»), М. Н. Везеровой, М. П. Мораньковой (об употреблении прилагательного *голубой*) и И. И. Постниковой (Воршиловград) (о формировании «социальных значений» у обозначений металлов).

Системе художественных образов в поэтическом тексте были посвящены доклады М. А. Гавриленко (Горький) «Природа лексического значения слова и характер художественного образа, создаваемого на его основе», З. И. Малаярчук (Шадринск) «Значение ассоциативных представлений в создании

образной речи», О. К. Кочневой (Мурманск) «Лингвистические средства выражения тропов», А. Л. Голованевского (Кокчетав) «Метафора как средство создания лексики общественно-политического содержания» и Ю. К. Стехина (Днепропетровск) «Повторы в стихотворной речи».

Поэтической функции отдельных языковых средств посвятили свои доклады А. С. Музыченко (Луцк) (более частый перенос ударения на предлоги в языке поэзии по сравнению с рекомендациями современных словарей), Е. М. Ткаченко (Харьков) (совмещение логического и эмоционального значений союза *но* у Блока ведет к зыбкости и логической невыраженности синтаксических связей в стихе и придает ему дополнительный смысловой и эмоциональный вес), И. М. Подгаецкая (о возникновении подтекстовых значений в слове, формирующихся в макроконтексте и во внетекстовых явлениях), Л. Н. Синельникова (Ворошиловград) (о метафорическом употреблении религиозной лексики у Есенина как приеме семантической трансформации) и Т. С. Жбанкова (Рязань) (о диалектизмах в творчестве С. Есенина).

Поэтическое словоупотребление в языке отдельных поэтов и писателей было предметом анализа в докладах Г. В. Дагурова (Коломна) «О некоторых отступлениях от норм словоупотребления в современной поэзии», Ю. С. Язиковой (Горький) «Слово мертвых в художественной прозе М. Горького» и Д. М. Поцени (Ленинград) «Слово в поэзии и прозе А. Блока».

Статистический метод исследования поэтических текстов был продемонстрирован в докладах В. С. Баевского (Смоленск) «Опыт моделирования поэтической системы пословицы с помощью ЭВМ», В. С. Баевского и А. Д. Кошелева (Смоленск) «Взаимоотношение и взаимодействие языка и стиха с точки зрения вероятностно-статистической модели стихового метра», Г. С. Меркина (Вязьма) «Поэтический мир Н. Рыленкова», В. Н. Немченко (Горький) «О частотности словообразовательных моделей производных имен прилагательных в поэзии, прозе и драматургии А. С. Пушкина», О. И. Бычковой (Мурманск) «О некоторых особенностях фонетического оформления ритмической структуры (на сравнительном материале ритмизованной и неритмизованной речи)» и В. П. Тимофеева (Шадринск) «Заглавная форма слова в русском языке и словаре».

В Словарном кабинете делегатам конференции была представлена возможность познакомиться с «Частотным словарем Есенина» (в четырех рукописных томах), составленном авторским коллективом — Н. А. Бонифатьевой, А. В. Колмогорце-

вой, Л. П. Прокопьевой, А. Т. Тимофеевой и В. П. Тимофеевым (Шадринск).

Проблеме текстологической атрибуции был посвящен доклад Л. Ф. Соколовой (Шадринск) «Лингвистическое подтверждение авторства анонимных стихотворных текстов». На основе различного биографического, творческого, языкового и поэтического материала автор высказала подтверждение есенинского авторства стихов «В ожидании зымы», «Пастух» (публикация А. П. Ломана), «В эту ночь», «Уйти бы» (публикация С. Стривеской), «Ноябрь» (публикация В. А. Вдовина), «Месяц рожу положит в луже...» (из рукописных альбомов).

Об опыте составления словарей отдельных поэтических образов и выразительных средств доложили Н. Ф. Шония (Тбилиси) «Словарь сравнений С. Есенина», Ю. К. Стехин (Днепропетровск) «Принципы составления словаря рифм», В. Я. Пастухова, В. П. Тимофеев (Шадринск) (о структуре словарной статьи в «Словаре анонимов русской поэтической речи», подготовляемом в Словарном кабинете Шадринского пединститута, и о «Словаре рифм Есенина»).

Практика составления словарей отдельных авторов была предметом обсуждения по докладам членов группы Словаря языка русских советских поэтов — В. П. Григорьева «Структура словарной статьи в работе „Поэт и слово. Опыт словаря“», Е. А. Некрасовой (в соавторстве с В. П. Григорьевым) «Комплексные характеристики в „Опыте словаря“ как прием лексикографического описания художественного текста», В. В. Пчелкиной (в соавторстве с М. А. Бакиной, Л. А. Владимировой, В. П. Григорьевым, Е. А. Некрасовой) «Комментирование различных типов словоупотреблений в „Опыте словаря“», а также по докладу руководителя авторского коллектива «Словаря рифм С. Есенина» В. П. Тимофеева (в соавторстве с А. В. Колмогорцевой, В. Г. Свиной, А. Н. Соколовой) «Поэтическая и прозаическая части „Словаря языка Есенина“».

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Теория поэтической речи и поэтическая лексикография».

В. Т.

*

25—28 мая 1970 г. в Ленинградском отделении Института языковедения АН СССР группой структурной типологии была проведена конференция «К теории и задога». В конференции принимали участие около 150 лингвистов Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Вильнюса и других городов Советского Союза. Присутствовали также д-р Л. Дажё из ВНР и

д-р Р. Лёч из ГДР. Конференция — один из этапов работы группы над темой «Категория залога в языках различных типов», продолжающейся несколько лет.

Предварительные результаты работы группы отражены в опубликованной до начала конференции брошюре «Категория залога» (материалы конференции). Брошюра содержит статьи А. А. Холодовича, В. С. Храковского, С. Е. Яхонтова, Г. В. Сильвицкого, в которых на основе общего подхода выдвигаются различные теории залога.

Значительный интерес и отклик у собравшихся лингвистов вызвали доклад и статья А. А. Холодовича. Центральным понятием теории залога А. А. Холодовича является понятие соответствия. Залог, по А. А. Холодовичу, представляет собой регулярное обозначение в глаголе соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического уровня. Если задано количество участников ситуации и количество членов предложения, то можно исчислить, какие могут быть между ними схемы соответствия, или диатезы. Типологическую классификацию языков можно построить, исходя из набора диатез, которые имеет глагол.

В основу теории залога, изложенной в статье В. С. Храковского, положены принципы соответствия и деривации. Автор разграничивает при исследовании предложения план содержания (семантика) и план выражения (синтаксис). За исходную диатезу принимается такое соответствие, при котором подлежащее обозначает субъект, прямое дополнение — объект, косвенное дополнение — адресат, инструмент и т. д. В структурах производных залогов указанное соответствие нарушается. Пассивными называются структуры, в которых субъект не занимает позиции подлежащего. Суть пассивной деривации в том, что субъект обозначается не конкретно, лексически, а на абстрактном грамматическом уровне.

В статье С. Е. Яхонтова приводится фактический материал, иллюстрирующий проблему залога в языке, не имеющем флективного словоизменения. С. Е. Яхонтов рассматривает грамматические конструкции китайского языка, которые те или иные исследователи считают пассивными. В этих конструкциях слово, занимающее первое место в предложении (т. е. обычную позицию подлежащего), обозначает объект действия или иногда — «заинтересованное лицо» (лицо, испытывающее на себе неприятные последствия ситуации, описываемой в предложении). В китайском языке нет глагольных форм с залоговым (пассивным) значением; только в древнекитайском существовало служебное слово, сочетание которого со следующим глаголом можно рассматривать как аналитическую форму пассива. В остальных случаях

пассивное значение (точнее, значение объекта у подлежащего узнается по оформлению дополнения (по наличию перед ним того или иного предлога) или выражается без помощи служебных слов, одним только составом конструкции. Например, если переходный глагол не имеет после себя дополнения, он получает пассивное значение. При любом строгом определении залога отнесение большей части этих конструкций к залого или даже к диатезе оказывается проблематичным.

Г. В. Сильвицкий основывает свое определение залога на понятии валентности глагола. Глагол, в соответствии со своим лексическим значением, требует определенного набора управляемых лексических основ (лексический ярус валентности) и определенного грамматического оформления управляемых лексических элементов (грамматический ярус валентности). Совокупности элементов лексического и грамматического ярусов называются лексическим и грамматическим окружениями глагола. Способы соотношения между собой элементов лексического и грамматического ярусов образуют различные внутривалентные корреляции. Залог, по мнению автора, есть категория, отображающая типовые соотношения между различными валентными корреляциями глагола, т. е. в первую очередь, между их грамматическими ярусами. Автор стремится исключить из лингвистического анализа уровень семантики и ограничиться лишь рассмотрением изменений в грамматическом ярусе валентности глагола. Синтаксические связи, определяющие грамматический ярус валентности, образуют определенную иерархию. Элементы окружения глагола различаются по степени их связанности с глагольным ядром.

В выступлениях многих участников конференции была дана оценка изложенным выше материалам и было определено место высказанных идей в эволюции теории залога. Существенная особенность предложенной теории состоит в том, что ее авторы стремились разработать метод описания категории залога, применимый к материалу разноструктурных языков. В докладе С. К. Шаумяна было отмечено, что данная теория представляет собой фрагмент универсальной грамматики. Построение универсальной грамматики невозможно без создания специально разработанного для этой цели метаязыка. Этим обусловлены многие трудности, стоящие перед авторами новой общей теории залога.

Во многих выступлениях прозвучала мысль, что наиболее сложным является вопрос о критериях членения области управления, т. е. о составе партиципантов (А. В. Бондарко, В. П. Берков, Л. Л. Буланн). С. Д. Кацнельсон отмечал, что для авторов теории ситуация—

это не непосредственно данная объективная действительность, а действительность, предомленная через призму языка. Поэтому для описания уровня ситуации необходимо установить специальный семантический язык. С. К. Шаумян, С. Д. Каднельсон и другие заметили, что развитию теории залога препятствует также неразработанность в лингвистике принципов выделения элементов синтаксической структуры — членов предложения. В ряде выступлений была высказана мысль о неравномерности противопоставления уровней синтаксиса и семантики как плана выражения и плана содержания (С. К. Шаумян, С. Д. Каднельсон).

Некоторые лингвисты в своих докладах наметили иной путь построения общего определения значения залога без привлечения понятий, относящихся к уровню ситуации. Так, С. Е. Яхонтов предложил считать залоговыми такие разные формы глагола, которым соответствуют различия в формах управляемых слов. К подобной точке зрения склонялся в своей статье Г. Г. Сильницкий.

Расширенное, по сравнению с традиционным, понимание залога объединяет такие противопоставления как актив: пассив, личность, безличность, которые трактуются как реализации разных диатез. Многие возражения (А. В. Бондарко, И. П. Мучник, Н. З. Котелова, Л. Л. Буланин) против такого понимания, например, против отнесения В. С. Храковским неопределенно-личных конструкций к пассивным, основывались на морфологическом подходе к залого в русском языке в противоположность принципам универсальной грамматики, которая учитывает не морфологические, а структурно-семантические характеристики изучаемых явлений.

Изучение семантики залога невозможно без учета его связи и взаимодействия с другими грамматическими значениями, выраженными в глаголе. В докладе Е. Л. Гинзбурга была поставлена задача

показать отношение пассивного значения к каузативному, взаимному и возвратному значениям. По мнению докладчика, взаимное и возвратное значение могут быть представлены в качестве отдельных диатез, для чего в теории следует ввести понятие об иерархии диатез.

Ряд выступавших высказали мнение, что каузатив следовало бы считать залогом (Н. А. Сыромятников, М. Р. Мелкумян). А. В. Бондарко в своем докладе говорил о комплексном изучении средств выражения залоговых отношений русского глагола в рамках разрабатываемой им теории функционально-семантического поля. А. И. Моисеев остановился на принципах выбора общелингвистических определений грамматических категорий.

Один из важных вопросов, поставленных на конференции, был вопрос о выборе тех или иных залоговых форм в контексте. Выступавшие докладчики (Э. И. Королев, С. Х. Иоффе) подчеркивали, что употребление различных залоговых конструкций в некоторых языках связано с выражением противопоставлений по актуальному членению предложения.

Значительное внимание на конференции было уделено описанию материала разных языков, основанному на предложенной в брошюре теории. Были прослушаны доклады о системе залогов в литовском (Э. Генюшене), в индонезийском (А. К. Оглоблин), испанском (Р. А. Заубер) и финском (С. Я. Хамлайнен) языках. Материалы этих сообщений показали достаточную универсальность теории и возможные пути ее развития.

В результате конференции был уточнен круг вопросов, стоящих перед авторами коллективной работы над залогом в языках различных типов, и намечены способы их решения.

Е. Е. Корди, Н. А. Козинцева
(Ленинград)

О ПОДГОТОВКЕ К VII МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

С 30 августа по 5 сентября 1970 г. в г. Хельсинки по приглашению Финляндского комитета славистов проходило XII Пленарное совещание Международного комитета славистов (МКС), в котором приняли участие слависты Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, Голландии, Дании, Канады, Норвегии, Польши, Румынии, СССР, США, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Югославии. В состав советской делегации входили член МКС, первый заместитель председателя Советского комитета славистов (СКС) член-корр. АН СССР В. И. Борковский

(руководитель делегации), член МКС, председатель Украинского комитета славистов акад. АН УССР И. К. Белодед, заместитель председателя СКС член-корр. АН СССР Д. Ф. Марков, ответственный ученый секретарь СКС д-р филол. наук А. Н. Робинсон. Основной задачей совещания МКС была разработка научной тематики VII Международного съезда славистов, который намечено провести в Варшаве в 1973 г. Совещание МКС обсудило соответствующие предложения национальных комитетов славистов и утвердило публикуемую ниже тематику предстоящего съезда славистов.

ТЕМАТИКА VII МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ
(ВАРШАВА, 1973)

I. Языкознание

1. Праславянский язык как гипотетическое системное целое, направления его эволюции в отдельных славянских языках (учитывая в особенности близкородственные языки).

2. История формирования славянских литературных языков с учетом в особенности иноязычных элементов, в первую очередь — элементов греко-латинских.

3. Вопросы языкового родства в свете сравнительной диалектологии.

4. Характеристика лексических и морфологических средств славянских языков с точки зрения их семантической, синтаксической и стилистической функции.

5. Динамика развития славянских литературных языков со второй половины XVIII в. с социологической точки зрения.

6. Актуальные проблемы лексикологии в связи с этимологией и словообразованием в плане формальном и семантическом с синхронической и диахронической точек зрения.

II. Литературоведение

1. Романтизм в славянских литературах (главная тема):

а) изучение романтизма в славянских странах в сравнительном плане (в области литератур славянских и неславянских);

б) современные методы интерпретации романтизма в связи с общественно-национальной жизнью в славянских странах;

в) значение литературы просвещения и предромантизма в славянских странах (наследие просвещения в эволюции литературы XIX в. в славянских странах);

г) традиция романтизма в позднейшие периоды развития славянских литератур.

2. Методология сравнительного изучения славянских литератур: проблемы создания сравнительной истории славянских литератур:

а) типологическая структура древних славянских литератур;

б) проблемы сравнительного изучения

славянского и европейского эпоса периода средневековья и периода нового времени;

в) специфические аспекты сравнительного изучения современных славянских литератур.

3. Основные направления в славянских литературах XX в. в их развитии и соотношении.

III. Литературно-лингвистические проблемы

1. Вопросы семантической и формальной структуры текста.

2. Историческая поэтика и другие родственные дисциплины (интерпретация текста, текстология, версология и терминология).

3. Системы стилей и их функции в литературе и литературном языке со сравнительной точки зрения.

4. Вопросы литературного перевода в пределах славянских языков и на славянские языки в эпоху романтизма.

IV. Фольклористика

1. Роль романтизма в изучении славянского фольклора.

2. Закономерности развития современного фольклора и славянской народной культуры: роль инновации и традиционной славянской культуры в жизни современных славянских народов; городской фольклор и его влияние на художественную литературу.

3. Связи фольклора славянского с неславянским.

V. Общеславянские исторические проблемы

1. Вопросы этногенеза и первоначальной общности славян: тенденции центростремительные и центробежные (до эпохи образования славянских национальных государств).

2. Общественные, культурные и научные связи славянских народов в XVI—XIX вв. Возникновение научной славистики.

3. Значение национально-освободительных движений славян в XIX — XX вв. для развития славянской культуры.

* * *

За последние годы, особенно в связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина, появилось немало работ, посвященных изучению ленинских положений о языке.

Ленинские мысли и суждения о языке и мышлении, о национальном языке, о культуре речи представляют исключительный научный интерес и всегда будут привлекать внимание ученых.

Целесообразно издание собранных воедино ленинских высказываний о языке и стиле. Такие публикации частично уже осуществлялись (см. сборники: «Ленин — журналист и редактор», М., 1960, «В. И. Ленин о литературе и искусстве», М., 1969). Не раз говорилось об издании возможно более полной хрестоматии ленинских высказываний о языке (например, на лингвистической конференции «Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии», состоявшейся в Перми в январе 1970 г.); о необходимости издания такой хрестоматии см. также «Филологические науки», 1970, 1.

В настоящее время коллективом сотрудников ЛО Института языкознания АН СССР произведена с почти исчерпывающей полнотой выборка высказываний и замечаний В. И. Ленина о языке и стиле. Эти материалы подбирались из всех томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина, а также и из 37 «Ленинских сборников». В результате представлены взгляды В. И. Ленина как по широкому кругу общих проблем языка (роль языка в процессе познания, взаимосвязь языка и мышления, языковая политика Советского государства и т. д.), так и по конкретным частностям стилистики русского языка. Многочисленные замечания Ленина о культуре языка, его редакторская правка газетных и других материалов показывают, насколько целеустремленно и глубоко занимался он этой стороной литературного творчества, считая ее существенной частью общереволюционного дела.

Эти материалы, надлежащим образом прокомментированные, могут послужить надежной базой для издания полноценного сборника, заключающего все высказывания В. И. Ленина о языке и стиле.

*А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон,
Ю. С. Сорокин, Ф. П. Сороколетов*

Contents

Articles: V. B l a n a r (Bratislava). Concerning the inner-conditioned semantic changes; **Discussions:** A. S. G h e r d (Leningrad). On the formation and unification of scientific terminology, Y. D. A p r e s j a n (Moscow) Concerning some debatable problems of semantic theory; S. M. T o l s t a j a (Moscow). On some difficulties of morphological description; L. A. G h i n d i n (Moscow). The problem of genetic relationship of the «*pelasgic*» pre-Greek stratum; T. B. A l i s o v a (Moscow). Complementary relations of the *modus* and *dictum*; A. T. K r i v o n o s o v (Kalinin). Structural-functional models in syntax; **Materials and notes:** A. P. D u l z o n (Tomsk). The reflection of ancient verbal forms denoting state in the Uralic-Altai languages; A. M. Š č e r b a k (Leningrad). Some features in the formation of case-forms in the Turkic languages; E. G. T e n i š e v (Moscow). A note on the Uigur languages; E. P. H a m p (Chicago). On the Indo-European collocations of the type: Polish *samoczwart*, Czech *sám čvrt*; **From the linguistic heritage:** V. M. N a s i l o v. The language of the medieval monuments of Uigur writing; **Critics and bibliography; Scientific life.**

Sommaire

Articles: V. B l a n a r (Bratislave). Sur les changements sémantiques conditionnés intérieurement; **Discussions:** A. S. G h e r d (Léningrade). Sur la formation et l'unification de la terminologie scientifique; Y. D. A p r e s j a n (Moscou). À propos de quelques problèmes litigieux de la théorie sémantique; S. M. T o l s t a j a (Moscou). Sur quelques difficultés de la description morphologique; L. A. G h i n d i n e (Moscou). Sur la parenté génétique de la couche «*pelasgique*» prégréccque, T. B. A l i s o v a (Moscou). Relations complémentaires de *modus* et *dictum*; A. T. K r i v o n o s o v (Kalinine). Modèles structuraux et fonctionnels dans la syntaxe; **Matériaux et notices:** A. P. D u l z o n (Tomsk). La réflexion des anciennes formes verbales signifiant l'état dans les langues ouralo-altaïques; A. M. Š č e r b a k (Léningrade). Quelques particularités de la formation de formes casuelles dans les langues tuciques; E. G. T e n i š e v (Moscou). Notice sur les langues ouïgures; E. P. H a m p (Chicago). Sur les groupes de mots indo-européens de type: polonais *samoczwart*, tchèque *sám čvrt*; **De l'héritage linguistique:** V. M. N a s i l o v. La langue des monuments médiévaux de l'écriture ouïgure; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

Технический редактор Т. Ф. Дашкова

Сдано в набор 29/X—1970 г. Т-01304 Подписано к печати 4/I-1970 г. Тираж 7115 экз.
Зак. 1297 Формат бумаги 70×108³/₁₆ Усл. печ. л. 14,7 Бум. л. 5¹/₄ Уч.-изд л. 17,4